



БИБЛИОТЕКА
ПИСАТЕЛЕЙ
ВЕРХНЕЙ ВОЛГИ

Виктор
Полторацкий

МЕЩЕРСКИЕ ЗОРИ

Верхне-Волжское
книжное
издательство
Ярославль 1969

«Мещерские зори» — это книга о природе и людях родной автору Мещерской стороны, о преображении некогда очень глухого района Владимирской области.

В книгу входят лирическая повесть «Зеленая ветка», а также очерки и рассказы «Алмазная грань», «Стружань», «Синеборье», «Черника» и другие.

О ВИКТОРЕ ПОЛТОРАЦКОМ

(вместо предисловия)

Восьмитомному собранию сочинений Всеволода Иванова предпослана автобиографическая повесть «История моих книг», как бы вводящая читателя в творческую лабораторию писателя. В повести есть глава: «Книга статей «Мое отечество», а в главе рассказ о том, как мы, корреспонденты газеты «Известия», 3-го мая 1945 года осматривали в Берлине рейхстаг и Имперскую канцелярию. Всеволод Иванов пишет:

«В подземелье Имперской канцелярии находился лазарет гвардии Гитлера. Он занимал несколько этажей. Раненые лежали спокойно, словно погруженные в дремоту. Между коек ходили сестры милосердия, врачи, горело электричество. Мы прошли сквозь этот старинный строй в подземный кабинет Гитлера. Внезапно какой-то услужливый и опрятный старичок поднес нам шампанское. Мы посмотрели на старичка с удивлением. А он глядел на нас заискивающе.

Высокий человек с большими глазами, часто дыша, встал из-за стола и протянул нам руки. Это был корреспондент «Известий», поэт В. Полторацкий, который приехал в Берлин со стороны Чехословакии. Я его видел впервые. Майор и поэт, шевеля бровями и широко улыбаясь, сказал:

— Старичок всем нам подает шампанское. По-видимому, предлагает выпить за упокой души своего хозяина: старичок заведовал подвалами Гитлера, был, так сказать, виночерпием его »¹.

Это была первая встреча, точнее, знакомство большого, с мировым именем писателя с поэтом Виктором Полторацким, имя которого в ту военную пору, как правило, стояло под фронтовыми корреспонденциями и очерками. Я помню, из Имперской канцелярии мы уехали в расположение одного стрелкового батальона, накануне штурмовавшего рейхстаг. Виктор Полторацкий там сразу же попал в объятия какого-то незнакомого нам майора:

¹ Всеволод Иванов. Собрание сочинений в 8-ми томах, т. I, стр. 108.

— Смотри ты, где довелось встретиться! — тискал майор Полторацкого и, как бы объясняя нам происходящее, заметил: — Мы с ним вместе войну начинали. В первый ее день. Оба за пулеметами оказались.

— Как же так? — полюбопытствовал Всеволод Вячеславович.

— А очень просто: я работал во Львовском обкоме партии, а Виктор Васильевич был секретарем парторганизации львовских писателей. Ну, и в первый же день войны...

Освободившись из объятий львовского друга и вытерев «вспотевшие» глаза, Виктор пояснил нам:

— В конце сорокового года я был переведен из Иванова во Львов корреспондентом «Известий». Местные писатели-коммунисты избрали меня своим секретарем. В первый же день войны я оказался на переднем крае. Я — за пулемет, а семья с другими такими же семьями — на восток: жена Шура, дочка Галя и сын Стасик. Вот он их в Горьком встречал, — Виктор кивнул в мою сторону, — и в Кинешму, к родным жены Шуры переправил. Увиделся я с семьей через многие месяцы, уже когда вышел из окружения, в которое попал под Киевом...

Вскоре комната, где мы находились, заполнилась что называется до отказа. Виной тому был, конечно, Всеволод Иванов. Но вскоре в центре внимания оказался Виктор Полторацкий.

Оказалось, что чуть ли не весь батальон — земляки Виктора. Да еще какие! У них и у Полторацкого непременно находились общие знакомые. О пойменных речках с поэтическими названиями или городских достопримечательностях они с Полторацким говорили так, как будто все это видели сейчас.

Я познакомился с Виктором Полторацким задолго до войны. Мы встречались в Иванове и в Нижнем. Оба работали в областных газетах, а потом стали собственными корреспондентами «Известий» в своих областях. За годы войны нас накрепко связала самая верная и крепкая из всех известных на земле — солдатская дружба. И тем не менее на этот раз и я удивился такому обилию земляков Виктора.

Земляки-ивановцы — это понятно: там Полторацкий работал в редакции «Рабочего края», там вышли его первые поэтические сборники, ныне ставшие библиографической редкостью: в 1931 году «Строительный сезон», потом «Теплый ветер», «Единый фронт», «Под небом родины» и накануне войны, в 1940 году, «Живонись». Город Владимир — тоже ясное дело: земляки. Детство Полторацкого прошло в Гусь-Хрустальном. Там подросток Витя ходил помощником машиниста на «кукушке» по узкоколейке. К тому же владимирская газета «Призыв» в 1926 году опубликовала первое стихотворение восемнадцатилетнего рабфаковца.

Но в батальоне оказались не только ивановцы и владимирцы. К Виктору подходили и здоровались как с земляком ярославцы и нижегородцы. И это было вполне закономерно. Горьковская и Ярославская области — соседи и родные сестры Владимирской и Ивановской. В Ярославле Виктор подолгу жил и нередко печатался в газете, а в Нижний приехал после окончания рабфака и учился в политехническом институте. Но неожиданным для всех был порывистый выход в солдатский круг, образовавшийся около Полторацкого и Всеволода Иванова, стройного, сагатовыми гла-

вами сержанта туркмена с орденом Красной Звезды на груди. Сержант, зажав в своих руках руку Виктора, заговорел громко, восторженно:

— Родина там, где человек родился. Правильно я говорю? Вы родились в Ашхабаде? Правильно? Отец ваш был железнодорожным машинистом? Верно? В Ашхабаде есть улица имени вашего отца, улица Полторацкого...

— Это необыкновенно! — воскликнул Всеволод Иванов. — Потрясающе! Восхитительно!

— Все верно, дорогой друг, — сказал Виктор Васильевич, обнимая сержанта-туркмена. — Действительно, отец мой железнодорожный машинист. И родился я в самом деле в Ашхабаде. И улица Полторацкого есть в столице вашей республики. Только не в честь моего отца. Фамилия отца и моя самая что ни на есть грустная: Погостин. А Полторацкий — мой литературный псевдоним. Ясно, дорогой друг?!

Когда все сели за столы и немудреное солдатское угощение стало как бы торжественным обедом в честь только что одержанной победы, посыпались тосты. Их произносили Всеволод Иванов, Виктор Полторацкий в честь солдат и офицеров армии-победительницы, и солдаты провозглашали здравицу советским писателям. Говорили все от всего сердца, взволнованно и поэтично. И конечно же Виктор читал стихи. Знавшие его в ту пору поражались памяти Полторацкого. Казалось, он помнит не только всю поэтическую классику, но все стихотворения, опубликованные за годы Советской власти. Виктор с любимым поэтом или любителем поэзии вступал в бой. Ему читали строчку, четверостишие, и он называл имя поэта и название стихотворения. Почти без ошибок. Никто не мог в этом с ним сравниться. На этот раз, третьего мая 1945 года, перед воинами боевого батальона, в котором оказалось столько земляков. Полторацкий читал свои стихи с присущим ему актерским блеском: «С нами Фурманов был, комиссар молодой, он не кланялся перед бедой. Мы коней напоили уральской водой и днепровской поили водой. Разметали врагов от родимой страны, — и теперь, подымаясь в зенит, ходит громкая слава гражданской войны, нашей юности песня звенит».

«Полк ткачей» — стихотворение, написанное на заре поэтической биографии Полторацкого, было как бы заповедью. Потом читались стихи о нынешней, только что победно законченной войне. Такие стихи, прочитанные в Берлине, для слушателей были особенно значительными: «Тяжел и крут солдатский труд, и горек вкус походной соли. Вса, наверно, не сотрут пристывшей к сердцу страшной боли...»

Оставлены стаканы с недопитым вином. Глаза сидящих за столом ясные, чистые: крыло поэзии, коснувшись лиц, облагородило их. А Виктор, захваченный особым смыслом сегодняшнего застолья, извлекал из памяти нужные именно этому случаю строки: «Мы были солдатами, мы через горе прошли. В день мира, на Родине, новые празднущая встречи, мы выпьем за правду, за милость окопной земли и долгим молчаньем ответим на громкие речи».

Каждая строчка, каждое слово военных стихов Виктора Полторацкого пережито им и выстрадано в тяжелых походах первых

лет войны и радостных встречах в последний победный фронтовой год. Поэтому-то некоторые стихотворения Полторацкого, по скромности автора не публиковавшиеся в ту пору в печати, запоминались на память и путешествовали с фронта на фронт в изустной передаче. Они отвечали душевному настрою солдат, их чувствам и мыслям.

Как-то весной сорок третьего года мы с Полторацким оказались у артиллеристов Брянского фронта. В блиндаже комбата старшина угощал нас невесомыми, таявшими во рту блинами и спиртом-сырцом. Ну и конечно же, Виктор читал стихи! Старшина, скрестив руки и прислонившись к печурочной трубе, слушал поэта, устремив взгляд в одну точку, находившуюся где-то там, за блиндажом, за лесом и полями, далеко-далеко... А потом, чуть не шопотом, с доверительной таинственностью, спросил:

— А как они, стихи-то, слагаются, как пишутся-то?

— Ночью. Во сне я их пишу, — не моргнув, ответил Виктор. Все, кто был в блиндаже, захохотали. А я, поддерживая друга, подтвердил:

— Ей-богу, ночью. Сам видел.

И рассказал историю, происшедшую минувшей ночью.

Фронтовым шофером у Виктора был Федя Фильчугин, личность во многом примечательная. Шофер-лирик, шофер-исследователь. По характеру — добродушнейшая и неустрашимая личность. Стремившийся все проверить на ощупь. Фильчугина я хорошо знал — до Полторацкого он был водителем моей машины. Федю мало интересовало, куда и когда мы поедем. Его занимал мотор. Он копался в нем все свободное от поездок время. Поэтому в нужную минуту автомобиль, как правило, был полуразобран. Особенно упорно Федю донимали карбюратор и лягушка. Они, как правило, отказывали на полпути, в самую нужную минуту. Хоть плачь, хоть реви: заело, машина ни с места. А на лице Фильчугина милая улыбка: ему предстоит любимое занятие — разбирать, прочищать, продувать, собирать. То же повторилось и в пору пребывания Фильчугина с Полторацким на Брянском фронте. Но к этому добавился еще интерес Феи к различной трофейной технике, которой он забил весь задок эмки, и теперь колдовал уже над иностранными немецкими приборами, о назначении которых и понятия не имел.

И вот, накануне встречи с артиллеристами, Федя опять «запоролся» со своей техникой, и автомобиль в нужное время оказался не готовым. Мы легли спать вповалку: Фильчугин, Виктор, я и мой шофер Иван Иванович. Когда забрезжил рассвет, Иван Иванович тихо толкнул меня в бок и рукой показал на лицо Виктора Васильевича. Лицо покоилось на скатке шинели, глаза были закрыты, а губы медленно шевелились, точно отсчитывал какой-то такт. Виктор, видимо, почувствовал, что мы за ним наблюдаем, открыл глаза и проговорил:

— Хотите, я вам сейчас стишки прочитаю. Про Федю Фильчугина.

Это были удивительно смешные и очень правдоподобные стихи, строк шестьдесят. И характер Феи был выписан, и страдания «лягушки», и жалобы карбюратора, и терпение военного корреспондента. Хохотали не только мы с Иван Ивановичем,

но и Федя, столько было нежности и юмора в этих стихах, родившихся ночью.

Видимо для того, чтобы подтвердить правдивость моего рассказа, Виктор тут же прочитал стихи о Феде Фильчугине.

Полторацкий любит и умеет читать стихи. Больше для того, чтобы проверить, как воспринимают их, когда они свеженькие, порой еще не совсем обкатанные. Любая дружеская беседа у нас обычно заканчивалась так:

— Хотите, я вам новые стишки прочту? — и Виктор вопрошительно поглядывает на собеседников.

Мы одобрительно киваем головой. И стихи льются, как родниковый ручей, чистые, прозрачные, ясные, удивительно живые и зримые.

Помню, вернулся Полторацкий из Франции и прочитал стихи о французских коммунарах: «Как они молоды, эти горячие головы! Как умели любить они и как презирали они! Над ними висело небо, как будто луженное оловом, сверкали зажженные факелы и красных знамен огни».

Прилетел из путешествия по Америке и на второй или третий день читает друзьям: «До невероятия увеличив, распахнув рекламы ураган, старый Белосток или Бердичев черти унесли за океан. Развернули ярмарочным торгом, заплевали шелухой газет и, назвав все это Нью-Йорком, выдают за некий Новый Свет».

Посэдил по стране, побывал в родных мещерских краях, и звучит за нашим застольем песня-стих: «Россия — ясная роса, корого ливня полоса, и запах медуниц от луга, глаза ребенка, сердце друга, вечерних расставаний печаль, и распахнувшаяся даль от Селигера до Байкала. Все, все она в себя впитала. Россия — все, чем я живу, к чему во сне и наяву душа стремиться не устала». Сколько сыновней преданности и нежной влюбленности к России и вместе с тем гордости за свою отчизну в этих стихах о Родине!

Но я все о стихах Полторацкого. А Виктор Васильевич не только поэт. Он и прозаик — автор повестей и рассказов. Он и очеркист-документалист, и журналист, почти сорок лет несущий вахту газетчика. А вахта эта трудная. Она каждодневно требует отдачи. Полторацкий никогда не был в редакции аристократом. Он писал сам, и чем-то ведал, и за что-то отвечал. Он много лет был членом редколлегии «Известий», был главным редактором газеты писателей России «Литература и жизнь». И при всем этом за послевоенные годы Полторацкий написал более десятка книг новых стихов, повестей, рассказов и очерков.

Проза Полторацкого, в том числе и очерки, отмечена поэтичностью, удивительной простотой и живописью словом. Многие свои очерки Виктор читал нам, своим друзьям, перед тем, как сдавать их в редакцию. Они воспринимались нами как стихи. На всю жизнь сохранится в моей памяти небольшой, всего пять книжных страниц, очерк Виктора Васильевича «Рамонь». Командир орудия Андрей Сотников попросил у девушки напиток.

«И, прилав к полному ведру сухими, потрескавшимися губами, он стал пить колодезную, показавшуюся необыкновенно вкусной воду.

— Что это за город? — спросил он у девушки.

— Рамонь, — певуче сказала она.

И вдруг от этого незнакомого слова все заликовало в солдатской душе.

— Рамонь, — хрустально звенели над ним жаворонки. Тонкой, дразнящей рамонью пахли цветы в палисадниках, и даже трава у колодца была шелковистая, как слово «рамонь».

Вот так написаны очерки Полторацкого и о Мещерском крае, о Владимирщине. Очерки как стихи! В этом легко убедиться каждый, кто прочтет новеллы, написанные поэтическим языком и составившие книгу «Мещерские зори». Эта книга — плод долгих лет творческого труда писателя. Она является как бы ключом ко всей прозе Полторацкого, о которой стоит сказать поподробнее.

О людях, своих современниках, Полторацкий рассказывает с внешней простотой, но с настоящим проникновением в характер человека, в его судьбу, в психологию. Он находит простые и ясные объяснения тому, чем этот простой человек примечателен, какое добро он сделал людям, как он служит своей Родине, партии, возраставшей и воспитавшей его. В этом смысле, пожалуй, типичной для Полторацкого как очеркиста является его документальная повесть «Жизнь Акима Горшкова» о прославленном колхозном вожаке на Владимирщине.

Поэтической простотой и проникновением в суть явлений отмечены входившие во многие книги и зарубежные очерки Виктора Васильевича, повидавшего после войны многие страны и народы и рассказавшего о своих поездках очень экономно и хорошо. Среди заграничных очерков есть «Быстро у Королевского моста». Всего пять с небольшим книжных страничек. На этих страничках встают точно подмеченные и зримо выписанные картины парижского быта. Такой очерк достоин целой книги иного литератора-туриста, которые порой выходят из-под пера словоохотливых путешественников.

В начале октября 1950 года издательство «Известий» выпустило книгу послевоенных очерков Виктора Полторацкого «В дороге и дома». Автор вручил мне эту книгу с дарственной надписью: «В этой книжке все пестро — есть «Москвич» и есть «быстро», и «в дороге» есть «и дома» — все тебе давно знакомо; здесь записок пестрых стая, но, хоть изредка лпстая, эту книжку — не ругай ни с плеча, ни через край». В шуточной надписи высказано и отношение Полторацкого к своим прозаическим свершениям: «записок пестрых стая». Но стая этих пестрых записок была оценена по достоинству. Книга Виктора Полторацкого «В дороге и дома» была удостоена Государственной премии.

С той поры вышло много новых книг Полторацкого, и все они отмечены одним качеством: в очерке и рассказе Виктор Васильевич остается поэтом, певцом всего хорошего и прекрасного, что окружает нас и что создано нами. Свидетельство тому и «Мещерские зори».

Озаряющий свет оптимизма льется со страниц поэтических и очерковых книг Виктора Полторацкого, человека неугасимой энергии и постоянного юношеского задора. Даже несмотря на его шестьдесят с лишним лет...

Леонид Кудреватых

ЗЕЛЕНАЯ ВЕТКА

На первый взгляд это тихая и немудрая земля под неярким небом. Но чем больше узнаешь ее, тем все больше, почти до боли в сердце, начинаешь любить эту обыкновенную землю.

К. Паустовский.

1

Один знакомый человек, счетовод по профессии и садовод по призванию, как-то сказал мне, что у него в саду есть любимое деревце, а на том деревце особенно любимая ветка и что каждую весну, когда в деревьях начинается движение сока, его так и тянет поглядеть прежде всего на эту любимую веточку. По ней он будто бы угадывает жизнь всего сада и оттого, какой увидел ее, на душе становится то радостно и легко, то тревожно и пасмурно.

Слушая его, я подумал, что ведь и у меня тоже есть своя веточка, которая влечет и манит к себе...

Детство мое прошло на железной дороге, протянувшейся от Рязани к Владимиру. Тут мне знакомы все станции и разъезды. В юности я работал на этой дороге помощником паровозного машиниста.

Официально наша дорога именовалась Рязанско-Владимирской, однако чаще ее называли Зеленой веткой.

С точки зрения путейцев, это был, как бы сказать,

железнодорожный проселок. Поезда ходили по неровному зыбкому полотну вихляясь и шатаясь, как пьяные. На перекосах часто сходили с рельсов. Пассажиры бранили «чугунку» и давали обидные прозвища слабым маленьким паровозам.

Но, боже мой, до чего же красиво обрамление нашей веточки! На всем своем протяжении идет она как бы по зеленому коридору. Чуть не вплотную к ней подступают то бронзовые колонны могучих боровых сосен, то пронзительно яркий березнячок, то трепетная поросль голубого осинника. Розовый кипрей, как пена, поднимается на старых вырубках и палах, а возле мостов, на черной воде, лежат белые звезды лилий и чашечки золотистых кувшинок.

В начале мая зацветает черемуха, и весь участок пути между разъездами Волчиха и Окатово наряжается в белое кружево. От острого, чуть горьковатого запаха цветущих деревьев кружится голова.

Летом песчаная бровка насыпи зарастает ежевикой. Усеянные шипами стебли ее напоминают колючую проволоку, и мне всегда казалось, что эта колючая проволока пущена здесь не зря, она как бы защищает узенькое полотно от подступившего леса.

Впоследствии я много поездил по белому свету и видел много прекрасных мест, но бывает, что вдруг увижу во сне какой-то участок нашей Зеленой ветки — то ли сосновый бор под Неклюдовом, то ли буйный разлив кипрея за Старым болотом, и сердце сладко замирает от радости.

Местность, по которой проходит Зеленая ветка, называют Мещерой. В пору моего детства, когда мы, ребята, гурьбою ходили в лес по грибы и по ягоды и возвращались с полными коробами черники, малины или крупного, как виноград, гонобобеля, Мещера казалась нам сказочно, необыкновенно богатой. И было удивительно, что мужики из окрестных селений постоянно жаловались:

— Нет, паря, на здешней земле не прокормишься. Уж больно бедна она, матушка.

А нам думалось: да как же так, ведь здесь одной клюквы столько, что хоть лопатой грей. А грузди, а рыжики, а орехи?

— Хлебушек не родится, вот в чем беда-то...

Уже потом, с годами, я понял, какая горькая правда была в тех мужицких жалобах.

Деревни Мещеры ютились на песчаных и суглинистых островках среди окна лесов и топких болотных хлябей. И названия их соответствовали местоположению: Острова, Заболотье, Егерево, Палищи.

Чтобы кое-как прокормиться, мещерские мужики как правило, уходили «на сторону». Где-то они плотничали, сапожничали, копали торф, рубили дрова, а все деревенские заботы выпадали на долю хозяек. Женщины сами пахали скудную землю, сажали «картохи», косили по болотам жесткую, как проволока, осоку. Но это не давало прибýtка — урожаи были ничтожные, а кормленные осокой худые, лохматые коровенки начисто отказывались давать молоко и держали их только ради навоза.

Впрочем, и навоз был в цене. Его включали даже в приданое за невестой. Сваты так и ладились: «Значит, за Анютой даете вы полушубок овчинный, чесанки с калошами, половиков тканых шесть аршин и четыре подводы навозу».

Объяснялось это опять-таки бедностью почвы.

— Без назьму-то наша земля и картохи не уродит, — рассуждали крестьяне. — А на бесплодной земле ить и баба бесплодной останется.

Духовная жизнь Мещеры поражала глухой ограниченностью. Слухи из соседней волости были столь далекими, будто приходили они с другого конца света и таили в себе какой-то особый, загадочный смысл. Вдруг распространялся слух о том, что в Сулове корова принесла телка о двух головах, а в Островах на колокольне выла собака. И мужики начинали раздумывать, к чему бы это: к голоду, к пожару или к войне?..

Мне было десять лет, когда в России произошла Октябрьская революция. С нею явилась надежда, что и в нашем обездоленном крае, глядишь, начнутся желанные перемены. Но были люди, представлявшие эти перемены в мрачных картинах. Вспоминается один случай.

Мы жили тогда в Гусь-Хрустальном, небольшом рабочем городке, знаменитом своим хрустальным заводом. Отец мой был машинистом на железной дороге.

В 1920 году истопником и сторожем при дежурной комнате для поездных бригад нашего депо поступил не-

кий Михайло Колыбин, человек еще не старый, но весьма мрачный, злой и с хитринкой — себе на уме. Говорили, что будто бы он сын богатого лесного подрядчика из-под Касимова, а на незавидную должность истопника устроился затем, чтобы переждать тяжелое время, но так это или не так, утверждать не берусь.

Домишко моих родителей стоял возле депо, и поэтому я еще мальчишкой часто околачивался в поездной дежурке, которую обыкновенно называли «брехаловкой». Там можно было услышать множество разных историй, в том числе и таких, которые, с точки зрения педагогической, для юношества сугубо неподходящи, но речь не об этом.

Если в дежурке начинался разговор о погоде и кто-то высказывался в том смысле, что завтра, мол, ожидается ясный день, Михайло Колыбин непременно возражал и доказывал, что погода должна испортиться. Если говорили, что селедки, полученные в счет пайка, на этот раз оказались уж очень хорошими, Колыбин хаял селедки и говорил, что при засолке в них переложили селитры.

Однажды зашел разговор о том, что гражданская война подходит к концу и что теперь жизнь должна повсеместно улучшиться.

— И сами подохнем, и все пойдет прахом, — сказал Михайло, плюнув на горячую железную печку.

— Это почему же?

— Земле хороший хозяин нужен. А теперь кто хозяева? Тюха да Матюха — лапотники, деревенщина дикая. Такие, гляди, нахозяйствуют. Лесок? — Под топор его! Коровенка — под нож? У Баташихи-помещицы то ли уж не хозяйство было, а где оно? В восемнадцатом году накинлось мужичье — только пыль закружилась. Персики в оранжерее росли, так и персики — под топор: отречемся от старого мира... Хо-зя-ева! Нет, теперь уж все пойдет прахом.

— Будя каркать-то, — строго оборвал Колыбина наш сосед, помощник машиниста, дядя Федя Фролов. — Ленин-то что говорит?

— Мало ли что говорит, а ты почитал бы, что он пишет:

— А что он пишет?

— Вот, — сказал Колыбин и, вынув из кармана за-

саленной куртки книжечку, показал: — Видите, ясно написано: Ленин. «Шаг вперед, два шага назад».

— Ну, и что же?

— Что! А ты пораскинь мозгами. Ежели — шаг вперед, а два шага назад, это куда же мы в конце-то концов прибудем? Ну-ко?

Он встал с табуретки, отодвинул ее в сторону, чтоб не мешала, и стал показывать. Сделав шаг вперед, Колыбин отступил на два шага и пятился так до тех пор, пока не уперся в стенку.

— Видали куда? — торжествующе сказал он и резюмировал: — Вот сейчас нашу ветку Зеленой зовут, а погоди маленько — будут звать Мертвой.

Колыбин спрятал книжечку в карман и, матерно выругавшись, пошел из дежурки.

Слушатели были порядочно смущены. Книжки этой никто из деповских не читал, а наглядный пример того, куда приведут шаг вперед и два шага назад казался весьма убедительным.

Но тут в дежурку зашел техник Илья Гусев и, узнав о том, что случилось, сказал:

— Скорпион исключительный.

— Кто?

— Конечно Колыбин. Ведь эту книжечку Владимир Ильич про меньшевиков написал. Это у меньшевиков такая тактика, чтобы пятиться. А Колыбин, видите, куда повернул. Ну не скорпион ли?..

От этих слов все вдруг почувствовали какое-то облегчение и заговорили все разом, и всякий доказывал, что засохнуть Зеленой ветке Советская власть, конечно, не даст, и что насчет Ленина Михайло брякнул либо по глупости, либо по непонятной своей злобе.

Колыбин недолго проработал у нас в депо и исчез неизвестно куда, так же как и появился неизвестно откуда. Случай же этот вспомнился в связи с тем, что каждый раз, когда мне случается побывать в краю, где легла Зеленая ветка, я вижу, как наглядно там изменяется жизнь и как смеется она над черным пророчеством Михайлы Колыбина.

Рассказ об этих переменах я, пожалуй, начну с бо-лотной истории.

Километрах в десяти от Гусь-Хрустального лежит огромное торфяное болото. Оно протянулось до реки Поле на полтора десятка километров. Но и за Полей снова идут торфяники, и где они кончаются, я не знаю. Глубина сфанговых залежей здесь очень большая. Местами она достигает пяти-шести метров. Под этим слоем лежат почти окаменелые коряги — остатки могучего леса, шумевшего, быть может, за сотни тысяч лет до нашего времени.

К промышленной разработке болота приступили еще в прошлом веке. Торф давно уже стал основным видом топлива для стекловарных печей гусевского завода.

Сезон добычи на торфяных разработках начинался весной, с третьего понедельника после пасхи. Но еще задолго до этого, примерно в феврале, старшие десятичники выезжали в Рязанскую и Пензенскую губернии рядить артели сезонников.

Договора обыкновенно заключались со старостами, каковые и вербовали себе в артель десятка три мужиков, двух мальчиков и стряпуху.

Отгуляв пасху, сезонники приезжали на торф. Артельные старосты кидали жребий — кому на каком участке работать. Потом получали в конторе инструмент — топоры и лопаты, именуемые «насадками», спецодежду — брезентовые бахилы и лапти; забирали в кредит продовольствие и шли смотреть свои «карты». Картами назывались участки, подлежащие выработке.

Торф добывался машинно-формовочным способом. Но хотя слово «машинный» стоит здесь на первом месте, первенство фактически принадлежало ручному труду. Коротко говоря, способ этот состоял в следующем:

На торфяном поле, загодя «отполированном», то есть очищенном от пеньков и кустарника, прокладывались рельсы для подвижки машины, состоящей из парового двигателя-локомобиля и пресса, похожего на огромную мясорубку с одним или двумя выходными отверстиями. Позади машины в два ряда становились рабочие-ямщики и лопатами бросали сырую торфяную массу в элеватор — железный желоб, по которому она поступала в приемную воронку пресса. Измельченная и

перемешанная винтовыми ножами масса темно-коричневым червяком выползала из выходного отверстия. Тут ее принимали на особые доски «шелевки», рубили на равные полуаршинные «кирпичи» и в ручных вагонетках отвозили на поля сушки, раскладывая рядками — кирпичик к кирпичику.

Самой тяжелой была работа копачей торфа — ямщиков. Для этого подбирались очень здоровые мужики. Приемщиками и вагонетчиками ставились проворные молодые ребята. Рубщиками торфяной ленты — «секарями» — работали мальчишки.

День на болоте начинался в три часа утра и продолжался до десяти часов вечера.

Жили сезонники в больших бараках, сколоченных из грубого теса. Посередине барака стояли большие столы, а по бокам, вдоль стен, тянулись общие нары. У входа были устроены «вешалы», на которых сушились портянки, источавшие тяжелый запах опрелых мужицких ног и кислой торфяной жижи.

За перегородкой, в особом отделении того же барака помещалась болотная «аристократия» — десятники, слесари и паровщики.

Троицын день считался серединой вехой торфяного сезона. С артелями учинялся расчет. Деньги на каждую артель обычно получал староста, а потом распределял — кому сколько. Некоторую часть общего заработка оставляли неделимой. Эти деньги шли на пропой. Два-три мужика побойчее отряжались в ближние села за самогонкой. Там уже знали этот обычай и к троице готовили воончее зелье.

Гуляли два дня. Первый день пили весело, играли под гармонику песни. Целовались на радостях. На второй день затевали войны. Дрались стенкой — артель на артель. Рязанские обычно восставали против мордвы. Распалившись, пускали в дело насадки. Иногда побоища кончались смертоубийством.

Я сам работал здесь паровщиком, то есть машинистом на локомотиве, жил в бараке и все это видел. Староста рязанской артели, многоопытный Иван Петрович Мышонков с убежденностью объяснял мне:

— Без этого, милок мой, на болоте нельзя. Потому как работа чижолая. Я, милок мой, двадцатый сезон на торфу, и мое слово верное: без этого невозможно..

В жаркие дни над торфяниками гудом гудели злующие оводы, а вечерами не было спасу от малярийного комара. Многих сезонников жестоко трепала болотная лихорадка.

Я вспоминаю больного мальчика, секаря Ильюшу Аршинова. Тяжко томимый недугом лежал он на нарах, укрытый каким-то веретьем. Бледное личико его посерело, глаза запали, заострившийся, чуть приподнятый подбородок дрожал, а из груди вырывалось прерывистое дыхание.

— Ну, как дела, Ильюша? — спросил я, присаживаясь рядом.

Он ничего не отвечал, лишь пошевелил запекшимися губами.

— Совсем расхворался малый, — сказала стряпуха, рябая, ширококостная баба, в синей линючей паневе. — Она, эта болезнь, иной раз и мужика свалит, а тут — ребенок. Ну, да бог милостив, вот я ему ужо-тко травяного отвару дам. Наказывала девкам лихорадочной травки принести. Она у разъезда на пясочке растет, эта травка-то.

— Тетка Настасья, мне знобко, — пожаловался больной.

Стряпуха принесла из своего уголка стеганое одеяло, сшитое из разноцветных лескутков, и укрыла им мальчика. Но и под одеялом он все дрожал и долго не мог согреться.

В открытые двери барака было видно, как подымается над брачами¹ липкая торфяная испарина. Девки, работавшие на ближней карте, тягуче пели:

Ой, болото, черны черти,
Нас замучают до смерти.
Ой, с болота, с того Гуся
Домой к маме не вернуса.

Где-то за редким невысоким березнячком гремели железные вагонетки да сипло посвистывал паровичок.

Все это вспоминается так живо, как будто было вчера, а между тем — давным-давно ушло в прошлое...

¹ Брачами на торфяных разработках называют карьеры, из которых уже выбран торф.

Теперь на торфяных разработках не встретишь ни ямщиков, ни шелевщиков, и старенькие локомотивы со своими прессами-«мясорубками» уже пошли в переплавку. Машинно-формовочный способ добычи почти повсюду заменен гидравлическим.

Из края в край по нашему Гусевскому болоту на многие километры потянулись линии высоковольтных передач. У глубоких карьеров добычи, на бровках, гудят мониторы, приводимые в действие электричеством. Они бьют по залежам торфа струей воды, обладающей силой пушечного удара. Вода превращает торф в черную смолистую жижу. Всасывающие аппараты по трубам гонят ее из карьеров на главную насосную станцию, а оттуда она распределяется по площадям разлива и сушки.

Разлитый ровным слоем жидкий торф постепенно густеет, влага уходит в почву, солнце и ветер сушит коричневатую равнину, и когда сверху над массой уже образуется плотная корочка, механические дисковальщики режут торф на ровные ленты. Потом эти ленты переворачивают, чтобы высушить и исподнюю сторону, а в половине сезона автопогрузчики собирают готовое топливо.

На карьере, где прежде работали четыре артели, теперь управляется один агрегат гидроторфа, вокруг которого хлопочут всего-навсего пять человек. Но это уже не сезонники, а кадровые механизаторы, коренные жители торфяного болота. И живут они уже не в холостяцких бараках, а в новых семейных домиках рабочего поселка, в котором есть детские ясли, школа, столовая, клуб и есть своя местная власть: поселковый Совет депутатов трудящихся.

Конечно, на болоте есть еще и сезонные рабочие, без них пока что не обойтись, и дела им тоже хватает, но теперь уже не они, а именно кадровые механизаторы решают успехи добычи. Да и сезонники-то нынче стали другими. По-иному работают, по-иному живут.

Однажды, в середине лета приехав погостить в родной городок, я захотел побывать и на торфяных разработках, на том самом участке, где когда-то посвистывал мой старый коломенский локомотивчик и где мы жили вместе с рязанскими сезонниками в длинном тесовом бараке.

Я отправился туда на моторной дрезине. У меня оказался попутчик, бойкий сероглазый паренек, как по-

том выяснилось — киномеханик. При нем были два жестяных ящика с лентами какой-то картины.

— На болото? — полюбопытствовал я.

— Да ведь завтра суббота, — ответил он. — По субботам и воскресеньям у нас непременно кино. Попробуй-ка, не привези — скандал да и только.

— Где же показываете?

— А на участке. В хорошую погоду — на воле, а если дождичек — в красном уголке. Тесновато, конечно, но ничего.

Паренек начал хвастаться, как ловко умеет он доставать в конторе хорошие фильмы и как за то уважают его кинозрители.

Слушая его, я глядел на развертывающиеся передо мной картины когда-то знакомых мест, узнавал и не узнавал их.

Много здесь было нового. На пятом участке вдоль железнодорожной линии тянулась улица аккуратных домиков с палисадниками возле каждого, а в каждом палисаднике кустилась какая-то зелень.

Позже старый знакомый торфмейстер, то есть старший мастер по добыче торфа, рассказывал:

— А вот на центральном участке в сквере посадили красные и белые розы.

Он сообщил об этом как бы между прочим, но в самом тоне его я почувствовал плохо скрытую гордость, дескать — что ж, хотя мы и болотные жители, но вот и у нас растут розы.

Дело, конечно, не в розах, а в тех коренных изменениях всего жизненного уклада, которые произошли на болоте с введением гидроторфа.

Между прочим, идею гидроторфа разработал и выдвинул русский инженер-энергетик Р. Э. Классон. В начале двадцатых годов эта идея была поддержана В. И. Лениным, который высоко оценил полет технической мысли Классона.

В декабре 1920 года на заседании Восьмого Всероссийского съезда Советов Владимир Ильич говорил: «Нужно всюду больше вводить машин, переходить к применению машинной техники возможно шире». Как на один из крупнейших успехов техники он указывал на гидравлический способ добычи торфа. Этот способ в виде эксперимента применялся тогда лишь на одном бо-

лоте Московской губернии, возле нынешнего Ногинска. Но Ленину виделось за этим опытом великое преобразование России.

3

На краю Гусевского болота расположены деревни Сулово, Головари, Острова, Нармучь. В 1928 году в Нармучи организовалась первая в нашем крае сельскохозяйственная артель или, как тогда называли, коммуна. Вошла в нее деревенская беднота: братья Гусевы, Тимофей Бирюков, Яков и Сильверст Смирновы, Кондратий Иванов и Аким Горшков, которого сразу же выбрали председателем, хотя он был самым молодым из основателей этой коммуны.

Акима я знаю давно. Детство его прошло в Нармучи. Ему было восемнадцать лет, когда произошла революция. Бойкий смелый парень, он горячо выступал на митингах, будоража крестьянскую молодежь. Потом уехал в Муром. Там Аким вступил в партию большевиков, работая в ЧК — чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией. Потом попал на фронт, воевал, был ранен, а после гражданской войны, окончив в Москве краткосрочные курсы партийных и советских работников, получил назначение на службу в судебно-следственные органы.

В Москве жилось ему хорошо, но все-таки тянуло на родину. Однажды к нему заехал земляк, товарищ детства. Когда они посидели и даже выпили «со свиданием», товарищ сказал:

— Слушай, Аким, вот ты говоришь, что деревенскую жизнь надо переделывать, но сил-то у нас не хватает. Ах, если бы ты вернулся домой!

И он вернулся, оставив московскую квартиру, отказавшись от городской благоустроенной жизни.

Родные и друзья были рады его приезду, однако нашлись и такие мужички, которые встретили приезжего язвительными усмешками.

— Этта, надо полагать, на побывку прибыл, Аким Васильевич?

— Нет, насовсем.

— Значит, не зря говорят, что земля круглая.

— При чем тут земля?

— А как же? Чай, помнишь, ты в семнадцатом-то году тут все агитировал: «Вперед, граждане мужики, к светлой жизни!» Пошел-то ты словно бы и вперед, а прибыл опять на старое место. Вот и выходит, что земля круглая.

Но Аким Горшков шел вперед, будил, будоражил деревню. Он стал секретарем сельсовета, пропагандистом и агитатором. Коммуна в Нармучи возникла по его инициативе.

Ох, и бедна же была эта первая артель коммунаров! Весь наличный капитал ее исчислялся в сорока рублях. На шесть семей было две коровенки да старая лошадь, а всего сельскохозяйственного инвентаря — соха да телега. Землю им выделяли далеко от деревни, возле станции Нечаевская Московско-Казанской железной дороги. Тут был небольшой участок пашни, а остальные угодья представляли собою лесные вырубки, заросшие ельником и мелким березнячком.

Коммунары приняли решение выехать из Нармучи на новое место. Но жить-то там было негде. На болотистой вырубке возвели они первые общественные постройки: шалаш для себя и навес для скотины.

Тоскливо и жутко было здесь хмурой осенью. Глухо гудел сырой черный лес. По ночам на вырубке выли голодные волки. Артельная собачонка Тюльпан, дрожа от страха, забивалась под нары.

В такие ночи Аким одиноко бродил вокруг шалаша, прислушивался к жалобам ветра, к голодному вою волков и, одну за другой смолая самокрутки из злого вонючего самосада, думал — как жить?

Мало было тогда людей, веривших в успех начинания коммунаров. Большинство же судило так:

— С полгода поозоруют и разбегутся. Тут крепким хозяевам и то не под силу среди болот да пеньков поворачиваться, а ведь у них в коммуне чистая голь собралась.

Прошел слух, что какой-то блаженной старушке из Сулова приснился вещий, пророческий сон, будто идут коммунары по тропочке через болото, а оно заколыхалось и утянуло их. Первым увяз Аким, а за ним и другие ухнули. Только пузыри пошли над пучиной...

Теперь трудно даже представить, что люди жили в задымленном сыром шалаше, веря в какое-то уж очень

далекое счастье. Но место, где стоял этот артельный шалаш с общими нарами в два яруса (на верхних спали женщины с маленькими детьми, а внизу — мужики), теперь обнесенное оградой, сохранилось на центральной усадьбе колхоза как память. Сохранилась и старая, выцветшая от времени фотография, на которой можно увидеть и этот громоздкий шалаш, и Акима в старой чуйке, в кепочке, похожей на блин, а рядом с ним длинного, костлявого Кондратия Иванова, раздумчиво озирающего пустынную вырубку. Сохранилась и ведомость с личными расписками коммунаров в получении лаптей.

На обзаведение коммуна получила небольшую денежную ссуду от государства. Двое из коммунаров поехали в Полтаву покупать лошадей. Пригнали оттуда десять голов. Лошади были справные, крепкие.

Всю первую зиму коммунары занимались извозом, чтобы заработать деньжонок на сельскохозяйственный инвентарь, а весной опять принялись за раскорчевку пеньков и кустарника на Нечаевской вырубке. С яростным упорством поднимали они болотную целину, выворачивали кряжистые пни, вырубали мелкий колючий ельник. По вечерам, намаявшись, сидели у шалаша, и не однажды горькие сомнения одолевали мужицкую душу. Но Аким уговаривал:

— Еще немного, и встанем на ноги, будет полегче.

Муромские рабочие передали коммунарам старенький трактор «Ойль-пуль». Трактористом вызвался поработать Михайлов, слесарь со станции Нечаевская. Но от старичка трактора толку было немного: через каждые полчаса его приходилось чинить. Соседи из окрестных деревень, заглядывавшие в Нечаевскую полюбопытствовать, как живут новоселы, с усмешкой говаривали:

— Это одно название, что машина, а проку от нее нет. И вообще, дело у вас ненадежное. Вы бы уж загодя сумой запаслись, чтобы было с чем по кусочки пойти. Не минуете этого.

— Спасибо на мудром совете, — отвечали им коммунары. — Только время еще покажет, кто к кому побираться пойдет.

За лето артель с избытком запаслась сеном, благо лесных покосов вокруг Нечаевской было много. Летом же отремонтировали старую станционную казарму, стоявшую

возле линии, и к осени перебрались в нее, а Федору Гусеву, как самому многодетному, построили отдельную избу.

Сейчас ее уже нет, этой первой избы. Ее сломали, чтобы не портила общего вида. А в то время Гусевым даже завидовали: после землянки простая деревенская изба казалась хоромами.

Осенью собрали первый урожай. Он радовал коммунаров: и рожь и картошка на распаханной целине уродились богато. Сдав положенное количество зерна и картофеля государству, излишки продукции артель продавала на рынке районного центра.

— Гляди-ка, — удивлялись соседи, — голь-то перекатная торговать начала.

На вырученные деньги коммунары купили коров, в рассрочку приобрели два новых трактора, которые тогда только что начал выпускать «Красный путиловец». Трактористы теперь уже были свои — сыновья Федора Гусева, Петр и Сергей, поднаторевшие в этом деле вокруг старенького «Ойль-пуля».

Коммуна стала называться колхозом «Большевик». К основателям его примыкали новые семьи из Нармучи, а то и совсем издалека.

Весной 1931 года пастухом на Нечаевскую нанялся крепкий, бородатый мужик, откуда-то из-под самой Рязани. Звали его дядей Борисом. Свои пастушеские обязанности дядя Борис выполнял добросовестно, к скотине был ласков и жалостлив, места для пастьбы выбирал расчетливо и разумно. Все лето цепким хозяйственным глазом присматривался он к жизни колхозников, на следующее лето опять нанялся в пастухи, а осенью пришел к Аким Горшкову с заявлением: примите в вашу артель.

Заявление дяди Бориса обсудили, высказались в том смысле, что человек он вроде бы совестливый, работающий, и решили принять.

Борис Ильич Левочкин перевез на Нечаевскую всю свою семью, которая жила под Рязанью в селе Аграфенина Пустынь. Впоследствии этот Левочкин стал одним из самых ревностных членов правления колхоза.

На пятом году существования артели Аким Горшков предложил своим товарищам:

— Надо строить электростанцию.

— Эва, куда хватил! — сказал рассудительный Тимофей Бирюков, с сомнением покачав головою.

— А что?

— Ведь сами-то мы без порток еще ходим, а туда же — электростанцию.

— Будут у тебя портки, и костюм, и еще, может быть, галстук прицепишь. Но без электричества не обойдемся...

Строить задумали с таким расчетом, чтобы обеспечить энергией не только свое хозяйство, но и электрифицировать железнодорожную станцию, которая тогда еще пользовалась керосиновыми фонарями и лампами. За электричество железная дорога обещала платить, а это давало колхозу возможность в короткие сроки оправдать строительные затраты.

На Нечаевской тогда работал парторг Центрального Комитета партии Василий Евстафьевич Стрельцов. Незадолго до того он окончил аспирантуру при Харьковском университете, и ЦК партии послал его работать на транспорт. С Акимом Горшковым они были почти ровесники, и у них завязалась крепкая дружба.

Колхозники уважали Стрельцова, считали его своим человеком. Он так же, как Аким, с нетерпением ждал, когда в мешерской глуши загорятся огни колхозной электростанции. И они загорелись. Но увидеть их Стрельцову не было суждено...

В знойное лето 1934 года какие-то злодеи сожгли на лугах несколько стогов колхозного сена, травили скот. Найти преступников не удавалось.

Днем 18 октября все колхозники и рабочие собрались возле новой электростанции. Иван Гусев заканчивал последние приготовления, чтобы запустить двигатель. Аким и Стрельцов в радостном волнении ждали этой минуты. Вдруг с Нечаевской прибежала испуганная буфетчица и сообщила, что там появились подозрительные незнакомые люди, спрашивают, где парторг, где председатель колхоза, и говорят: «Мы устроим им праздничек...»

Стрельцов поспешил выяснить, в чем дело и что это за неизвестные люди. На пороге вокзала его встретили выстрелом из нагана в упор.

На выстрел прибежали рабочие и колхозники. Парторг был уже мертвым. Убийцам удалось скрыться.

Поймали их через несколько месяцев в соседнем районе. На суде бандиты признались, что разбоем и террором они хотели запугать коммунаров.

Над могилой Стрельцова Аким Горшков дал клятву до

конца дней своих служить великому делу обновления жизни.

С пуском электростанции начался новый, электромоторный период в истории колхоза «Большевик». Тогда была организована механическая бригада, ставшая потом самой большой, самой главной бригадой колхоза. Будущих механизаторов посылали в соседний городок Гусь-Хрустальный обучаться слесарному, электротехническому, монтажному делу.

Аким Горшков целиком отдался хозяйственным хлопотам. Сухощавый, черноватый, быстрый в движениях, он постоянно куда-то торопился, всегда ему надо было куда-то успеть. Глядишь, только что был «на хозяйстве», что-то «плановал» с бригадами, и вот уже нет его, говорят, уехал в район.

В четыре часа утра он уже на ногах, домой возвращался затемно. Жена, Прасковья Георгиевна, беспокоится: — Голодный, поди? Хоть пообедал ли где-нибудь?

— Да знаешь, некогда было. Налей-ка мне молочка.

Опорожнив кринку молока вприкуску с ломтем ржаного, круто посоленного хлеба, он шел в сенцы, где по летнему времени стояла его деревянная кровать, и сразу, как в омут — в сон, чтобы подняться с первыми петухами.

Не легко, а порой даже горько было и Прасковье Георгиевне. Поглощенный заботами об артельном хозяйстве, муж выбивался из сил. Какая уж тут семейная жизнь!

А ведь они были еще молоды, и она любила Акима...

Отец ее служил обходчиком лесного кордона и не раз уговаривал зятя:

— Хочешь, устрою тебя лесником? Хорошо заживете, спокойно.

— А я к спокойной-то жизни и не привык, — отговаривался Аким.

Но разве так, как жили они, было лучше? Вот он придет в полночь-заполночь, заснет как убитый, а жена иной раз заплачет над ним: обидно и жалко.

Однажды Аким проснулся от слез ее.

— Что с тобой, Паня, милая? О чем ты?

Может быть, и прав отец-то. Может быть, лучше — в лесники. Ведь здесь ты совсем изведешься.

Он утешал и ласкал ее, будто ребенка. И она успокаивалась, верила в неизбежное счастье. А завтра новые заботы и хлопоты опять обступали его.

В округе о Горшкове судили по-разному:

— Дельный хозяин, — говорили одни.

— Комбинатор, — укоризненно отзывались другие.

Он четырехглазый, на три аршина под землей видит.

Аким был, действительно, оборотистым, инициативным хозяином. Меня всегда удивляло его умение находить источники дохода там, где другие их просто не замечали. Взять хотя бы такой пример. Чтобы расширить площадь посевов, колхозу пришлось раскорчевывать старую вырубку, заросшую мелким березнячком. Обычно этот березнячок тут же и сжигают. В самом деле — чего с ним возиться? Аким же собрал совхозных стариков, ребятишек и заставил их вязать из березовых прутьев метлы. «Дело не трудное, а хозяйству польза, — говорил он. — В городе метлы у нас с руками рвать будут. Для дворников это необходимый инструмент». И вот, глядишь, за сезон старики и ребята играючи навяжут два-три десятка тысяч березовых метел, а ведь если за каждую взять по четвертаку, и то — семь с половиной тысяч рублей.

Не пропадали и толстые пни. Из них жгли уголь. Все это делалось как бы походя, но все давало хозяйству деньги.

Однажды Аким Васильевич от кого-то узнал, что на одном из московских заводов решили заменить старый телефонный коммутатор автоматической станцией. Он сразу же метнулся на этот завод. Спрашивает:

— Что будете делать со старым коммутатором?

— Наверно, сдадим в утиль — отвечают ему.

— А не отдадите ли колхозу, в обмен на березовый уголь?

Уголь был нужен заводу для литейного производства, поэтому дирекция охотно приняла предложение Горшкова, и колхоз получил не только коммутатор, но и старые телефонные аппараты и провод.

Вскоре телефоны были установлены даже в избах колхозников.

Помнится, в ту пору случилось мне почевать у Федора Ивановича Гусева. Он тогда заведовал молочно-товарной фермой колхоза и, то и дело снимая телефонную трубку, кричал дежурной телефонистке:

— Милая, соедини-ка меня с коровником. Коровник? Говорит дядя Федя. Пеструха не отелилась еще? Нет? Ну, как только будет причинать, вы мне обязательно

позвонито. Скажите: квартиру Федор Ивановича Гусева. Ясно?

И думается, что звонил он не столько из крайней необходимости, сколько из желания похвастать перед заезжим человеком совершенствами новой колхозной техники.

— Все-таки молодец наш Аким, видишь, какую штуку устроил, — говорил он таким тоном, будто именно Аким-то и был изобретателем телефона.

«Оборотистость» председателя порой вызывала тревогу и порождала сомнения: а не собьется ли артель боевых коммунаров с главной линии? Не превратится ли колхоз «Большевик» в некое товарищество предпринимателей? Но сомнения с каждым годом рассеивались. В колхозе неуклонно развивались главные отрасли производства: мясное и молочное животноводство. Именно к этому были устремлены все заботы колхозников, все хлопоты Акима Горшкова.

Теперь он был захвачен идеей коренной перестройки центральной усадьбы колхоза. В мечтах ему уже представлялся здесь небольшой сельскохозяйственный городок.

Но осуществлению этой мечты помешала война.

И хотя своим огненным фронтом она не докатилась до здешних мест, тяготы ее отразились на жизни колхоза. С первых же дней на фронт ушла добрая половина работников.

Для военных надобностей пришлось отдать все автомашины и почти всех лошадей. Отдавали зерно и фураж, картошку и мясо.

На фронт ушла почти вся механическая бригада — самая главная сила колхоза, самый цвет его.

Самого Акима Горшкова не взяли в армию по непригодности: в гражданскую войну он был ранен в руку, и она осталась навсегда искалеченной. И вот он остался в деревне один, с женщинами, детьми, стариками.

Только на них и держалось хозяйство. Я не буду рассказывать о том, как жил колхоз в военные годы: писать о муках и страданиях тяжело...

Но вот война кончилась, и «Большевик» снова стал набираться сил. Правда, из тех молодых и крепких людей, что были призваны в армию, домой возвратились не все. Многие погибли на фронте. В колхозе было много

вдов и сирот. Но в артель вливались новые силы, приезжали люди из сожженных, разрушенных мест, солдаты, потерявшие семьи. Так обосновался в мешерской стороне Иван Федосеевич Романенко, приехавший изпод Чернигова. Он показал себя дельным, хозяйственным человеком и стал заместителем председателя колхоза.

В конце сороковых годов к «Большевику» присоединились артели соседних селений — Демино, Сулово, Головари, слившись в одно большое хозяйство. Во главе его по-прежнему оставался Аким Горшков.

Кажется, чем крупнее хозяйство, тем сильнее оно должно быть. Но укрупнение колхоза нельзя рассматривать как простое механическое сложение разных величин. Этот процесс порождает свои трудности. И главная заключалась в том, что в одну большую артель объединились разные люди, привыкшие к разным порядкам.

В колхозе «Большевик» еще со времен коммуны установилась твердая дисциплина. Здесь никого и никогда не надо было уговаривать пойти на работу, каждый знал своё дело, каждый исполнял его добросовестно. А в Сулове, Демине и Головарях были совсем иные порядки. Точнее сказать, там были беспорядки. И теперь, когда все они объединились в один укрупненный колхоз, дело на первых порах доходило даже до стычек.

— У вас спину не разогнешь, мы так не привыкли работать! — кричали головаревские.

— А вы хотите, чтобы на вас другие работали? — отвечали им старые коммунары. — Привыкли преподобного лодыря праздновать. Теперь не выйдет!

Не легко было приводить бригады к «общему знаменателю», укоренять единый порядок. А еще надо было строить новые фермы, механизировать хозяйство в новых бригадах. Деньги на строительство приходилось выделять из общих доходов колхоза. Надо было нанимать специалистов-строителей, и на оплату их опять-таки нужны деньги. Старые-то коммунары понимали, что это необходимо и что затраты окупятся, но колхозники из присоединившихся к «Большевику» маломощных артелей, привыкшие вести хозяйство по устаревшему способу — «сами лыко дерем, сами лапти плетем», воспринимали это как покушение на их заработок.

— Что такое делается, — роптали они, — мы работаем, а доходы уходят каким-то строителям!

Когда стали проводить телефоны в эти деревни, опять пошел ропот:

— Мы и без телефонов жили!

Им-то казалось, что как только присоединятся они к богатому, сильному «Большевику», так потекут к ним все блага жизни, а тут, оказывается, пришлось начинать с укрепления хозяйственного фундамента, с создания того источника, откуда бы потекли эти блага.

Особенно не довольны новыми порядками были те люди, которые по давней укоренившейся привычке чувствовали себя хозяевами лишь на своем небольшом дворе и на своем огороде, а к колхозной работе относились как к некоей повинности...

Аким Горшков теперь часто наведывался в новые бригады, присматривался к людям, давал советы, как лучше наладить дело. Больше всего ему хотелось, чтобы люди в этих бригадах «научились считать», как говорил он, то есть почувствовали бы себя хозяевами своего артельного дела и подходили к нему не «наобум Лазаря», а расчетливо, заранее предвидя все убытки и прибыли. Эти расчеты показали бы, почему Головаревский, Суловский или Деменский колхозы были маломощны и бездоходны, они убедили бы, например, что сеять овес в условиях Мещеры — невыгодно, что надо смелее осваивать новые кормовые культуры, которые позволили бы успешнее развивать колхозное животноводство.

В своих хозяйственных заботах и хлопотах Аким Горшков меньше всего заботился о показной стороне дела и больше всего — о действительной выгоде не для себя, а для коллектива. И тут иногда возникали конфликты.

С тех пор как появился Нечаевский колхоз «Большевик», в районе сменилось много разных руководителей секретарей райкомов партии, председателей исполкома районного Совета. Были средние люди с большим жизненным опытом, энергичные, крепкие, настоящие вожаки, но случалось и так, что на этом посту оказывались верхогляды, крикуны, привыкшие безрассудно командовать. Ладить с такими руководителями Аким не умел, да и не хотел.

Некоторое время назад секретарем райкома в Гусь-Хрустальный из области прислали молодого, но самоуверенного товарища, по образованию инженера.

Как-то в апреле звонит он по телефону в колхоз «Большевик» и строгим голосом спрашивает:

— Яровые сеете?

— Нет, — ответил ему Горшков, — у нас на полях еще воды по колено. Рано сев начинать.

Тут секретарь и взвинтился.

— В Суздале, — говорит, — сев идет полным ходом, а для вас рано? Приступайте немедленно!

Аким отвечает, что, дескать, Суздальский район — это сердце Ополя, почвенные условия там совершенно другие, чем в наших мещерских местах.

Однако он и слушать не хочет.

— Что еще за почвенные условия? У нас есть директива развернуть сев яровых. Она сверху получена, а там поумнее нас с тобой сидят люди.

Ну что ты с ним будешь делать?

— Семена загубим и перед людьми оскандалимся, — предупреждает Аким.

— Перед какими людьми?

— Перед колхозниками.

— А меня перед областью ты уже оскандалил. Что я буду в сводке показывать?..

Аким Горшков настоял на своем и, конечно, был прав. Но в его отношениях с секретарем райкома появилась глубокая трещинка. Тот долго не мог забыть своеволия какого-то председателя колхоза, обязанного выполнять указания директивных организаций.

Много времени спустя, рассказывая мне об этом случае, Аким Васильевич с горечью заметил:

— Ах, боже мой, сколько еще у нас таких легкомысленных руководителей! Выдвинут их на какую-то вышку, и они уже считают себя вправе поучать и командовать. И сколько вреда от их неумного администрирования!..

В 1951 году за успехи в развитии колхозного животноводства Горшкову было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Это было приятно. Но случались и неприятности. Однажды в областной комитет партии поступил анонимный сигнал. Горшкова обвиняли в том, что он зазнался, ни с кем не считается, чув-

ствует себя в колхозе чем-то вроде новоявленного помещика, что слава колхоза — дутая, люди живут там бедно, а работают будто на барщине.

В обкоме к анонимке отнеслись с недоверием, но все же решили проверить: черт его знает, в жизни случается всякое.

На Нечаевскую приехала комиссия. Три недели велась проверка. С Горшковым разговаривали только официально. Проверили годовые отчеты артели, беседовали с колхозниками, с бригадами, с членами правления.

Анонимка, как и следовало ожидать, оказалась насеквозь клеветнической.

— Теперь ты чист совершенно, — сказали Акиму.

А он взорвался:

— Эх, дорогие товарищи, а какого червяка вы мне в душу-то запустили своим недоверием, сколько нервов попортили!

— Коммунист не должен обижаться на это, — строго сказал один из членов комиссии.

— Что же, по-вашему, коммунист-то — не человек?

Но плохое забывается, а то доброе, что сделано человеком, остается уже навечно. К началу пятидесятых годов колхоз «Большевик» снова обзавелся машинами, обновил хозяйственные постройки, вдвое против довоенного увеличил поголовье скота. На подзолистых почвах Мещерского края полеводческая бригада Кондратия Иванова собирала урожаи овощей и зерна, равные урожаям в лучших колхозах плодородного Владимирского Ополья.

Приезжая в колхоз «Большевик», я радовался его успехам, видя в них обновление жизни Мещерского края. Но сейчас, когда я пишу, в памяти моей возникают и другие, не очень радостные картины.

4

Однажды, в осеннюю пору, я ехал из Гусь-Хрустального в Туму. Погода стояла ненастная, хлипкая. Поезд тащился медленно. Ключья паровозного дыма цеплялись за мокрые ветки осинника. В вагоне пахло паленой шерстью, табаком и карболовкой.

В сумерках на каком-то разъезде в вагон вошел не-

высокий человек в брезентовом плаще, задубевшем от сырости и казавшимся спитым из кровельного железа. Под мышкой у нового пассажира был толстый клеенчатый портфель, перевязанный белой тесемочкой.

Скинув плащ и повесив его на крючок, пассажир сел к заплаканному окну, на боковую скамейку, добыл из портфеля сверточек, в котором оказался у него хлеб и завязанный в тряпочку творог, разложил эту скудную снедь на подоконном столике и молча, как-то уныло принялся за еду.

— Никак Иван Митрев? — окликнул его пожилой мужчина, сидевший напротив меня.

Новый пассажир даже не оглянулся, молча доел свой хлеб, остатки творога аккуратно завернул в тряпочку, вытер тыльной стороною ладони рот и только после того, повернувшись, сказал:

— Это кто же?

— Силантьев, из Алексеева, — назвал себя мой сосед. — Я гляжу — человек-то вроде знакомый вошел. Не иначе, мол, Иван Митрев. Стало быть, домой пробираешься? На молокозаводе работаешь-то?

— Нет, нынче на ватной фабрике.

— Гляди-ка, а ведь думается, ты директором на молокозаводе работал?

— До посевной работал, — уныло сказал Иван Митрев. — В посевную так же вот послали уполномоченным в Радицы. Колхоз там тяжелый, ну что я сделаю? Объясняю в райкоме, что, мол, к этому делу я не способен, у меня ишиас. А мне говорят — поезжай. Ну, ладно, поехал. Сижу там, каждый вечер сводку по телефону передаю. Потом вызывают отчитываться. За слабые показатели — выговор, с молокозавода снимают и перебрасывают на ватную фабрику. А тут опять вызывают — бац! — на уборочную. Я говорю: пошлите меня в «Октябрьскую революцию». А первый секретарь отвечает: «Октябрьская революция» — хозяйство мощное, я его сам под наблюдение возьму, а ты, Кремнев, поезжай опять в Радицы». В Радицах, говорю, меня уже знают. Там я ничем помочь не могу. — «Тогда, говорит, билет выложишь». Что ты будешь делать — поехал. А погода видишь какая? Картошку опять не успеют выкопать. Вчера «первый» лично по телефону звонит: почему, дескать от «Октябрьской революции» отстаете? Тут бы мне и сказать,

что в «Октябрьской-то революции» и я бы был на кону, сам и без уполномоченных за милую душу справятся. Но характер у меня к возражениям не приспособленный, против руководства я не могу выступать. Теперь вот опять на бюро вызывают...

— Да, положение у тебя незавидное, — сказал Силантьев.

— Хуже и быть не может. Вот еду и думаю: ну, ладно, выговор дадут, а перебросят куда же?

— Думаешь, перебросят?

— А как же — оргвыводы надо делать?

— Это конечно...

В вагоне зажгли электричество. При слабом свете маленькой лампочки худощавое, морщинистое лицо Кремнева казалось пепельно-серым, а бесцветные узкопоставленные глаза были такими тусклыми, словно их вымочило затяжным осенним дождем.

— Опять же ишиас разыгрался, — после некоторого молчания пожаловался он. — Одно к одному.

— А в Радицах, стало быть, нынче опять горе лычком завязывай? — спросил Силантьев.

— Так разве в одних только Радицах, — вмешалась в разговор широколицая женщина, сидевшая в обнимку с большой корзиной, плетеной из ивовых прутьев.

— Нынче, гляди-кось, половина района «за так» работает. На трудодни ничегошеньки не приходится. Главное дело, что болота кругом, а тут еще дожди одолели. На той неделе в Самойлиху два трактора занарядили, а они возьми да и завязни в болоте.

— Это в котором же? — спросил кто-то уже из соседнего отделения.

— Да в Коробовском, за Ялмой. Завязли и, значит, два дни их вытаскивали. А колхоз как хошь управляйся. Начисто обезручили.

— А как у вас с сеном? — спросил опять тот же голос из соседнего отделения.

— А с сеном все так же. За Ялмой сметали шестнадцать стогов, да ить к ним теперича до больших морозов не подобраться. Район молока требует, а оно, как говорится, у коровы на языке. Что покормишь, то и возмешь...

— Ну, мне в Великодворье слезать надо, — сказал Силантьев. А вам счастливо оставаться.

Кремнев ничего не ответил. Он, видимо, уже излил

душу, наговорился и, привалившись к стенке плечом, молча просидел до самой Тумы. А струйки дождя все текли и текли по стеклу, словно оплакивая людские неудачи и горести.

В ту пору, к которой относится это невеселое воспоминание, многие колхозы не только Мещерской округи, но и других районов страны переживали тяжелые времена. Местные руководители больше увлекались всякого рода победными рапортами, мало вникая в существо дела. Ради этих рапортов и реляций дважды в год, как своеобразные приливы и отливы, на посевную и на уборочную кампании из районов и областей посылались в деревню уполномоченные, работавшие подчас «на сводку». Помощи от этих наездов было немного...

Вспоминается мне и еще одна история, характерная для того минувшего времени.

В соседнем с Тумой Бельковском районе секретарем районного комитета партии состоял тогда некий товарищ, фамилию которого мне сейчас не хочется приводить. Назову его просто Борисом Глебычем.

Это был человек как бы двух измерений. Если в областном центре проходило какое-то совещание или пленум, где обсуждались хозяйственные вопросы. Бориса Глебыча непременно ругали и говорили, что, дескать, ярчайший пример казенного руководства, потому что Бельковский район отставал буквально по всем экономическим показателям.

Когда же в области проводились совещания по вопросам партийного просвещения, Борис Глебыч бывал, что называется, «на кону». Фамилия его произносилась уважительно.

— Вот, мол, человек работает секретарем райкома и одновременно трудится над диссертацией на звание кандидата наук.

Будучи в те годы разъездным корреспондентом «Известий» и заехав в Бельково, я лично познакомился с Борисом Глебычем. Он оказался грузным, одутловатым мужчиной лет сорока, с несколько вяловатыми, как бы затуманенными чертами лица. Я попытался выяснить у него, в чем причина отставания бельковских колхозов от своих соседей, но Борис Глебыч сказал:

— Об этом вы побеседуйте со вторым секретарем. Он занимается сельским хозяйством, а у меня общее полити-

ческое направление и вопросы теории. Вот, пишу диссертацию...

— А тема?

— «Причина поражения крестьянского восстания в XVI веке», — сказал он и посмотрел так значительно, что в то мгновение я даже растерялся и с уважением подумал: «подвижник науки!..»

Встретиться со вторым секретарем мне не удалось: он был в отъезде. Но в тот же день, к вечеру, я попал в луга. Была пора сенокоса. Колхозники, выехавшие в пойму с ночевкой и приуставшие на косьбе, сидели у костра в ожидании ужина.

Я подошел, поздоровался. Спросили — кто, откуда? Потом пригласили в круг: завели разговор о соревновании с соседним Ерахтурским районом.

— Тут мы опять в отстающих окажемся, — сказал мрачноватый, чернобровый мужчина, свертывая папироску. Он выхватил из костра золотой уголек, покатав его на задубевшей черной ладони, прикурил и, выпустив облако дымка, пояснил: — у Ерахтурских — техника, механические косилки, а мы литовками упражняемся...

— Это верно, против Ерахтурских мы слабее, — поддержали чернобородого.

— А почему? — допытывался я, — какая причина?

Сидевший рядом молодой косарь, с серыми насмешливыми глазами и непокорным чубом русых волос, повернулся в мою сторону и ядовито сказал:

— Тут, дорогой товарищ, все дело в «причинах поражения».

Вокруг костра засмеялись.

— Начальство наше, слышь-ко, в науку ударилось. «Причины поражения» разыскивает, а что вокруг делается, того оно видеть не хочет.

— В этом-то и беда, — продолжал молодой косарь и наклонился поближе ко мне, как бы посвящая в некую тайну. — Ежели он к рулю нашей жизни поставлен, то обязан вперед глядеть, не уклоняться с фарватера, а то как раз на мели застрять можно. Я, понимаешь ли, сам состою парторгом колхоза и этого отрыва от жизни не одобряю.

— Вы на Бориса Глебыча намекаете? — спросил я.

— А хоть бы и Бориса Глебыча взять, — ответил косарь. — Что он там изучает? Причины поражения Стень-

ки Разина? Да он бы причинами поражения района поинтересовался, узнал бы, как люди живут. А то все по сводочкам да и по докладным запискам о жизни, судить. Не одобряю. Мириться с этим нельзя...

Разумеется, партия не могла мириться с неурядицами в сельском хозяйстве. Пленум ЦК резко осудил недостатки и слабости руководства колхозами и совхозами, наметил программу крутого подъема сельского хозяйства. Тридцать тысяч коммунистов были посланы на постоянную работу в деревню.

В то время Борис Глебых был освобожден от обязанностей секретаря райкома партии. Говорят, что теперь он работает где-то на юге лектором добровольного общества «Знание». Защитил ли он свою диссертацию, мне неизвестно.

Я рассказываю здесь об этом лишь потому, что, как говорится, из песни слова не выкинешь...

5

На полпути между Владимиром и Рязанью расположен поселок Тума. Километрах в двадцати от нее есть местность, именуемая Куршей. Она охватывает несколько деревень — Малахово, Ветчаны, Култуки и собственно Куршу.

По своей отрезанности от внешнего мира Курша считалась центром лесной Мещеры, краем, про который здесь говорили, что он забыт и начальством, и богом. И хотя до Москвы отсюда всего каких-нибудь двести пятьдесят километров, человеку, впервые попавшему в Куршу из города, могло показаться, что он заехал бог знает как далеко, почти на другую планету. Именно так оно и показалось. Александру Ивановичу Куприну, который увидел мещерскую глушь, приехав сюда в самом начале девятисотых годов.

«Вокруг нас столетний бор, где водятся медведи и откуда среди белого дня голодные волки забегают в окрестные села таскать зазевавшихся собачонок, — писал он. — Местное население говорит непонятным для нас цевучим, цокающим и гокающим языком и смотрит на вас исподлобья, пристально, угрюмо и бесцеремонно».

На всю Куршу тогда здесь было только два сельских

интеллигента — хромой фельдшер Смирнов да учитель приходской школы Астреин. Оба они совершенно спились, опустились. Жизнь и трагическая гибель этих несчастных людей со страшной силой изображены писателем в рассказе «Мелюзга».

Но и торговое село Тума в ту пору по своему бытовому укладу, вероятно, мало чем отличалось от дикой Курши.

В рождество, попав на елку в тумскую школу, Куприп ужаснулся убожеством здешней жизни и впоследствии вспоминал, что «в те минуты тяжелая, печальная и страшная мысль точно разверзнулась в моем уме». «Вот, — думал я, — стоим мы, малая кучка интеллигентов, лицом к лицу с неисчислимым, самым загадочным, великим и угнетенным народом на свете. Что связывает нас с ним? Ничто. Ни язык, ни вера, ни труд, ни искусство. Наша поэзия смешна ему, нелепа и непонятна, как ребенку. Наша утонченная живопись для него бесполезная и неразборчивая пачкотня. Наше богоискательство и богостроительство — сплошная блажь для него, верующего одинаково свято и в Праскеву-Пятницу, и в лешего, и баешника, который водится в бане. Наша музыка кажется ему скучным шумом. Наша наука недостаточна ему. Наш сложный труд смешон и жалок ему, так мудро, терпеливо и просто оплодотворяющему жестокое лоно природы».

Самое главное заключалось, вероятно, в том, что «лоно природы», на котором терпеливо и тяжело трудились мещерские жители, было почти совершенно бесплодным.

В многотомном географическом описании нашего отечества, изданном в 1902 году, о Туме сказано: имеет 600 жителей, две церкви, волостное правление, больницу. Еженедельно базары и три ярмарки. Торгует Тума главным образом мануфактурно-волоконным товаром, доставляемым из Егорьевска, металлическими изделиями Касимовского района, лесными материалами и рогожей...

В тот год, когда я собрался поехать в Туму, из печати вышел 43-й том Большой Советской Энциклопедии. О Туме там сообщается следующее:

«Тума — поселок городского типа, центр Тумского района Рязанской области. Железнодорожная станция на линии Рязань-Владимир. В Туме — кирпичный завод, предприятия по обслуживанию железнодорожного тран-

спорта и местной промышленности, 2 средние школы, школа рабочей молодежи, дом культуры, клуб, библиотека. В районе — посевы зерновых (рожь, гречиха, овес), посадки картофеля, молочно-мясное животноводство, МТС, сельская электростанция».

Если сравнить эти два сообщения, между которыми лежит пятьдесят с лишним лет, то заметим, что в БСЭ опущено упоминание о церквях, базарах и ярмарках. Зато приводятся данные о наличии двух средних школ, дома культуры, библиотеки, электростанции.

Между прочим, на карте, приложенной к географическому описанию России, изображена строящаяся железнодорожная линия, которая должна связать Туму с уездным центром — Касимовым. Эта линия так и осталась только на старой карте. Я даже не знаю, почему картографы того времени сочли возможным изобразить ее на своем чертеже. Ведь никаких даже подготовительных работ на этом участке не проводилось. Скверная проселочная дорога до последнего времени была единственной линией, связывавшей эти два пункта, и лишь недавно здесь построили шоссе, по которому сейчас открыто автомобильное сообщение.

В Туме наслышался я о том, как живут теперь лесные деревни Куршацкой округи. Само собой разумеется, что в колхозах той стороны уже есть электричество, что поля обрабатываются преимущественно тракторами, что в хозяйствах работают агрономы и зоотехники. Но меня интересовала главным образом культурная, бытовая жизнь Курши. И вот что узнал я частью из рассказов краеведов-любителей, частью из сообщений районной газеты «Призыв», издающейся в Туме.

Оказывается, в Малахово есть отличная средняя школа и в ней работают 25 преподавателей. Жители этого села выписывают 400 экземпляров газет и журналов. В сельской библиотеке 7000 книг. В той самой деревне Ветчаны, где в сторожке казенного егеря останавливался писатель Куприн, колхозники построили клуб, и дважды в неделю там бывает кино.

Рассказывали также, что учитель биологии из Колтуховской школы Никита Никитович Карпов регулярно читает лекции для колхозников и состоит действительным членом Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний,

Надо сказать, что количество интеллигенции в Мещерских селах непрерывно растет. В Тумском районе, например, более пятисот учителей, медиков, зоотехников и агрономов с высшим и специальным средним образованием. И вот что самое главное — эта интеллигенция не приехала откуда-то со стороны, а в большинстве своем поднялась из населения самой же Мещеры. Уже и здесь запросто можно встретить, что муж работает трактористом, а жена учительницей; мать — колхозной дояркой, а дочь врачом. И уже нет между простым народом и интеллигенцией той страшной разделяющей пропасти, о которой с глубокой горечью писал в свое время Куприн.

В Туме случай свел меня с одним интересным человеком. Впоследствии мне еще не раз доводилось встречаться с ним на перепутье Мещерского края, а знакомство наше началось при следующих обстоятельствах.

Зайдя в Дом колхозника с надеждой обрести ночлег, я сразу же получил отказ.

— Эх, милый, — ласково сказала старушка-заведующая, — какой тут ночлег, коли уж и в сених-то постояльцев, что опят вокруг пёнышка.

— Как же быть?

— Как быть? Выйти на улицу да и проситься — кто-нибудь пустит.

— А вы откуда? — любопытствовал находившийся тут же рыжеватый мужчина лет сорока в меховой куртке и пыжиковой шапке-ушанке.

Я назвался.

— А я — лесной техник. Ликин Михаил Михалыч, — сказал, он, доброжелательно протягивая руку. — Будем знакомы. Мы с вами — товарищи по несчастью, давайте же вместе искать пристанища.

— И хорошо, — обрадовалась заведующая. — С Михаил Михайлычем не пропадете. Он тут бывалый.

— Вот бывалому-то и не нашлось у вас места, — усмехнулся мой новый знакомый.

— Так ведь что же поделаешь. Вам-то, Михаил Михайлович, поди-ко известно, что завтра суббота, базарный день. А уж под базар у нас завсегда тесновато.

— Ладно, — сказал лесной техник. — У меня тут знакомые есть. Я иногда у них останавливаюсь. Думаю — пустят.

Ликин оказался компанейским, любознательным че-

ловеком. Перед самой войной он окончил Муромцевский лесотехникум в Судогде, получил назначение в Мещеру. Теперь ему часто приходится ездить по этому краю, у него много знакомств, и он буквально начинен разными любопытнейшими историями. Между прочим, от него я узнал одну подробность, касающуюся Купринского рассказа «Попрыгунья Стрекоза».

— Помните, — сказал Ликин, — в том рассказе Александр Иванович сообщает: «Жили мы в старом, заброшенном имении, где в 1812 году был построен пленными французами огромный деревянный дом с колоннами и ими же был разбит громадный липовый парк в подражание Версалью». Вот это меня и заинтересовало: мещерская глушь и вдруг парк в подражание Версальскому. И потом эти пленные французы — как занесло их сюда? Стал я из любопытства наводить справки и выясняю, что в Курше было имение, принадлежавшее княгине Волконской, дочери генерал-фельдмаршала. А до нее имением владел сам генерал-фельдмаршал Петр Михалыч Волконский. Это был один из приближенных императора Александра Первого. В 1812 году он занимал должность генерал-квартирмейстера, и — что ему стоило послать в свое рязанское имение сотню-другую пленных. Раз плюнуть! Вот эти-то пленные и разбили отличный липовый парк. Остатки его сохранились еще до нашего времени. Я собственными глазами видел эти могучие липы. Кстати сказать, Куприн не жил в доме княгини Волконской. Он останавливался в Ветчанах, в избушке казенного егеря. Я разговаривал со стариками, которые еще помнят его...

На другой день после знакомства мы с Ликиным зашли в тумскую чайную. Там, как почти во всех заведениях подобного рода, имелись два зала — один общий, где всегда былолюдно и шумно, другой поменьше, но почище «для командировочных», как значилось на фанерной табличке, висевшей над дверным проемом, задернутым темно-зеленой портьерой.

Занят был всего один стол. За ним обедали три женщины. Две еще сравнительно молодые, а третья уже в годах. Но именно эта третья сразу же привлекла мое внимание.

В отличие от своих соседок она сидела не раздеваясь, в пальто, лишь распахнув его, чтобы было свободно. Тон-

кий полушалок лежал у нее на плечах, а на спинку стула была брошена тяжелая клетчатая шаль. Темные, с проседью волосы были гладко зачесаны к затылку. Упрямый лоб круто поднимался над густыми бровями. В лице и крупной фигуре ее угадывалась суровая властность. Мы с Ликиным присели к соседнему столику и для порядка стали изучать листочек с перечнем кушаний и напитков. Впрочем, меню этой чайной нам было уже знакомо. На листочке строка в строку повторялось то же, что было вчера и неделю назад: тот же суп-лапша с мясными консервами, гуляш из свинины, котлеты с пшенной кашей, халодец, селедка с гарниром. Видимо, повар отличался устойчивым постоянством.

Вошла официантка, чтобы принять заказ. Мы попросили гуляш и студень.

— А сюда принес чаю по два стакапа, — сказала старуха, — только, смотри, сахар отдельно подай. — И сердито добавила: — Лапша у вас пересолена, а пшено промывать надо лучше. Руки-то, чай, не отсохли бы.

— Это от меня не зависит, — ответила официантка, передернув плечами. — Мы подаем, что нам кухня отпустит.

— У вас завсегда ни от кого не зависит. Скажи заведующей, чтобы она поменьше хвостом вертела, а лучше бы за кухней доглядывала.

— Это я не обязана. Вы ей сами скажите. — Официантка вышла, обиженно поджав губы.

— Привыкли все делать спустя рукава, — проговорила старуха вслед ей.

— Кто это? — тихонько спросил я у Ликина, который, как я уже убедился, был в курсе всей тумской жизни.

— Погодите, потом расскажу, — сказал техник.

Напившись чаю и рассчитавшись с официанткой, наши соседки встали из-за стола. Старшая не спеша появлялась полушалком, старательно застегнулась, закуталась шалью и направилась к выходу. Молодые последовали за ней.

— Теперь слушайте, — начал Ликин, — это наша игуменья.

— Как, — удивился я, — неужели здесь еще сохранились монастыри?

— Ну, что вы! Игуменья — это лишь прозвище. На самом же деле старуха — председатель колхоза. Фамилия

ее Роснова — Домна Ивановна. Но характерец у нее таков, что настоящая мать-игуменья. Сейчас она в расстроенных чувствах. Переживает...

— Что именно?

— Сейчас расскажу. Для вас, конечно, не секрет, что большинство здешних хозяйств долгое время влачили незавидное существование. Причины в общем известны — плохая земля, нехватка рабочих рук и так далее. Доходы ничтожные, материального стимула нет, колхозники в работе не заинтересованы. Но у Росновой дело совсем другое. Какой бы год ни был, а все глядишь на трудодень граммов по восемьсот зерновых приходится, картофель выдают, сеном обеспечены. Перед государством по всем поставкам ее колхоз первым оправдывался, даже с перевыполнением. И вот происходит однажды такая история. Из райкома раздается звонок, и следует суровое требование: «Немедленно сдавайте зерно и картошку, не подводите район». Роснова удивляется и объясняет, что все свои обязательства колхоз давным-давно выполнил. Ей говорят: «Правильно, ваш колхоз выполнил, но другие не выполнили в силу маломощности. В общем, район отстаёт, и вы должны его выручить». Однако Роснова отвечает, что вся продукция согласно уставу уже распределена между колхозниками, и, стало быть, везти нечего. А ей говорят: «Везите семенной фонд. Весной рассчитаемся...»

Но вы видели, какая это женщина? — Камень. Если упрется — конец, не своротишь. Для большей убедительности она говорит, что, дескать, и семенной фонд также роздали колхозникам. Тут-то к ней и придрались: за антигосударственную практику, выразившуюся в разбазаривании семенных фондов, снять Роснову с поста председателя сельхозартели и дело на нее передать прокурору.

Правда, до суда не дошло, потому что семенные фонды у колхоза были в полном порядке. Но с председательской должности Домну Ивановну сняли и на ее место направили в колхоз другого товарища.

И вот на следующий год колхоз не выполнил даже своих обязательств. Казалось бы, что такое — ушел один человек. А порядок сразу нарушился. Колхозники протестовать: «Давайте обратно Роснову. Она двадцать лет руководила хозяйством...»

Пришлось посчитаться с их мнением. Правда, Домна

Ивановна долго отказывалась, обиду простить не могла. Но в конце концов согласилась. И что же вы думаете — хозяйство поднялось до прежнего уровня. Опять она свое показала.

— О каких же переживаниях вы говорили?

— А начались они с того, что в соседний колхоз «Новый путь» заступил председателем Афанасий Кирюшов, — сказал Ликин и предложил: не выпить ли нам по кружечке пива? Сегодня здесь свежее.

Мы заказали пива.

— С Кирюшовым, — продолжал Ликин, — я близко знаком. Он у нас в Кудшинском леспрохозе работал, потом перевелся в районный центр, а тут после сентябрьского пленума ЦК ему предложили возглавить один из колхозов. Кирюшов согласился, хотя некоторые товарищи говорили: «С ума ты сошел, что берешься за такое расшатанное хозяйство?» Хозяйство же в «Новом пути» действительно было очень расшатано. Однако Афанасий твердо сказал: пойду. И пошел. За дело взялся горячо, и через два года слабенький колхоз вдруг вышел в миллионеры. Даже Роснову по доходам стал обгонять.

Домна Ивановна чем берет? Строгостью. Порядки у нее, как в монастыре у игуменьи. Сказала — отрезала. А у Кирюшова ставка на инициативу: придумывай, пробуй. Он даже зоотехническую школу для колхозников организовал. В районе теперь не на Роснову, а на него равняться хотят, а про Домпу Ивановну так поговаривают: «Видно, наша игуменья с ярмарки едет».

Ей, конечно, обидно это. Хотя она вида не показывает, а в душе-то переживает, — заключил Ликин.

6

Буйством воды и зелени приходит в Мещеру весна. Все тогда дивно преображается в угрюмой лесной стороне. Кое-где еще лежит снег, но орешник уже зацвел, украсился коричневой бахромою сережек. Нежно-золотистым пушком оделись топки ивы. Волчье лыко осторожно разворачивает розово-фиолетовые колокольчики.

Березовый лес еще не зеленый, но уже весь в намеках на зелень, которая вот-вот прорвется сквозь клейкие почки.

Вырвалась из своей куколки первая лимонница-бабочка. Рощи наполнились шумом ручьев и свадебным пе-

нием птиц. И вот уже все кругом блещет ярчайшими красками.

Сыплет черемуха снегом,
Зелень в цвету и росе.
В поле, склоняясь к побегам,
Ходят грачи в полосе.

Никнут шелковые травы,
Пахнет смолистой сосной.
Ой вы, луга и дубравы, —
Я одурманен весной.

Эти стихи написаны пятьдесят лет назад в мещерском селе Спас-Клепиках. Их сочинил голубоглазый подросток Сергей Есенин. В то время жил он в Спас-Клепиках и учился в местной церковно-учительской школе.

Каменное двухэтажное здание школы стояло на самом краю села. Рядом, за речкой, начинался сосновый бор. Над водою черемуха осыпала снежные лепестки...

Теперь Спас-Клепики считаются городом. Кроме ватной фабрики, которая существовала еще в то время, когда жил здесь Есенин, в Спас-Клепиках имеется теперь шесть промысловых артелей, открылся строительный техникум и областная профессионально-техническая школа портных. Есть Дом культуры, районная библиотека, кино. Население Спас-Клепиков с тех пор увеличилось в десять раз.

Но, в общем, благоустройством городок похвалиться еще не может. Улицы здесь не мощены, в маленьком сквере рядом с ноготками и астрами буйно произрастает чертополох. Торговлишка в городе идет вяло, в магазинах случаются перебои с товарами, колхозный рынок маломощен и слаб.

Вокруг Спас-Клепиков шумят вековые леса, лежат торфяные болота. В районе множество больших и малых озер.

С озерами связано самое название — Клепики.

Правда, мне рассказывали, что будто в старинное время здесь проходил знаменитый касимовский тракт. На тракте часто случались разбои. Грабители нападали на проезжих купцов. Особенным душегубством отличался разбойник Клепиков. Он подстерегал проезжих у переправы через Пру и не давал прохода ни конным, ни пешим. Однако под старость разбойник решил покаяться и

вымолить у бога прощение. На берегу Пры он построил церковь во имя Спаса. Церковь называли Спас-Клепикова. Вокруг нее и образовалось селение Спас-Клепики.

Но эта легенда неправдоподобна. В толковом словаре Владимира Даля приводится следующее определение: Клепики — чеботарный или рыбочистный ножик. Спас в Клепиках — Спас на рыбочистье.

По всей вероятности, на здешних озерах, а может быть, и на реке Пре, возле большой дороги, существовала некогда рыболовная база Спасского монастыря. Здесь рыбу потрошили, коптили, вялили и обозами отправляли в Москву. Словом, было «рыбочистье» — клепики. Отсюда и закрепилось название села.

Названия сел и деревень всегда разжигали мое любопытство. За ними часто встают интереснейшие истории. Вот, например, под Касимовом есть село Сынтул. Что значит Сынтул? Вероятно, это какое-то татарское слово, думал я. Но местный фельдшер, дотошливый старичок, с которым мы разговорились, объяснил это так.

При царе Алексее Михайловиче в Мещеру из Тулы пришли купцы Баташевы. Царь разрешил им строить здесь железоделательные заводы для переработки руды. Свой первый заводик они называли — Сын Тулы. Видно, уже потом два эти слова слились в одно и получилось название — Сынтул. У Баташовых в Касимовской округе было еще несколько заводов, в том числе Гусь-Железный, но они скоро пришли в упадок, потому что руда здесь оказалась очень бедной...

Впрочем, я не уверен, что объяснения старого фельдшера соответствуют истине. Ведь речка, на которой стоит село Сынтул, называется так же... Кроме того, здесь есть река Сантур. По звукам это весьма близко Сынтулу, и, скорее всего, пазвания Сантур и Сынтул дошли до нас из глубины истории мещерского племени, а то, что рассказ фельдшера, является просто досужей выдумкой. О жизни заводчиков Баташевых существует немало разных историй. Когда-то фамилия их гремела на всю округу. Самодурство и своеволие Баташовых не знало предела. Огромный белокаменный дом их, окруженный крепостными стенами, стоял на границе двух губерний, Владимирской и Рязанской. У дома было два парадных подъезда. Один выходил на Рязанскую сторону, другой — на Владимирскую. Но Баташovy ставили себя превыше губер-

ских властей и предпочитали не иметь с ними дела. Когда в имение приезжали чиновники из Рязани, хозяева переходили во владимирское крыло, а прислуга докладывала приезжим:

— Господа отбыли во Владимирскую губернию, и неизвестно, когда вернутся.

Потоптавшись у входа, чиновники отбывали ни с чем. То же самое повторялось, когда приезжали визитеры из Владимира. Им говорили:

— Господа отправились в Рязанскую губернию...

Вокруг дома был разбит великолепный парк. Часть его сохранилась до настоящего времени.

Говорят, что Баташевы были причастны к разбоям на муромском торговом пути, говорят также, что подобно уральским магнатам Демидовым занимались они чеканкой фальшивой монеты. Под господским домом были у них подземелья, служившие тюрьмой. Творились там жестокие пытки и казни... У Баташовых была собственная охрана, состоящая из черкесов, а может быть из разбойников, одетых черкесами. Крутой, жестокий нрав этих владык Мещерского края был известен на всю округу. Именем Баташевых крестьяне пугали детей.

Как я уже упоминал, Баташевские заводы со временем пришли в полный упадок. Наследники промотали богатство. До революции дожила последняя представительница некогда знаменитого рода — Зинаида Баташова. За мрачную жестокость и капризное самодурство ее называли Салтычихой и Бабой-Ягой. Когда до этой старухи дошли известия о революции, она приказала высечь прислугу.

В 1917 году по приговору местного населения Баташиха была расстреляна...

Что касается легенд, связанных с названием разных местностей, то однажды писатель Рувим Фраерман рассказал мне любопытную историю возникновения села Полково. Жители Полково отличаются высоким ростом, правильным телосложением, красотой. И будто бы село это возникло при следующих обстоятельствах. Капризный император России Павел Первый разгневался за что-то на один из гвардейских полков и скомандовал ему:

— В Сибирь, шагом марш!

Полк зашагал в Сибирь. Но потом император смяг-

чился и послал вдогонку своего фельдгегеря, повелев полку в Сибирь не идти, а остановиться на вечное поселение там, где его застанет это приказание. Фельдгегерь догнал полк на лесной дороге. Здесь-то и возникло село Полково. И нынешние жители этого села, стало быть, являются прямыми потомками павловских гвардейцев...

Но вернемся в Спас-Клееники.

Дважды в год здесь наступает необычное оживление. В доме приезжих трудно бывает достать свободную койку, так много съезжается сюда разного люда из Москвы, из Рязани, из-под Владимира. Это оживление связано с началом весенней и осенней охоты. Уж очень любезен сердцу охотника Спас-Клепиковский район.

Люди молодые и менее опытные разбредаются по озерам и болотным зарослям вокруг самого городка. По утренней и вечерней заре оттуда доносятся выстрелы. Настоящие же охотники едут обычно километров за двадцать в Гришино, на лесной кордон к старику Алексею Желтову. Он живет в лесу уже двадцать пять лет. Желтова знает не только вся мещерская сторона, но вся Россия. А кто не знает, пусть прочтет о нем великолепный рассказ писателя Паустовского. Этот рассказ называется «Кордон 273».

Кроме охотников и рыболовов в Мещеру наезжают художники и литераторы для изучения жизни. Впрочем, «изучение» идет по-разному.

Как-то в осеннюю пору с секретарем райкома партии Е. А. Шабалиной выехали мы из Солотчи в один из приокских колхозов. С утра сеялся мелкий затяжной дождь. В пойме было пустынно и голо. Среди редких кустов чернотала кое-где возвышались седые стога. На клеверище паслись коровы. На берегу небольшого озерца я заметил одного рыбака. Озерцо лежало недалеко от дороги. Я попросил остановить машину и пошел узнать, удачно ли ловится.

Рыбачил мужчина лет пятидесяти пяти, в слинявшем пегом плаще и старой шапке с кожаным верхом.

— Клюет?

Рыбак мельком взглянул на меня, хитровато прищурился и напевно заговорил:

— Рыба, дорогой приезжий товарищ, тут есть. Только у нее свой интерес, у меня же обратно — свой. Так вот друг дружку и выжидаем. Главное — кто из нас больше

караактер окажет. А рыбы тут, прямо скажем, певпроворот. Места паши, дорогой товарищ, богатеющие. Рязань-матушка. А ить в Рязани и грибы с глазами — их едят, а они глядят. Я вам, если желаете, все могу объяснить. К примеру, возьмем лinya...

Но тут подошла Шабалина и вмешалась:

— Так и есть, — сказала она, — картошка в колхозе не выкопана, а бригадир за рыбкой ударился. Нечего сказать, хороши порядочки.

Рыбака сразу будто подменили. Он заговорил совсем другим языком:

— Насчет картошки, Елена Андреевна, могу сообщить, что у нас невыкопанной всего гектара четыре осталось. Сегодня-завтра безусловно управимся.

Потом рыбак усмехнулся, покачал головой и добавил:

— Ошибся я: думал, что товарищ-то из писателей.

Тут уж я удивился и любопытствовал, что это значит.

— Да здесь у нас писатель один квартирует. Колхозной жизнью он интересуется мало. Заговоришь — скучать начинает. А вот разные слова, которые почуднее, с большой охотой слушает. За эти слова он и папирочкой угостит, а под легкую руку даже на четвертиночку выдаст.

— Разговорился ты что-то, Никифоров, — сурово оборвала рыболова Шабалина. — Передай председателю, что я завтра заеду в колхоз, проверю, как с картошкой управились.

Уже в машине я спросил, что это за писатель, который интересуется только «чудными» словами?

— Болтовня, — досадливо отвечала Шабалина.

Так я и не узнал — то ли секретарю райкома не хотелось называть фамилию литератора, то ли рыбак просто придумал эту историю.

7

Природные условия Мещерского края не везде одинаковы. Возле Солотчи Зеленая ветка выходит из леса на луговые просторы Приокской поймы. Это благодатнейшие места. Тот, кто бывал здесь в летнюю пору, навсегда сохранит в душе своей очарование цветущей равнины. Такого обилия трав, такого пестрого разноцветья и целебного, напоенного медовым запахом воздуха в других местах, пожалуй, не встретишь.

Пышные розовые головки клевера, желтая люцерна, еришки тимофесвки, бледно-серые зонтики тмина, луговая овсяница, мятник растут здесь так густо, словно их специально посеяли. В траве хоронится полевая клубника столь сильная, что когда поспеет — бери ведерко, сядишь в траву и, прямо не сходя с места, до краев наполнишь его сладкой душистой ягодой.

В давние времена край этот был монастырским. Недалеко от Солотчи есть село Пустынь. Его называют еще Аграпустынью, и многие думают, что эта приставка «агра», вероятно, связана со словом агрономия. На самом же деле полное название села — Аграфенина Пустынь. История его такова.

В самом начале XVI века Рязанью правила княгиня Рязанская Аграфена. Но великий князь Московский Иван Васильевич Третий решил, что это не женское дело, и сместил Аграфену. Удалившись от дел, княгиня отбыла в свое загородное имение, говоря по-нынешнему — на дачу, расположенную в пойме Оки. Здесь, на берегу небольшого Студеного озера, в 1507 году она основала женский монастырь, получивший название Аграфениной Пустыни.

Монастыри были крупнейшими землевладельцами в этой округе, а земли в пойме богатейшие.

В весенние паводки Ока приносит сюда миллионы тонн плодородного ила, щедро обогащает почву азотом, калием, фосфором, кальцием. Насытившись илом, пойма дает обильные урожаи трав. Бывают годы, когда трава здесь подымается в человеческий рост и в лугах накашивают по шестьсот пудов великолепного сена с гектара.

С давних пор Приокская пойма славилась молочным животноводством. Именно здесь, в колхозах Спасского, Шиловского, Ижевского районов, зародилась и выросла слава знаменитых рязанских доярок — Прасковьи Ковровой, Анны Ивкиной, Александры Николаевой, Екатерины Ковровой и многих других.

Экономические перспективы поймы поистине безграничны. Здесь можно содержать миллионы голов скота, производить много молока и мяса при самой низкой их себестоимости. Но у луговой стороны есть свой враг — болота. Они наступают на пойму, и уже многие луга здесь стали «мокрыми», заболотились.

Повышение продуктивности пойменных земель связа-

но с проблемой осушения Мещеры. Свыше четырехсот тысяч гектаров бедной, неудобной земли, пропадающей втуне, могут быть превращены в плодороднейшие поля и луга.

Несколько лет назад мне случилось побывать в селе Заборье, возле Солотчи, в колхозе имени академика Павлова. Рядом с Заборьем лежало Кальское болото, подернутое ржавчиной и сизовой осокой. Оно доставляло колхозу одни неприятности. И вот местный агроном Всеволод Сергеевич Виноградов стал уговаривать колхозников взяться за осушение этого гиблого места. Многие считали его затею напрасной:

— Разве что-нибудь путное может расти на болоте? — говорили они. — Только затратим средства и силы, а выгоды не получим.

Но Виноградов доказывал, что выгода будет.

В то лето, когда я приехал в Заборье, на Кальском болоте уже работали кусторезы и канавокопатели, присланные лугомелиоративной станцией, и какая-то часть осушенной площади уже готовилась под огороды. Виноградов, довольный и возбужденный первым успехом, говорил мне: «С болотом покончим и примемся за осушение Мертешовского луга. Есть тут у нас такой мокрый лужок. Косить там приходится по колено в воде. А что накашиваем? Десятка два копенек. Срамота...»

Прошло немного времени. И теперь на распаханном Кальском болоте собирают по триста центнеров картошки с гектара и по шестьсот центнеров капусты. А Мертешовский лужок стал давать богатые урожаи трав.

Средства, затраченные на мелиорацию, окупаются быстро. Так, например, колхоз имени академика Павлова, затратив на осушение болота площадью в две тысячи гектаров около полмиллиона рублей, за два года получил с этого участка продукции на три миллиона семьсот тысяч рублей. За вычетом производственных затрат на возделывание растений чистый выигрыш колхоза — миллион восемьсот тысяч рублей! *

Мелиоративные работы проводятся и в других колхозах. Возле Солотчи существует Мещерская зональная опытно-мелиоративная станция, ставящая опыты осушения здешних болот, а в Рязани базируется Мещерская

* Эти данные приводятся в старом денежном исчислении—П. В

экспедиция Росгипроводхоза. Здесь имеются лугомелiorативные станции и отряды, располагающие экскаваторами, кусторезами, капавокопателями и другой техникой. За последние годы в Рязанской области было осушено и облаторожено около пятидесяти тысяч гектаров заболоченной земли. Но это — лишь капля в море!

Общая площадь Мещерских болот составляет более миллиона гектаров. По существу это еще нетронутая целина, таящая в недрах своих сказочные богатства. Взять и разумно использовать эти богатства — задача ближайшего будущего.

К проблеме осушения Мещерских болот и превращения их в плодородные земли иногда относятся очень скептически.

В Солотчи долго жил писатель К. Г. Паустовский. Страстный рыболов, он облазил там все озера и реки, приходил сотни километров по лесным мещерским тропинкам. В своем поэтичном очерке «Мещерская сторона» Паустовский писал:

«Еще при Александре Втором генерал Жилинский решил осушить мещерские болота и создать под Москвой большие земли для заселения. В Мещеру была отправлена экспедиция. Она работала двадцать лет и осушила только полторы тысячи гектаров земли, но на этой земле никто не захотел селиться: она оказалась очень скудной.

Жилинский провел в Мещере множество каналов.

Сейчас каналы эти засохли и заросли болотными травами. В них гнездятся утки, живут ленивые лини и верткие выюны...

Жилинский пытался осушить болота Мещеры. Из этой затеи ничего не вышло. Почва Мещеры — это торф, подзол и пески. На песках хорошо родится только картошка. Богатство Мещеры не в земле...»

Паустовский совершенно искренно полагал, что генерал Жилинский ради человеческого блага хотел осушить Мещеру, но из этого гуманного намерения ничего не вышло.

Я тоже заинтересовался деятельностью Жилинского и, покопавшись в архивах, выяснил следующие обстоятельства.

В середине прошлого века половина большого приокского села Киструс принадлежала помещикам Жилинским. Они же владели двумя с половиною тысячами деся-

тин мещерского леса. После реформы 1861 года многие дворяне-помещики устремились из своих усадеб в Петербург и Москву. Города начали бурно строиться. Потребовалось огромное количество леса. Сын старика Жилинского сообразил, что на этом можно хорошо заработать, если сплавить свой лес в Москву. Но подходящих сплавных путей из его лесных дач к Оке не имелось. Тогда Жилинский предложил императорскому двору проект проведения сплавных каналов. Дело в том, что по соседству с дачами Жилинского были так называемые казенные, то есть императорские леса: «Двор» находился тогда в затруднительном финансовом положении и перспектива поправить дела за счет выгодного сплава древесины в Москву его чрезвычайно устраивала. Проект Жилинского был одобрен. Может быть, для оправдания коммерческой стороны он и был приукрашен ссылкой на гуманитарные цели: «Создать под Москвой удобные земли для заселения их». Но так или иначе основное назначение каналов, которые проводил здесь Жилинский, сводилось к тому, чтобы сплавливать по ним лес. Но они вовсе не способствовали осушению Мещерского края.

Современные специалисты-мелиораторы считают, что в комплексе больших работ по освоению земель Мещерской низменности главной задачей является регулирование реки Пра.

Пра берет свое начало недалеко от Спас-Клепиков. Тут расположена группа озер: Святое, Дубовое, Белое. Эти озера сообщаются друг с другом. Самое северное из них Святое озеро принимает в себя воду Поли и Бужи, а из самого южного вытекает Пра, которая течет в Оку, пересекая центральную Мещеру с северо-запада на юго-восток. Общая длина Пры 160 километров, а площадь ее бассейна 5900 квадратных километров.

Река эта течет медленно, будто нехотя. Вся она заболотилась, заросла кугой и кувшинками. Берега ее низки. Илистое дно забито корягами, старыми топляками, затонувшими бревнами. Пра уже не способна принимать в себя мещерскую влагу. Талая снеговая вода задерживается тут, затопляя ложбины и способствуя образованию новых болот.

Недалеко от Спас-Клепиков, на границе Рязанской и Московской областей над болотами круто поднимается небольшой остров, заросший столетними соснами. Раньше

здесь был монастырь. Теперь на острове расположены пионерский лагерь и дом отдыха работников газеты «Известия». В близком соседстве отсюда петляет заросшая темно-зеленым кугушником Пра. В охотничий сезон москвичи приезжают сюда стрелять уток.

Часто бывая здесь, я наблюдал, как из года в год все больше и больше заболачиваются и зарастают тем же кугушником окрестные пастбища и покосы.

Очистка и углубление русла При могло бы сделать реку проточной в настоящем смысле этого слова, и осушение Мещеры сразу бы двинулось. Но для проведения работ по активизации При потребуются очень большие деньги. Выделить их государство не может. Основные средства сейчас вкладываются в освоение целинных земель на востоке. Там затраты быстрее окупятся. Но отказываться от освоения Мещеры тоже нельзя. Ведь многое могут и сейчас уже сделать своими силами колхозы и совхозы здешнего края. И когда я думаю об этом, в памяти моей опять возникает колхоз «Большевик», основанный на болотах, рядом с городом Гусь-Хрустальным.

8

Не одно поколение мещерских крестьян мучительно пыталось тяжким трудом оплодотворить жестокое лоно природы. Но тщетны были усилия обездоленных земледельцев. Почти неизменной оставалась глухая, бедная жизнь деревень.

Когда из Нармучи на пустошь возле Нечаевской переселились несколько крестьянских семей, видевших в коллективе единственный выход из вековой нищеты, огонек их надежды был еще слаб и неясен. Но коммунары тех лет не побоялись навсегда порвать с прошлым. Их не смутили ни мрачные пророчества колдунов, ни ядовитые ухмылки скептиков, ни даже упреки своей деревенской родни.

Прошло тридцать лет. Колхоз «Большевик» объединяет теперь более двухсот пятидесяти семей, тысячу трудоспособных колхозников. Земельные угодия его — пашни, луга и пастбища — занимают две тысячи гектаров.

Иной степняк иронически улыбнется, услышав эту цифру, и скажет:

— Да у нас за одной бригадой закреплено куда больше!

Но ведь речь-то идет о Мещере, о той стороне, где крохотные лоскутки полей окружены океаном болот и лесов, где сотни гектаров пашни считается уже бог знает каким массивом, где каждую пядь земли приходится отвоевывать с боем...

Когда-то в этих краях сеяли только рожь, овес и картошку. Собственно, картошка-то и была единственным средством пропитания мещерской деревни. Картошку ели вареную, и печеную, мятую и толченую. И если кому-то удавалось собрать картошки по пятьсот пудов с десятины, это считалось куда уж как хорошо.

В колхозе «Большевик» теперь из года в год собирают урожаи картошки по тысяче пудов с гектара. А кроме картошки, ржи и овса здесь стали сеять кукурузу, сахарную свеклу, кормовые бобы, люпин, то-есть то, о чем прежняя мещерская деревня знала лишь понаслышке.

У бывших лопатников, пришедших тридцать три года назад из Нармучи на Нечаевскую с единственными орудиями труда — топором и лопатой, теперь имеется более ста электрических моторов, десятка полтора тракторов, около трех десятков автомобилей, есть тягачи и автопогрузчики, собственный экскаватор и много другой сельскохозяйственной техники.

Животноводческие помещения обеспечены электрической вентиляцией, водопроводом, автоматическими поилками. Здесь давно уже применяется механическая дойка коров. Таким образом, ручной труд в артельном хозяйстве сведен почти к минимуму.

А как удивительно изменилась сама деревенская жизнь!

Однажды, приехав в Москву, Аким Горшков рассказывал мне, что недавно на Нечаевской побывала комиссия из Министерства культуры. Она интересовалась жизнью колхозников и составила подробную докладную записку. Я читал эту записку.

Многое из того, о чем писали члены министерской комиссии, я уже знал, видел своими глазами, но авторы записки обозревали колхоз «Большевик» впервые и все, что подметили, воспринимали как первооткрытие.

«Центральная усадьба колхоза представляет собой поселок городского типа, с улицами и скверами, спланированными по всем требованиям советской архитекту-

ры, — говорилось в записке. — Нынешние дома колхозников не имеют ничего общего с прежними деревенскими избами. Это — трех-пятикомнатные коттеджи, в которых имеется водопровод, водяное отопление. Кроме радио, в некоторых квартирах имеются телевизоры, телефоны, электрические приборы.

О внешнем и внутреннем виде колхозного дома можно судить, например, по тому, как выглядит квартира телефонистки П. И. Щелкиной...»

— Это, знаете ли, они взяли квартиру Панны Ильиничны, — сказал Горшков.

— Какой Панны Ильиничны?

— Да Пани, дочки нашего пастуха. Помните, домик ее недалеко от клуба.

Я вспомнил колхозную телефонистку Панну Ильиничну, и ее домик, и даже тополя перед окнами.

Вот что говорилось в записке о внутреннем виде этого домика:

«Стены прихожей оклеены обоями приятного цвета. Из прихожей дверь ведет в столовую, где уже другой колер обоев, спальня отделана также в другом тоне. На кухне имеется плита, установка для нагревания воды в отопительных батареях. Русская печка отсутствует. Пол в квартире застлан цветным линолеумом».

— Но почему они взяли квартиру Панны Ильиничны, разве у Ивана Яковлевича Смирнова или у Лизы Шуваловой хуже?

— Нет, вовсе не хуже, но они взяли среднюю...

«Колхоз располагает широкой сетью культурно-бытовых учреждений, — читал я дальше. — На его территории имеются: клуб, при нем библиотека с книжным фондом в пять тысяч томов.

При клубе есть стационарная киноустановка и две передвижки, организовано пять кружков художественной самодеятельности. Работает лекторская группа, созданная по инициативе колхозной интеллигенции».

Я вспомнил, как строили этот клуб. Это было в середине тридцатых годов. Колхоз тогда еще только-только начинал вставать на ноги, и Аким Горшкову не раз приходилось выслушивать упреки товарищей:

— Вот ты все хлопчешь — клуб, клуб! А едим картошку и ту без масла. Это правильно?

— Картошка без масла — неправильно. Надо, чтобы и

с маслом, и с мясом. И все это будет у нас. Но давайте подумаем вот о чем: клуб поможет нам сохранить молодежь в колхозе, даст ей возможность культурно развиваться, а за молодежью — будущее.

И все вышло так, как он думал. Ведь именно эта колхозная молодежь составляет теперь основное ядро сельской интеллигенции. А этой интеллигенции немало: двадцать учителей, четыре зоотехника, три агронома, главный инженер, библиотекарь, да и некоторые рядовые колхозники по своему духовному развитию, по широте своих интересов поднялись до уровня интеллигенции.

Не случайно же внимание членов комиссии привлекло то, что многие колхозники имеют личные библиотеки. В записке было отмечено, что, например, у бригадира Кондратия Ивановича в личной библиотеке имеется более 300 книг, у тракториста Алексева — более 100, а домашняя библиотека председателя колхоза состоит из 300 томов.

— Да и как можно представить себе дом Иванова без книг! — комментировал эти заметки Горшков. — Ведь в большой семье Кондратия росли и учились дети. Старшие дочери его — Надежда и Анна — имеют теперь инженерное образование. Сын Александр тоже инженер-энергетик. Дочь Тамара — ветеринарный врач. Валентина — техник, Людмила и Фаина учатся в институте, а самый младший, Володька, недавно окончил среднюю школу. Видите, какая семья?

В записке отмечалось и то обстоятельство, что колхоз постоянно заботится о детишках. Здесь построен дошкольный комбинат, для которого приобрели специальную детскую мебель, пианино, купили игрушек. Расходы на питание детей в яслях и детском садике колхоз полностью взял на себя.

Не обойдены вниманием и престарелые члены артели. Многие из них получают пенсии, назначаемые правлением колхоза.

— А ведь на это идут не малые деньги? — сказал я Горшкову.

— Ну и что ж, средства нам теперь позволяют, — ответил он.

И тут я вспомнил о том, что, пустившись в неизведанный путь к новой жизни, коммунары распознали «капиталом» в сорок рублей...

Как далеко это время!

Осенью 1958 года Акиму Васильевичу исполнилось шестьдесят лет. По этому случаю у него собрались друзья-товарищи. На правах земляка и старого знакомого я тоже получил приглашение, по срочные дела помешали воспользоваться им, и только зимой я собрался поехать в колхоз.

Поезд из Москвы в Нечаевскую прибыл вечером. От станции до центральной усадьбы «Большевик» тянулась аллея заснеженных тополей. Снег, пушистый, как вата, и будто совсем невесомый, лежал на ветвях деревьев, на ограде, опоясавшей сквер, на перилах крылечек колхозных домов. Окна светились желтым теплом.

Горшкова я застал дома, но он был не совсем здоров.

— Вот, знаете ли, где-то грипп подхватил. И жена заболела. Одна только бабка держится, — сказал он.

Бабка, мать Акима, сидела у телевизора. Здороваясь, я спросил у нее, как, мол, живется.

— Зажилась, — махнула она рукой. — Девяносто семь годков прожила. Пора бы и умирать, да вот Аким телевизор купил, так еще поживу маленько, погляжу, чего тут показывают.

— Ладно, смотри, — сказал Аким. — А мы чайку попьем, побеседуем.

Он провел меня в кабинет, а сам пошел на кухню позаботиться насчет чая.

Вдоль стен маленькой комнатки, считавшейся в доме кабинетом хозяина, тянулись книжные полки. Тут были сочинения Ленина, стенографические отчеты сессий Верховного Совета, различные справочники. Рядками стояли Пушкин и Сервантес, Джек Лондон и Глеб Успенский, Горький и Тимирязев.

На письменном столе лежали большие листы разграфленной бумаги, заполненные колонками цифр.

Аким принес чайник, стаканы и сахарницу. Сдвинув бумаги в сторону, освободил на столе уголок для чаепития. Я спросил у него, что это за таблицы.

— Наши контрольные цифры на семилетку, — пояснил он и стал рассказывать о делах и планах колхоза.

Говорил он, как всегда, увлеченно и сыпал цифрами, даже не заглядывая в бумажные простыни. Видимо, все

эти цифры были не раз обдуманы, обговорены и крепко держались в памяти.

Смачно прихлебывая черный, как деготь, чай, Аким рассказывал о том, как увеличивается в колхозе выход мяса и молока и насколько дешевле будет производство этих продуктов.

— В печати, — говорил он, — колхозное животноводческие фермы для пышности слога иногда называют фабрикой мяса и молока. Но что же такое фабрика? Это производство, в котором машины, перерабатывая сырье, выпускают какую-то там продукцию. Скажем, так: из хлопка — пряжу и ткань, из металла — машины. Какую же продукцию выдает свиноферма? Мясо. А из какого сырья? Из кормов. Машиной же, перерабатывающей сырье, тут выступает сама свинья. Такова, понимаете ли общая схематическая картина нашего производства. Решающим фактором в нем выступают корма. И вот мы перестраиваем свое хозяйство в таком направлении, чтобы обеспечить фабрику молока и мяса продуктивнейшими кормами. Заботимся, конечно, и о том, чтобы наши «машины» обладали определенными породными качествами, а кроме того, вводим комплексную механизацию. То же самое происходит и в молочном хозяйстве: электродойка, автоматическая подача кормов, расчеты кормовых единиц, белка, витаминов! Вот к чему мы стремимся, какие пути выбираем...

Телевизионная передача давно окончилась, и бабка, приоткрыв дверь в комнату сына, напомнила: «Хватит сидеть, люди добрые об эту пору давно отдыхают». Она даже пожаловалась на сына: вот, мол, каждый вечер засиживается допоздна. То с книжкой, то писать примется.

— Уж не сочиняешь ли что-нибудь? — полюбопытствовал я.

— Какой из меня сочинитель! Просто писем много идет и как депутату, и как председателю колхоза. В иной день больше десятка получаю, а ведь на каждое письмо надо ответить. Кстати сказать, кто-то из великих писателей в свое время заметил, что мы ленивы и нелюбопытны. Кажется, Пушкин, я в литературе-то не силен, — лукаво блеснув на меня глазами, проговорил Горшков.

И мне невольно пришли на память строки из Гоголя, разговор старого Тараса Бульбы со своими сыновьями, приехавшими из бурсы. «Как, бишь, того звали, что ла-

тинские вирши писал? Я грамоте разумею не сильно, а потому и не знаю. Гораций, что ли?» — сказал Тарас Бульба. — «Вишь, какой батько! — подумал про себя старший сын, Остап. — Все, старый собака, знает, а еще прикидывается...»

— Так вот, — продолжал Аким, — по моим наблюдениям, любопытствующих людей у нас становится все больше и больше. Это даже по письмам заметно. Пишут из разных мест разные люди, и каждого что-то интересует. И это не праздное любопытство, а стремление почерпнуть что-то новое и, конечно, полезное.

Выдвигая ящики письменного стола, он доставал оттуда пачки конвертов, газетных вырезок, фотографических снимков. Были тут письма агрономов, колхозников, учителей, солдат. Одно солдатское письмо я прочел.

«Уважаемый товарищ председатель! — писал автор этого письма. — Приближается срок окончания моей службы в Советской Армии. Я человек холостой, одинокий. Размышляю, куда бы поехать после демобилизации. Из литературы о сельскохозяйственной выставке узнал про славный колхоз «Большевик» и теперь имею мечту поработать у вас. Гражданская специальность моя — водитель автомашины. Знаком с электромоторами. По службе разысканий нет».

— Примете? — спросил я.

— Что же, — ответил Горшков. — Хорошие люди нужны в артели, а я списался с командованием части и выяснил, что это человек стоящий.

Рассказал Аким и о том, что однажды он получил письмо с Дона. Писала молодая незнакомая девушка. Она недавно окончила сельскохозяйственный институт и была назначена агрономом в один из придонских колхозов. Девушка жаловалась на свою незадачливую судьбу. «В колхозе, куда я приехала, давно уже работает пожилой агроном, человек старой выучки, — писала она. — Он тут всем командует, его слушаются, а мне, молодому специалисту, не дают развернуться». Она спрашивала, как быть.

А в колхозе «Большевик» как раз в то время приехала тоже молодая девушка Светлана Смирнова, только что окончившая Тимирязевскую сельскохозяйственную академию. Аким Васильевич показал ей это письмо и попросил ответить. Светлана охотно согласилась.

«Не унывайте, — писала она, — и не думайте, что Вы

знаете больше, чем Ваши товарищи. Работайте и не беспокойтесь, что труд Ваш не будет замечен. Люди уважают только тех, кто работает...» Ознакомившись с ответом, Горшков отослал его своей незнакомой корреспондентке.

Я спросил у Акима, почему он не сам ответил на это письмо.

— Мне, знаете ли, захотелось, чтобы о своем назначении и месте в жизни задумались не только та девушка из донского колхоза, но и наша Светлана, — сказал Горшков.

Рассказывал Аким Васильевич и о своих депутатских делах: хлопоты насчет строительства новой дороги в Мещере, насчет оборудования рентгеновского кабинета в какой-то участковой больнице. Были у него и другие заботы...

— У нас, знаете ли, за последние годы много лосей в лесу развелось. Охота на них, конечно, запрещена, но, бывает, браконьеры нарушают порядок. Вот недавно был такой случай. Убирали овес возле Вековской стражи. Там у нас небольшой участочек примыкает к самому лесу. Вдруг, знаете ли, в лесу раздается выстрел, а влед за тем на опушку из чащи выбежал молоденький лось. Огляделся и прямо — к людям. Шагов двадцать не добежал, грянулся оземь. Подошли к нему, видят — кровь. Попытался он встать, но сил уже не хватило. Голову вытянул, смотрит на людей такими, понимаете ли, тоскующими глазами и весь дрожит каждой жилочкой. Одна женщина даже заплакала от жалости.

Стреножили лося, взвалили на телегу и увезли. А через некоторое время появляется из лесу человек. Наш же колхозник, баламутный парень, шофером на трехтонке работает. Остановили, конечно, спрашивают у него:

— Ты стрелял?

— Ничего подобного.

— Ты — больше некому.

— А у меня и ружья с собой нету.

Тут одна женщина и говорит:

— Бесстыжьи глаза, я же тебя утром видела, ты с ружьем шел.

Люди решили:

— К месту происшествия надо вести его.

А он свое:

— Никуда идти не желаю.

Однако народ приказал, и тут уж ничего не подела-

ешь — надо идти. По следам вернулись к тому месту, где он стрелял в лося, и неподалеку нашли его «ижевку». Он ее, понимаете ли, в кустах спрятал. У него спрашивают:

— Сознаешься теперь?

— Сознаюсь, что погорячился...

Поступок этого парня мы обсуждали на общем собрании. Некоторые предлагали даже исключить его из колхоза.

— Почему же так строго? — спросил я.

— А потому, — ответил Горшков, — что тут дело не столько в лосе, сколько в том, что человек пытался обмануть коллектив. А коллектив обмана не терпит. Вот лось — животное, в диком состоянии находится, а ведь и оно от злого человека к народу шарахнулось защиты искать. Конечно, инстинкт самосохранения, но все же, понимаете ли, очень наглядно. На собрании этому парню все припомнили. В конце концов строгий выговор с последним предупреждением записали. За браконьерство, конечно, взыскали штраф.

— А лося прирезали?

— Пришлось прирезать. А жалко было, такое красивое животное. Молодой еще бык, с белыми чулочками на ногах.

— Вот так, — заключил он, — многие люди еще не осознают безобразия своих поступков.

И, помолчав немного, добавил:

— Дом, знаете ли, переделать легко, а вот душу человеческую — куда как труднее.

Время за разговорами шло незаметно. Лишь во втором часу ночи мы разошлись на покой.

...Утро выдалось чистое, ясное. Падал редкий снежок, застилая широкую улицу. Горшков предложил мне пройтись на ферму, поглядеть хозяйство артели.

Каждый раз, приезжая сюда, я видел какую-нибудь новостройку. Вот и теперь, недалеко от колхозного клуба, в глаза сразу же бросилось новое здание с застекленными верандочками, обнесенное невысокой деревянной оградой.

— Это у нас дошкольный комбинат — ясли и детский сад, — пояснил Горшков.

В другом месте плотники ставили еще один новый дом. Колхозные электрики тянули куда-то проволоку,

За поселком ровными рядками стояли длинные корпуса коровника, птичника, свинофермы. Там шла какая-то строительная работа.

— Аким Васильевич, когда же вы кончите строиться?

— Никогда, — весело ответил Горшков и засмеялся. — В пятьдесят шестом году мы начали строить свинарник на тысячу голов. Думали: воздвигнем такую махину и успокоимся. А сейчас, видите ли, он, оказывается, уже маловат. Опять надо строить. А помните, за речкой Гусь есть деревушки — Вековка, Егерево? В прошлом году и они объединились с нашим колхозом. Теперь мы задумали водопровод, электричество. Людям будет удобнее. Значит, опять надо строиться. Такова уж, видно, судьба нашего поколения: строители!

Мы шли по улице. Остановившись возле одного из домов, Аким Васильевич сказал:

— Здесь у нас новое общежитие для одиноких девчат. Приезжают к нам, знаете ли, из разных районов парни и девушки. Мы приглядываемся: если покажут себя на работе старательными — принимаем в колхоз и обеспечиваем общежитием, чтобы по чужим углам не ютились. Хотите взглянуть?

Зашли. В большой комнате общежития было неуютно и грязно. Железные кровати с соломенными тюфяками встланы кое-как, на скорую руку. Пол не метен.

За столом сидели две девушки в полушалках и ватниках. На столе немытые тарелки, остатки какой-то еды.

— Ах, — сокрушенно покачал головою Аким. — Что же это вы делаете?

— Обедали, товарищ Горшков.

— Вот так, даже не раздеваясь?

Девчата молчали.

— Может быть, у вас холодно?

— Тепло.

— Так что же вы?!

— Торопились, Аким Васильевич.

— Ай-ай-ай! И пол не метен.

— Веник не выписали со склада.

— А сами не догадались связать? В колхозе-то давно живете?

— С весны.

— А откуда приехали?

— Из разных мест. Шесть человек нас. Мы вот с ней —

меленковские, — кивнув головою в сторону подруги, ответила одна из девушек.

— Неужели и дома жили в такой же грязи? Нехорошо, пекультурно. Вы бы у порога половичок положили, чтоб ноги обтирать. Веничек связать — дело тоже, знаете ли, простое. И коечки убирать как следует надо.

Он был явно смущен и раздосадован тем, что желая показать один из очагов нового быта, привел меня в это неудобное помещение.

Потом мы побывали в веселом голубом домике доп-кольного комбината, где все сияло чистотой масляных красок, стекла и фаянса; обошли хозяйственные постройки, а он все нет-нет да и возвращался мыслью к общежитию девчат, и как бы оправдываясь, говорил:

— Не сразу, понимаете ли, но и там все устроится, обживутся.

И уж поздним вечером дома, сидя за чаем, вдруг что-то вспомнил, подошел к телефону и позвонил к своему заместителю:

— Иван Федосеевич, мы, знаете ли, были в новом общежитии у девушек — очень уж неприглядно там. Вы себе на заметку возьмите. Надо чем-то помочь...

Образование у Акима Васильевича не бог весть какое: самоучка. Но когда заходит разговор о хозяйственных делах и даже об агрономии, тут он может показать себя до-кой.

Я знаю, что его не раз уговаривали переехать из колхоза в районный центр и даже в область. Предлагали всякого рода руководящие должности, но он упрямо отказывался:

— Чудак-человек, ведь мы же тебя выдвигаем на повышение, — говорили ему.

— Нет, из колхоза я никуда не поеду, у меня к этому месту душа приросла.

Будучи человеком практической складки, он действительно чувствовал себя в колхозе смелее и увереннее. И хотя порой говорил: «Стар становлюсь, ведь уже на седьмой десяток пошел», — привычная работа не тяготила его, и у себя на Нечаевской он управлялся бойчей молодого. Личная жизнь и мечты его неразрывно связаны с жизнью колхоза. Однажды он сказал мне:

— Вы знаете нашу землю: какие-то лоскутки пашни, разбросанные в разных местах на огромном пространстве,

Как муравьи, мы ползаем по этим клочкам. Собираем по зернышку, по былинке. Раньше говорили — что бог дал. И в свое утешение добавляли: ничего не поделаешь, ведь это — Мещера... Ну так что ж, что Мещера? Мещерскую землю можно устроить так, что она будет в десять раз богаче степного Ополя. Только не следует останавливаться на том, что дал бог. Старик промахнулся, поступил нерасчетливо. Надо самим переделывать!

9

Весной я испытываю странное счастливое беспокойство. Об этом однажды сложились такие строки:

Опять из соснового бора
Пахнуло смолистым теплом,
Блеснули лесные озера
Загадочным черным стеклом.

Травой-муравой затинула
Все чарусы баба-яга.
И темные стрелы взметнула
Над сонным болотом куга.

Рванул ветерок па опушке
Зеленое пламя берез.
Под елкой прижались друг к дружке
Пронизки кукушкиных слез.

Теряясь в кустах чернотала,
От желтых кувшинок пестра,
Всю ночь до рассвета плутала
Туманом повитая Пра.

И только с зарей первородкой,
Как жизнь, принимая рассвет,
Покрылся росой холодной
Черемух серебряный цвет.

И снова из темного бора,
Смолистою песней маня,
Зеленая сказка — Мещера
К себе потянула меня.

Здесь дом вспоминается отчий
И юность навстречу идет.
И снова над старой Солотчей
Богато пылает восход...

Нынче опять я приехал в Солотчу и вот уже вторую неделю живу в новой двухэтажной гостинице. В ней еще пахнет краской. Но я открываю окно, и в комнату течет смолистый запах соснового бора. Лес начинается сразу же за окошком. Он похож на огромный торжественный зал, малахитовые своды которого поддерживают бронзовые колонны. И весь он пронизан солнечным светом и птичьим щебетом. Среди могучих сосен нежно светлеют только что распустившиеся дубки. Шелковистый ковер травы застилает пол этого праздничного зеленого зала.

Под соснами, рядом с гостиницей, белеют ряды палаток и легких павильончиков туристского лагеря.

Тихую лесную Солотчу, раскинувшуюся вдоль крутого берега Старицы, решено сделать базой летнего отдыха. Поэтому все здесь сейчас ремонтируется, подновляется, строится заново. Рядом с гостиницей, где я живу, через дорогу от нее, тянутся старые стены бывшего монастыря. Еще несколько лет назад в монастырских постройках размещались районные учреждения. Мне случалось бывать там в редакции местной газеты. Она находилась на хорах старинной церкви. Редактор газеты, пожилая тихая женщина в очках, сидела за столом, похожим на свечной ящик. За узким, как бойница, окном на замшелых плечах обители зеленели кустики бузины.

Теперь помещения монастыря переоборудуются под дом отдыха и пансионаты.

— Летом тут весело будет, — говорила мне кастелянша гостиницы, — одних туристов до пятисот человек ожидаем, да и в санатории сколько народу, да в доме отдыха, да еще и дачников понаедет порядочно. Ведь к нам сюда и из Рязани, и из Москвы на летний сезон приезжают.

Обедать я хожу в местную чайную. Летняя столовая еще не открылась. Ее достраивают в спешном порядке.

В чайной всегда много народа. Тут закусывают водители приезжающих автомашин, мелиораторы, туристы. Этих, последних, сразу отличишь по возрасту — большинство из них молодые — и по одежде — девушки и ребята в спортивных брюках и курточках или в клетчатых ковбойских рубашках.

Вчера за обедом познакомился с двумя ярославцами. Они — рабочие завода синтетического каучука. Сейчас в отпуске и решили совершить путешествие по Мещерскому краю.

— Неужели под Ярославлем нет подходящих маршрутов, — спросил я. — Ведь там некрасовские места.

Некрасовские места им уже знакомы. Теперь хочется посмотреть, какова она есть — Мещера.

Оказывается, в лагере подбирается группа туристов, желающих посетить Окский государственный заповедник. Молодые люди решили примкнуть к ней и спрашивают, случилось ли мне там бывать.

Нет, побывать в заповеднике мне еще не довелось. Но я знаю, что расположен он где-то за Куршей, при впадении Пры в Оку. Заповедник интересен тем, что там можно увидеть флору и фауну древней Мещеры. Техник Ликин рассказывал мне, что на территории заповедника опять появились совсем было исчезнувшие бобры, горностаи, куницы, рыси, ондатры. Развелось много лосей, встречаются пятнистые олени и даже старый хозяин Мещерского леса — бурый медведь. На небольших озерах гнездятся черные аисты, а в приокских лугах была обнаружена колония серых цапель, насчитывающая около трехсот гнезд.

— Это интересно! — говорят ярославцы. — Мы обязательно пойдем в заповедник.

По утрам меня будят птицы. Песня лесного хора врывается в форточку. Людей, которые никогда не слыхали утреннего пения птиц, я считаю несчастными...

В разное время суток птицы поют по-разному. Днем песня их деловито-спокойна. Мир огромен, они в нем живут, у них свои радости и заботы — поиски пищи, хлопоты возле гнезда, любовные свидания и ссоры. Вечером в песне звучит раздумье: день прожит, усталое солнце ложится в траву за Окой, но мы успели увидеть многое, стали опытнее и старше. Утреннее пение — будто открытие мира, удивление и восторг. Оно нестройно и торопливо, но именно в этой торопливости, в перебоях и переливах разноголосья вся новизна весеннего утра.

Вот какая-то крошечная птаха открыла глаза, увидела вокруг себя свежую маслянистую зелень и удивленно присвистнула: «Вижу ветки, вижу ветки!..» А другая уже взвилась над макушками сосен, зажмурилась от блеснувшего света и поспешила оповестить: «Солнце! Солнце встает!», «Роса серебрится, роса серебрится!» — отвечают ей снизу из кустов тальника. «А я еще жив!» — радостно сообщает воробей своей воробихе. «И я — ничего, и я ни-

чего», — отзывается серенькая подружка. «Вить?» — спрашивает зяблик, кружась около недовитого гнезда, притулившегося в развилке старой орешни. — «Вить, вить!» — торопливо отвечают ему.

Птицы щебечут, свистят, щелкают, перебивая друг друга, наполняя весь лес суетой и гомоном пробуждения.

Наскоро умывшись, я одеваюсь, выхожу из гостиницы, и узенькая тропинка ведет меня в лес.

— Человек, человек! — возбужденно кричат воробьи, предупреждая птичий народ о моем появлении, но их никто не слушает: в мире есть большее чудо — Солнце!

Свеж и целителен воздух весеннего леса. Бодрящий холодок течет из-под сосен, где сквозь полуистлевшие прошлогодние листья прорезались лезвия ландышей. Серебристое кружево паутины запуталось на ветвях бересклета. Можжевельный куст задумчиво стоит над рыжеватым холмиком муравейника.

Дорожка выводит меня на опушку, к лугам, и там на кромке леса и лугового раздолья, вдоль пригорка, ровными рядами стоят молодые, сеянные сосенки, похожие на солдат-новобранцев, стриженных под ежик, одетых в зеленые, еще не обмятые гимнастерки. Будто алое знамя, рдеет над ними заря, и, равняясь на это знамя, сосенки торжественно замерли, чтобы дать присягу в вечной верности зеленой Мещере.

За сосенками виднеется желтая насыпь узкоколейки. Из-за поворота слышится нарастающий шум. И вот уже мелькают перед глазами вагончики дачного поезда.

Проводив его и постояв еще некоторое время у насыпи, я медленно возвращаюсь в Солотчу. Сквозь зелень леса из-за голубой ограды санатория доносится музыка, и очень знакомый голос говорит:

— С добрым утром, товарищи. Начинаем урок гимнастики...

К северу от Солотчи есть маленькая деревенька Криуша. Там я опять встретился с лесным техником Ликиным. Но об этой встрече — немного позже, а пока — о самой Криуше.

Каждый раз, когда мне приходится проезжать через эти места, я вспоминаю строки из поэмы Есенина «Анна Снегина». Рассказ возницы о том, что —

«... Люди — все грешные души,
У многих глаза — что клыки.

С соседней деревни Криуши
Косились на нас мужики.
Житье у них было плохое —
Почти вся деревня вскачь
Пахала одной сохой
На пару заезженных кляч...»

Впервые я прочитал эту поэму в 1925 году. Она была напечатана в журнале «Красная новь». Читал я ее дома, вслух, и мой отец, Василий Яковлевич, как только услышал приведенные выше строки, взволнованно сказал:

— Погоди, ведь это он о нашей Криуше рассказывает. Слушай, мать, о нашей Криуше. Действительно, какое у них житье: на всю деревню одна соха. И главное, правда.

На другой день, пригласив деповских товарищей, он заставил меня еще раз прочитать «Анну Снегину», и опять всех она очень растрогала, особенно это место о Криуше, вероятно, потому, что в Криуше была станция нашей Зеленой ветки.

В Криуше мне приходилось бывать много раз. Там всегда пахнет смолистыми бревнами. Рядом со станцией угнездилась деревня. Кругом — леса и болота.

Я думал: почему это селение называли Криушей? Может быть, потому, что дорога тут начинается особенно петлять и кривиться, выбирая сухие, песчаные перемычки между болотами, а может быть, потому, что уж очень кривушной была здесь крестьянская доля.

И то и другое — верно...

Я ехал на рейсовом автобусе Рязань—Касимов, и тут, у самой Криуши, в тот же автобус подсел мой давний знакомый Ликин. Начались расспросы — куда и откуда. Я рассказал ему о том, что почти всю весну прожил в Солотче, а теперь пробираюсь в Курлово. Потом речь зашла о сокровищах Мещерского леса, о дивной его красоте и богатстве.

— Плохо используется это богатство, а ведь оно прямо-таки под ногами лежит, — сказал Ликин.

— Ну, что вы, возле каждой станции штабели бревен!

— Рубить лес мастеров и охотников много, — с досадой ответил Ликин. — Это-то нас, лесников, как раз и тревожит. Знаете ли вы, что сейчас эксплуатация древесины, то есть вырубка леса, превышает естественный прирост его. Терпимо ли дальше? Ведь уничтожение ме-

щерских лесов — преступление перед потомками. Вы прочтите-ка лекцию Вихрова из «Русского леса» Леонова,

Я сказал, что читал.

— Нет, вы ее по-настоящему прочтите, чтобы над каждым словом задуматься. Там, между прочим, сказано, что рязанские леса влияют даже на климат Турции. Это точно. Выруби их — пустыня подползет к Вологде. Но режим вырубки у нас хоть и очень плохой, все же регулируется государством. Сейчас же я хочу сказать о том богатстве, которое под ногами лежит и попусту пропадает. Ведь Мещера, бог знает с каких пор, славится грибами и ягодами. Самые лучшие грибы — белые, грузди, рыжики — родятся здесь в таком сказочном изобилии, что впору косить их косой. А ягода? Черники, клюквы и гонобобеля — множество! И вот эти-то сокровища края, по существу говоря, не используются. Колхозы заготовкой грибов и ягод, как правило, не занимаются. У них свои планы, свои обязательства. Что же касается заготовительных организаций потребсоюза, то они относятся к делу спустя рукава и заготавливают такое мизерное количество, что и говорить нечего. А ведь в том же Спас-Клепиковском и Тумском районах еще помнят о некоем Василии Егорове, который в прежние годы, до революции, подряжал ребятшек и женщин для сбора грибов. Он платил им за это гроши, а зимой по санному пути отправлял в Москву десятки подвод с сушеным белым грибом, выручая огромные деньги. Так что же получается? Какой-то кулак Василий Егоров умел организовать это доходное дело, мы же действительные хозяева мещерских богатств, пренебрегаем добычей грибов и ягод!

А почему бы колхозам не включать в свои производственные планы и этот доход? Почему затрата средств и трудней на выращивание огурцов, которые здесь плохо растут, считается делом вполне нормальным, а сбор грибов — баловством или, так сказать, частным занятием? А чем соленые огурцы лучше соленых груздей или рыжиков?

В сухих белых грибах содержится тридцать процентов белка — питательнейший продукт! А бывает ли он в продаже? Нынешней зимою я был в Москве и поинтересовался: почем на Даниловском рынке торгуют грибами? Оказывается, за маленькую связку в пятнадцать-двадцать грибков просят тридцать рублей. И покупатели находят-

ся. Берут. Ведь суп из трех-четырех белых грибов с морковью да с картошечкой — не хуже мясного. А грибная лапша? А грибной соус к картофельным котлетам?..

Но и грибное богатство — это еще не все. Коснемся мещерской ягоды. Тут тоже неисчислимые возможности увеличения доходов. Некоторые колхозы выращивают в садах смородину и крыжовник. Но разве брусника, черника, гонобобель и та же кислая клюква — не ягоды? А их здесь сколько угодно!

Должно быть, эти мысли давно волновали техника Ликина, и сейчас ему захотелось выговориться, чтобы убедить собеседника в правоте их.

Но тут и убеждать-то не требовалось. Когда Ликин упомянул некоего Василия Егорова, промышлявшего скупкой грибов и ягод, мне вспомнились рассказы нашей гусевской соседки, тетки Татьяны Фроловой, которые приходилось слышать, когда я был еще мальчишкой. Тетка Татьяна была «взята» в Гусь из Парахина, и вот что рассказывала она моей матери:

— В девушках я уж больно любила косу убирать лентами, — говорила тетка Татьяна. — Зеленые мне были к лицу. Бывало, маменька скажет: «Ну, Танюша, ты у нас чисто березонька...» А лентами торговал Василий Егоров. Сам-то он жил в Алексеевке, но больше паходился в разъездах. Бывало, пасху отгуляем, а перед семиком (это праздник у нас такой) и появляется в Парахине Василий Егоров на пегой лошадке. Остановит тележку возле церкви и начнет зазывать: «А ну, девки, молодки, ребята-утята! Ленты шелковые, мыло душистое, дудки напевны, пряники сахарны!» Народ сбегается. Денег Василий Егоров не требовал, а расценки были у него такой: аршин ленты — три фунта сушеных грибов, свистулька — фунт. Выдает он товар и в книжечку записывает — за кем сколько. А осенью, после третьего Спаса, опять появляется и начинает долги собирать. Господи боже мой, сколько он этого гриба набирал. Ну, прямо, стогом тележку нагрузит!

Так рассказывала тетка Татьяна. Случалось мне наблюдать и то, как действуют современные заготовители. Ночевал я в Парахине в одной избе с представителем учреждения, именуемого облпищпромом. Он был командирован, кажется, в Курловский район на предмет заготовки грибов. Потолкавшись день в сельском совете, уполно-

моченный подписал договор на поставку для командировавшей его организации семи с половиною килограммов белых грибов, каковые должны быть сданы в местное сельпо, а затем пробыл в Парахине еще сутки, закупаая уже собственно для себя яиц, сметаны и шерсти, и, отметив командировку, отбыл к месту службы.

Перед отъездом представитель посетовал на инертность местных жителей, не оказавших должного содействия в его хлопотах.

Вернувшись, он, вероятно, дня два писал докладную о ходе заготовительной кампании и отчет с приложением квитанций и проездных билетов для бухгалтерии.

— Именно так оно и бывает, — подтвердил Ликин, когда я поделился с ним беглыми наблюдениями. — Когда заходила речь об использовании грибного и ягодного богатства Мещеры, говорили, что, дескать, «за морем телушка — полушка, да перевоз дорог», и ссылались при этом на отрезанность здешнего края от больших торговых путей. Но теперь-то дороги в Мещеру проложены, и пора бы уже колхозам подумать о строительстве недорогих сооружений для сушки и засолки грибов, для переработки и консервирования ягод. Богатство само дается в руки, и отказываться от него нет смысла...

Отвлекаясь от заманчивых перспектив грибного и ягодного промысла, я сказал Ликину, что мне приходилось слышать опасения, будто бы проводимая сейчас мелиорация может вызвать гибель мещерского леса.

— Чепуха! — горячо возразил лесной технолог. — Так могут рассуждать лишь невежды. Да будет известно вам, что именно болота, так называемые «мшары», влияют на лес самым губительным образом: главный корень растения, достигая водяного слоя, быстро гниет, и дерево, держащееся лишь на верхних ответвлениях корневой системы, валится даже от слабого ветра. Вот почему в Мещере возле болот так много лесных завалов. А уберите из почвы лишнюю воду — корни проникнут глубже, дерево будет прочнее и крепче. Это вам подтвердит каждый лесник. Нет, осушение мещерской низменности не погубит, а возродит здешний лес!

Не знаю, как попала мне в руки тоненькая брошюрка, отпечатанная в 1898 году в московской типографии Сне-

тиревой. Брошюрка называлась: «Историко-статистическое и археологическое описание села Парахина Касимовского уезда Рязанской губернии, составленное священником Иоанном Рябцевым».

Парахино было известно мне с детских лет. Оно расположено всего в сорока верстах от Гусь-Хрустального. В самом Гусе жило довольно много выходцев из Парахина, поэтому я с особым интересом прочел сочинение Рябцева.

В брошюрке указывалось, что собственно Парахиным называется целая местность, состоящая из деревень: Парахиной, Фоминой, Астаховой, Александровой, Уляхиной и Сивцовой, расположенных по реке Русь и ее притокам Нинуре, Дандуре, Сантуре, Кикуре. Прежде Парахино называлось Тесерьмой, и это название, как и название притоков реки Гусь, свидетельствует о том, что первыми жителями здешних мест были люди мещерского племени, говорившие на финно-угорском наречии. Потом это племя было вытеснено вятичами, основавшими здесь сторожевые пункты Рязанского княжества.

Составитель брошюрки высказывает предположение, что Парахино не раз служило местом сражений рязанцев с суздальцами и владимирцами, а также с татарами. Последнее подтверждается тем, что в этой местности сохранились холмы, именуемые татарскими могилами, местность же, примыкающая к этим холмам, называлась Великим побоищем.

К тому времени, когда писалась брошюрка, основным занятием парахинских крестьян была рубка леса и смолокурение. «Еще раннюю весною, — говорит автор, — парахинцы отправляются в лес одни рубить дрова, другие рыть смолу. Рубка дров большей частью производится в дачах Мальцева *, и этим промыслом занимаются семейные, а одинокие поступают на смоляную работу. На рубку дров отправляется весь народ, как мужчины, так и женщины, даже дети. В лесах они делают себе шалаши и живут там.

К Петрову дню и смольники, и дроворубы — все возвращаются домой и принимаются за уборку сена и хлеба. Уборка сена весьма неудобна в здешней местности. Трава по Гусю, лесам и болотам бывает плохая».

* Заводчикам Мальцевым в Мещере принадлежали стекольные предприятия и прилегающие к ним лесные угодья — В. П.

Что касается хлеба, то Рябцев свидетельствует: рожь и овес родятся здесь худо, гречу губят туманы и ранние морозы, зато лен растет хорошо.

Отец Иоанн оказался дотошным исследователем. В своей книжечке он сообщает о том, сколько кубов дров нарубит за сезон дровосек и сколько аршин холста наткет за зиму женщина, и даже о том, сколько ведер вина выпивают парахинцы.

Общий же вывод, который можно сделать из наблюдений Рябцева, сводится к тому, что жизнь парахинцев тяжела и скудна, у многих крестьян появилось стремление покинуть эту бедную землю и переселиться из Мещеры в другие места.

Ныне Парахино входит в состав Курловского района Владимирской области. Мне понадобилось съездить туда. Хотелось встретиться с местным учителем Федором Федоровичем Афонькиным, о котором я уже давно был наслышан как о человеке, достойном и уважаемом.

У секретаря Курловского райкома партии Михаила Ильича Антипова также была надобность побывать в Парахине, и мы поехали вместе на автомашине ГАЗ-69, которую здесь называют «палочкой-выручалочкой», потому что ни на «Волге», ни на «победе», ни на «москвиче» по здешним дорогам проехать нельзя. Они безнадежно застрянут в колдобинах.

Настоящую дорогу с хорошим покрытием в районе только что начали строить. Она пройдет через лес от Курлова на Парахино, Великодворье и возле Тумы сомкнется с Рязанским кольцом, соединив, таким образом, автотрассой две соседние области.

Отъехав километров десять от районного центра, Антипов сказал водителю:

— Давай заедем на целину и, обратившись ко мне, добавил: — Вам тоже любопытно будет взглянуть, что мы тут делаем.

Машина свернула в березнячок и по едва приметному следу выскочила на открытое место. Это было болото, протянувшееся на добрый десяток километров. Но и на болото оно уже не походило. По бокам его тянулись широкие магистральные каналы, а самое лоно было распаханно и чернело свежими бороздами. Где-то на самом дальнем берегу распаханного простора еще трудился трактор.

— Вот, — сказал секретарь, — прежде болота наступали на нас, а теперь мы на них наступаем. Конечно, работа большая, зато перспективы огромные.

Налюбовавшись поднятой целиной, мы снова вернулись на парахинскую дорогу. Пошли поля, нежно зеленеющие ленком. В деревнях, которые попадались нам на пути, было много новых построек. Перед самым Парахином, когда проезжали по мосту через речку, я заметил странную вещь: на середине реки довольно высоким фонтаном била струя воды.

— Что же это такое?

— Тут геологическая разведка работала, — пояснил секретарь. — Бурили скважину в поисках нефти, и вдруг ударил сильный фонтан воды. С прошлого года бьет.

Я выразил сомнение насчет целесообразности поисков нефти в этих местах, но Антипов сказал:

— А почему бы и нет? Пятый год я работаю здесь, в Мещере, и не перестаю удивляться, как богат и еще неизведан наш край.

Афонькина мы не застали в Парахине. Он ушел в лес. Нас встретила его жена, тоже бывшая учительница Марья Дмитриевна.

— Летом Федора Федоровича дома застать трудненько, — сказала она. — Федор Федорович то в лесу, то на речке. Ему уже шестьдесят второй год пошел, а он и по лесу ходок, и с удочками на реке посидеть очень любит. В лесу ему каждый кустик знаком, да ведь и как же: мы здесь всю жизнь прожили.

Снова вспомнился мне купринский учитель Астреин, заброшенный в мещерскую глушь и жестоко раздавленный идиотизмом бывлой деревенской жизни.

— А как жилось вам? — спросил я у Марьи Дмитриевны. — И как теперь живет сельская интеллигенция?

— Ну, как жилось, — раздумчиво сказала старушка. — По-разному — и плохо и хорошо... Федор Федорович-то мой начал учительствовать с семнадцати лет. Я тоже приехала сюда из Москвы семнадцатилетней девушкой. Здесь мы и поженились. Время было трудное — революция. Кругом разруха. В школе — ни тетрадок, ни карандашей. Ребятишки — полуголодные. У новой власти до училища и руки никак не дойдут, у нее других забот много. Наконец назначили Федора Федоровича заведовать волостным отделом народного образования. «Ты,

говорят, полностью отвечаешь за это дело». Легко сказать — отвечаешь, а каково приходилось ему, сейчас и вспомнить-то удивительно. Однако постепенно дело наладилось. Кроме школы в Парахине открылся еще ликбез. Неграмотных в деревне тогда было уж очень много. Особенно женщин. С ними мне пришлось заниматься. Днем — с детьми, вечером — со взрослыми. Так вот, как белка в колесе, бывало, и крутишься...

Потом пришла пора коллективизации. Опять же и в этом деле мы с Федором Федоровичем живое участие приняли. Он первым счетоводом в колхозе был, не подготовил себе замену. А то ведь во всем селе счетовода найти не могли. Одним словом, судьба наша так уж с крестьянской-то связана, что все деревенские радости и печали были и нашими радостями и печальями.

Сейчас гляжу на молодых учителей и думаю: им куда как легче работать. Но вы ради бога не подумайте, что я жалею. Нет, мы свое сделали и свое получили. Ведь Федор Федорович-то орденом Ленина награжден. А по деревне идешь? Ведь чуть ли не каждый в нашей школе учился, и все здороваются: «Здравствуйте, Федор Федорович, здравствуйте, Марья Дмитриевна...» И в большинстве своем люди хорошие, каждый будто награда за наш учительский труд...

Пока я слушал словоохотливую старушку, подошел сын Афонькиных, Владимир Федорович. Крепкий, загорелый, громкоголосый. Он работает в Парахине председателем сельсовета. Владимир Федорович тоже включился в разговор и стал рассказывать, как живут паряхинцы, как работает местный колхоз.

— В гору, в гору дела пошли, — гудел он. — Своя интеллигенция в селе выросла. Когда мой батька начинал здесь работу, во всей паряхинской волости было всего шесть учителей, а теперь тридцать с лишним, да медицинский персонал, да специалисты-производственники. А потом обратите внимание на то, что и весь деревенский народ стал на голову выше, политически поднялся. Главная опора у нас коммунисты и комсомольцы, а их в Парахине около трехсот человек. По здешним мещерским местам — не малая горсточка.

— Правда, Володя, правда, — согласно кивала головою Марья Дмитриевна. — И учителя-то теперь все с высшим образованием. Да что там учителя! Бегал у нас тут пасту-

шенок один, Ваня Гусев. Бывало, погонит стадо на вырубку и книжечку попросит у нас почитать, когда ему время там выпадет, а теперь гляди-ка: Ваня Гусев студентом стал. В институте уже занимается...

Рассказывая, Марья Дмитриевна собирала на стол, Сели пить чай. Подошел учитель Волков, молодой общительный человек. Он преподает в Парахинской школе физику и математику.

— Но и литературой увлекаюсь, — добавил Волков. — Только повинки к нам в село доходят с опозданием.

— Сергей Михайлович ведет организаторскую работу среди молодежи, — подчеркнул Афонькин. — Кстати сказать, он — член пленума Владимирского обкома комсомола.

Тут я спросил у хозяев, не слыхали ли они, что некий священник Рябцев в свое время писал о Парахине книжечку?

— Ну, как же! — сказала Марья Дмитриевна. — Ведь Сережа-то его правнук, — и она кивнула на Волкова.

— Вон как?

— Это верно, моя бабушка Прасковья Ивановна была дочерью того священника Рябцева, — подтвердил Волков. — Между прочим, брошюрка его в нашей библиотеке имеется. Читал я ее... Трудно поверить, в какой дикости жили здесь люди. Я-то ведь родился в 1933 году. Даже о доколхозной жизни знаю лишь по рассказам.

Вон как все удивительно складывается, — подумалось мне. — Деревенский священник Иоанн Рябцев писал в свое время: «Парахино дошло до полного обеднения. Скотоводство уменьшилось, хозяйство расстроилось...» А правнук его — сельский учитель.

Волков мог бы написать теперь о том, как расцветает в Парахине новая жизнь, как ищут в Мещере нефть, как поднимают дремавшую веками болотную целину, прокладывая дороги, как деревенский пастух едет учиться в институт, как деревенского учителя награждают орденом Ленина.

11

Есть в Мещерской стороне весьма своеобразный уголок, так называемый Палищенский куст. Это целое гнездо деревень — Палищи, Маклаки, Спудни, Овинцы, Демидово, Мокрое, Шевертни.

От ближайшей железнодорожной станции до Палищ считается каких-нибудь двадцать пять километров, но добраться туда нелегко. Летом, особенно в дождливую пору, а зимой из-за снежных заносов, ухабистая дорога становится непроезжей, так что большую часть года весь край как бы отрезан от внешнего мира. Но уже зато перед тем, кто все-таки доберется туда, предстанет живописнейшая картина.

Улицы здешних деревень блещут радугой. Обшитые тесом дома, крылечки, ворота покрашены масляной краской. Преобладают светло-синие, зеленые, ярко-оранжевые тона. По резным наличникам и карнизам затейливо пущен голубой или белый бордюрик. И представляется заезжему человеку, что прямо из топких болот, заросших ржавой осокой и сизым багульником, попал он в какую-то волшебную страну сказок, где каждый домик как писаный пряник.

Жителей Палищенского куста зовут красителями. Прозвище это закрепилось за ними давно, а происхождение его связано с промыслом, которым занимаются здесь многие семьи.

Еще до революции некоторые из палищенских мужиков промысляли крашением одежды и тканей. В одиночку или небольшими артелями разбредались они по всей мещерской округе, оглашая деревенские улицы протяжными воплями:

— В окраску берем, старо на ново переделыва-ам!..

— Никак красили маклачить пошли, — говорили о них в деревнях.

Красили ходили от двора к двору с большими узлами, забирая «в работу» холсты, пряжу и старые, вылинявшие обноски. Потом возвращались к себе в Палищи, купали «товар» в чанах с кипящей краской, сушили его, отглаживали и снова пускались в путь, разнося окрашенные вещи заказчикам.

Промысел этот считался довольно барышным, но зависти к красителям у соседей не было, как никогда не было у крестьянина-труженика зависти к конокрадам или мошенникам. К ним относились осуждающе и даже презрительно: «Маклаки они и есть маклаки — отца с матерью продадут за копейку...»

Со временем красильное ремесло стало менее выгодным. В деревенской жизни произошли заметные перемены.

В лавках селюпо бойчее пошла торговля мануфактурой, ткать холсты крестьяне давным-давно перестали. Круг клиентуры у красителей заметно уменьшился, и, вероятно, они забросили бы это дело, занявшись работой в колхозах, но тут подвернулся случай, неожиданно направивший палищенских красителей по новой стезе предпринимательства.

В годы войны сюда в эвакуацию прибыл некий мастер трафаретной живописи. Оглядевшись на новом месте, пришелец развернул производство настенных ковриков и покрывал. При помощи нескольких картонных трафаретов и простейшей сапожной щетки сей предприимчивый живописец мог превратить обыкновенную простыню в цветистое покрывало. Старое байковое одеяльце он перекрашивал в настенный коврик с изображением оленей, лебедей, Серого волка и Красной шапочки.

Продукция трафаретного живописца шла, что называется, нарасхват. Уже чуть ли не в каждой избе можно было встретить «ковер» с оленем или с тремя богатырями, остановившимися на распутье в древнем диком поле.

И вот тут-то наиболее ухватистые красили смекнули, что, в конце концов, горшки обжигают не боги, а обыкновенные смертные и что производство «ковров» дело не такое уж сложное, зато — барышное. Вскоре у заезжего мастера появились местные конкуренты. Правда, богатырские кони на их коврах напоминали скорее свиней или кошек, а от одного взгляда на Красную шапочку даже у волка мог бы случиться инфаркт, но это не смущало начинающих живописцев. Они бойко торговали своим товаром и опять потянулись по деревням, теперь уже с новым возгласом:

— Ковры, покрывала, расписыва-ам!..

Через какое-то время мещерский рынок сбыта стал уже тесен для них. Тогда красили дерзнули пуститься в дальний отход. Запасшись красками и прихватив с собою «струмент», состоящий из набора трафаретных листов картона, сапожных щеток и помазков, целыми семьями отправлялись они в далекие путешествия: на Север, в Сибирь, в казахские степи и даже на остров Сахалин. Тут был у них свой довольно тонкий расчет. В эти еще не обжитые места понаехали новоселы. Один — поднимать целину, другой — возводить города и заводы. Ново-

села́м хоте́лось поуютнее устро́ить свой бы́т. Ка́кой-ни-
бу́дь коври́к на стенке и то уже ра́довал: вот, де́ска, ко-
ве́р за́вели, обста́вляе́мся по́маленьку. Го́сударственная
про́мышленность и торго́вые органи́зации, ви́димо, не
учи́тывали э́ти потре́бности пода́вшихся на но́вое ме́сто
люде́й, а краси́ли учи́ли. В Ку́лунде, в Магада́не, на Анга-
ре ра́зверну́ли о́ни произво́дство и сб́ыт сво́ей живо́писной
про́дукции. Ты́сячами шта́мповали́сь по́крывала и коври́-
ки. Де́ньги, как гово́рится, текли́ к ним ре́кой.

Вот то́гда-то и ста́ли появля́ться в дере́внях Па́лищен-
ского ку́ста до́ма, раскра́шенные, как пря́ники, а в до-
ма́х — горо́дская ме́бель, радио́лы и телеви́зоры. Же́ны и
до́чери краси́лей о́дна пе́ред друго́й ста́ли ще́голять доро́-
гими обно́вками...

Все э́то бы́ло бы о́чень хо́рошо, и оста́валось бы то́ль-
ко ра́доваться — мужи́ки бога́теют! — е́сли бы не про-
исхо́дило о́братного про́цесса: о́бнища́ния ме́стных ко́л-
хозо́в.

Ко́лхозы Па́лищенского ку́ста мно́голю́дны, но ма́ло-
зе́мельны. На ка́ждый ге́ктар па́хотной зе́мли зде́сь при-
ходи́тся по три-че́тыре рабо́тника. Каза́лось бы, при э́тих
усло́виях зе́мля уж ни́как не бу́дет «гуля́ть», е́е обраба-
тыва́ют во́время и как сле́дует. На са́мом же де́ле па́ли-
щенцы́ то опа́здыва́ют с се́вом, то не успе́вают у́брать
уро́жай, и ка́кая-то ча́сть е́го уходи́т под сне́г. А в оправ-
да́ние гово́рят:

— Не справи́лись, ру́к не хва́тило...

О́днажды́ в о́сеннюю пору́ до́брались мы́ с владими́р-
ским жу́рнали́стом П. В. Ги́ляровским до Па́лищенского
ку́ста. В возду́хе уже ме́лька́ли бе́лые му́хи. Ста́рые кря-
жи́стые ве́тлы ро́няли по́следний ли́ст.

Мы оста́нови́лись в О́винцах, в до́ме зна́комого Ги́ля-
ровско́му ста́рика-пе́нсионера, бы́вшего учи́теля Во́лкова.
Он про́жил зде́сь по́чти всю́ свою́ жи́знь.

По́пили ча́йку, поговори́ли. К Во́лкову за́шел председа-
те́ль се́льского Со́вета, пожа́ловался:

— Зи́ма прибли́жается, а у ко́лхоза карто́шка до си́х
по́р в по́ле не вы́копана. На́роду не хва́тает. И ума́ не
прило́жим, как бы́ть. Приходи́тся по двора́м ходи́ть, лю-
де́й подни́мать на рабо́ту.

Попоз́же, встре́тив на ули́це тре́х ко́лхозни́ков, вы́шед-
ших как бы́ проветри́ться, мы́ по́здоровали́сь с ними́ и
спроси́ли:

— Не на картошку ли собрались, товарищи?

— А на какой хрен она нам сдалась? — рассмеявшись, сказал невысокий рябой мужчина.

— Да ведь как же, добро пропадает!

— Ну, это не великое добро.

— Вы что же, из Краси́лей будете?

— А вам что за дело? Вы кто такие?

Подошли еще двое. Полюбопытствовали:

— Что за шум, а драки нету?

— Да вот, Краси́лями интересуются.

— Может, критику хотят навести? Так за это и в морду можно дать.

От говорившего густо пахивало водкой.

— Мы в том смысле, что вот, мол, гуляете, а картошка в поле не выкопана. Пропадает ведь.

— Вот далась им эта картошка! — весело крикнул рябой и хлопнул себя по бедрам ладонями рук.

— Ну ее к черту! Праздник у нас сегодня, рождество богородицы. В праздники людям гулять полагается, а не работать, — назидательно объяснил тот, что грозился «дать в морду».

— Пойдем, ребята, что тут болтать попусту.

Вечером Волков рассказывал, как гуляют здесь Краси́ли.

— В Маклаках — говорил он, — был такой случай: ковровщик Сиротин вернулся с промысла и зачертил. Допился чуть ли не до белой горячки, выгнал из дома жену и детей, изрубил топором телевизор, часы, разбил зеркало, выпустил пух из подушек и все кричал: «Моя душа гулять хочет!» Вот бешеные-то деньги что с людьми делают. А картошка, действительно, на кой шут она им сдалась! На свои калымные они сколько хотят, столько ее и купят. Вот тем, кто в колхозе работает, тяжело и обидно на это смотреть.

— Но ведь Краси́ли тоже колхозниками считаются?

— А как же! Им это выгодно. Всякие льготы и прочее. Только землю-то они уже давно не считают кормилицей. К земле отношение у них, прямо сказать, нахальное. Крестьяне ее как мать почитают, а они на землю смотрят, как, извиняюсь, на девицу легкого поведения...

Лет через пять мне снова представился случай побывать в одном из селений Палищенского куста, в колхозе «Память Ленина». Центром этого колхоза считается де-

ревня Мокрое. В ней 119 дворов, восьмилетняя школа, фельдшерский пункт, почта, небольшой колхозный клуб. В клубе же разместились канцелярия сельсовета.

Председателем колхоза здесь работает Борис Иванович Шахов, рыжеватый, круглоголовый мужчина лет сорока пяти. В Мокрое он был прислан из других мест, чтобы поправить дела в колхозе. Поправки пока что не видно — поголовье скота в колхозе уменьшилось, от пашни дохода нет...

Шахов, как и другие работники административно-управленческого аппарата, живет на окладе, ему идет жалование.

— Да какое же может быть жалование, если у колхоза сплошные убытки? Ведь платить-то не из чего! — высказал я свое сочувствие председателю.

Но оказывается, жалование идет регулярно, и деньги для этого у колхоза находятся.

Откуда?

А вот оттуда. В артели числится 540 трудоспособных колхозников. Но в хозяйстве постоянно работает не более 140 человек. Остальные четыреста — профессиональные красили. Чтобы уехать на промысел, красили обязаны записаться справкой о том, что они являются колхозниками и отработали определенный минимум трудодней, поэтому колхоз отпускает их на 2—3 месяца. Такие справки им выдаются, а они за каждую справку вносят в кассу артели по 15 рублей. Вот эти-то деньги и образуют фонд, из которого платят жалование работникам административно-управленческого аппарата.

Это — не взятка, потому что деньги, полученные за справку, приходятся в бухгалтерских книгах колхоза. Но это и не «чистые деньги», так как взимаются они за явный обман: минимума трудодней красили, конечно, не отработывают. Для них же такая плата вовсе не обременительна. За два месяца «окраски» каждый красиль зарабатывает по две с половиной, а то и по три тысячи рублей.

На эту тему разговорились мы, что называется, по душам с председателем исполкома сельского Совета Валентином Ивановичем Малиным. Родом он из соседней деревни Овинцы, в Мокром живет уже пятый год, так что знает здесь всех и все.

— Красили, — сказал Валентин Иванович, — когда о дими заговариваешь о том, как поднять колхоз с мертвой точки, заявляют: «А нам и этот хорош, как бы хуже не стало».

— Да отчего же? — не понял я этой сложной позиции.

— А вот отчего. Если колхоз слабенький, если здесь на трудовень почти ничего не приходится, так у них и основание для отхожего промысла есть: дескать, нужда заставляет. А если бы он доходы давал, то как оправдаешь отъезд по ковровому делу? Тут уже никакого оправдания придумать нельзя.

Валентин Иванович говорит это в осуждение красилей. Но ведь и он — председатель местного Совета депутатов трудящихся — высшая власть на селе, способная в административном порядке пресечь мажорство. Председатель же ограничивается горькими размышлениями.

А сами красили? Они держатся иной тактики.

В начале своего рассказа о красиях я говорил об учителе Волкове из деревни Овинцы. Этот пожилой человек в открытую обличал тунеядцев. Он выступал на сессиях сельского Совета, писал в газету. Теперь я хотел поехать в Овинцы, навестить Волкова, но мне сказали:

— Он теперь там не живет, уехал.

— Куда же?

— Не знаем.

— А почему же уехал-то?

— Домишко у него прошлым летом сгорел.

— Как так сгорел?

— Да кто его знает как. Сгорел, и все тут. Болтают, что подожгли, но разве докажешь? Как говорится, не пойман — не вор.

— Думается мне, — сказала одна женщина, — что это красили его выжили.

В Мокром я познакомился с Михаилом Семеновичем Кондратовым, егерем военно-охотничьего хозяйства на Святом озере, и хотя это знакомство не имеет прямого отношения к разговору о красиях, я все-таки расскажу о нем.

Когда мы с председателем сельского Совета пришли к Кондратову в дом, егерь сидел за столом и разбирался в каких-то бумагах.

— Здравствуйте, — сказал он, отодвинув бумаги, и добавил: — Я на досуге писаниной занимался.

Передо мной был человек могучего телосложения, широкоплечий, с крупным мужественным лицом, с твердым взглядом серых, в голубизну глаз. Он сидел, положив на столешницу большие, сильные руки.

Но я уже знал, что у этого человека совершенно нет пог, и, смущаясь, спросил:

— Михаил Сергеевич, как же это случилось и почему вы стали егерем?

Видимо, вопрос этот ему задавали не в первый раз, и он уже привык отвечать на него, но все же поморщился и переспросил, уточняя:

— То есть, выбрал дело не подходящее в моем положении?

— Вот именно.

— Это долгий рассказ.

— Если можно...

И Кондратов рассказал историю своей жизни, которую я попытаюсь изложить по возможности коротко.

Детство и юность его прошли в небольшой деревушке на берегу Свят-озера. От деда и от отца Михаил унаследовал страсть к ружейной охоте по уткам, во множестве гнездившимся на мещерских озерах. От отца же перенял и плотницкое мастерство. В середине тридцатых годов пришла пора призываться в армию. Ловкий, находчивый, он уже на действительной проявил себя отличным солдатом и решил навсегда связать судьбу свою с армией. Его послали в Ленинградское военно-политическое училище. Перед учебой, приехав на побывку в родные места, он женился на девушке, которую полюбил еще в юности.

Училище Кондратов окончил в 1940 году и получил назначение в одну из приграничных частей в Бессарабии. Сюда с ним приехала и жена Наталья Федоровна. У них уже было двое детей — мальчик и девочка.

Здесь Кондратьевых застала война. Наташе с детьми пришлось эвакуироваться на родину, а сам Михаил Семенович в непрерывных боях полной мерой испытал всю горечь первых военных неудач нашей армии, отступавшей под ударами противника на восток.

В 1942 году, уже на Дону, под Клетской, будучи комиссаром батальона, он получил тяжелое ранение, но, едва оправившись, запросился на фронт. Его направили в танковый корпус заместителем командира батальона связи. Он

воевал в Донбассе, потом на Курской дуге, форсировал Днепр и снова был ранен, и снова вернулся на фронт.

Весной 1944 года под Тернополем во время командирской рекогносцировки гвардии майор Кондратов попал под ураганный артиллерийский огонь, и ему напрочь оторвало ноги.

Только благодаря могучему здоровью остался он жив. Но горьким было это возвращение к жизни.

«На что я гожусь и кому нужен безногий обрубок, — с горечью думал Кондратов. — Уж лучше бы сразу, насмерть...»

Жена сама поехала за ним в госпиталь. А когда Кондратова привезли домой в деревню и отец с братом выгрузили его, подхватив под мышки, он не удержался от слез.

Брат в то время работал егерем на озерах. И когда он уезжал на своей лодочке, Михаил Семенович с завистью глядел ему вслед.

Однажды отец сказал:

— Миша, я ведь вижу, как ты томишься, — давай попробуем, может, и сплаваешь?

— Безногий-то?

— А я для тебя приспособление в ботничке сделал.

Оказалось, что старик оборудовал в ботничке специальный ящик. В этот ящик, как мешок, посадили безногого, дали в руки весла, и он, оттолкнувшись от берега, стал выгребать на плес.

Сначала робко, помаленьку, недолго, под присмотром родных, потом все сильнее, увереннее. Стал уже постреливать из ботничка, приладил окончательно и так обрадовался, будто заново ожил.

Все это, конечно, не сразу, и даже не один год пришлось ему прилаживаться к лодке, чтобы научиться свободно управлять ею. Но Кондратов был терпелив.

В 1953 году брат решил уехать из Мещеры, и Михаил Семенович стал проситься на его место. Он уже и до этого не раз заменял брательника на работе, когда тому приходилось куда-нибудь отлучаться.

— Да как же вы справитесь с этим делом? — спросили у него.

— Справлюсь. Лодка у меня стоит в протоке, недалеко от дома. До нее добираюсь в коляске, а уж в лодке-то я любому не уступлю.

Место оставили за ним.

Молва о безногом егере пошла по всему Мещерскому краю. О нем говорят не только как об искусном охотнике, но главное — как о правильном человеке, который сумел навести на озере настоящий порядок.

Семья у Коидратова дружная. У него пятеро детей. Старшая дочка уже работает врачом, а младшая только в будущем году пойдет в школу. Сам Михаил Семенович, кроме своей егерской службы, ведет большую общественную работу: он депутат местного Совета, заместитель секретаря сельской партийной организации, агитатор-пропагандист.

О красиях Михаил Семенович заговорил со мною сам. Впрочем, начал-то он с похвалы родному Мещерскому краю:

— Места на реке Буже и на озерах — неописуемой красоты, — сказал он. — Только вот красили всю картину нам портят. Ударились в этот дурацкий промысел, и носят их черти по всему свету. Недавно одна кампания с Сахалина на самолете вернулась. За длинным рублем гонятся, а свою землю вовсе забросили. Некоторые поля, где прежде рожь сеяли, теперь сосняком зарастают. А покосы? Больно глядеть! Конечно, с заросших да заболоченных лугов хорошими кормами ие запасешься. Но если к нашей земле приложить с усилием руки, она сторицей за это воздаст.

— Честно говоря, земли-то у нас маловато, — примирительно сказал председатель сельского Совета Валентин Иванович Мелин. — Маловато земли, всех па ней не займешь. Ты, Михаил Семенович, знаешь, что тут и прежде без подсобного промысла обойтись было трудно.

— Верно! — подхватил егерь. — А какой это промысел был? — И сам ответил: — Столярный и плотницкий. Ведь и теперь еще живы наши знаменитые столяры. Так объясните мне, почему бы не создать при колхозе подсобную столярную мастерскую? Нет, их ковравая дорожка к себе поманила, потому что от нее печеным и жареным пахнет! — с досадой заключил он, сердито махнув рукой.

В Мокром я жил на квартире у директора школы. Семья у него небольшая — сам и жена, тоже учительница. За домашним хозяйством приглядывает пожилая одинокая женщина Наталья Васильевна.

Мокровская школа и по внешнему виду, и по постановке учебного дела считается одной из лучших в районе. И надо прямо сказать, что доброй славой она во многом обязана директору Николаю Петровичу Петрову.

Приехал он сюда лет восемь назад из Пензенской области, где тоже учительствовал.

— На первых порах, — рассказывал мне Николай Петрович, — столкнулся я здесь с таким положением: многие ребята после четвертого класса совершенно бросали учебу. Я стал выяснять, в чем причина. Прихожу в семью и спрашиваю: «Почему ваш мальчик не учится?» Отец или мать отвечают: «Да ведь читать и писать-то он уже выучился, а больше нам и не требуется». «Вам-то, говорю, может быть, и не требуется, но ребенку останавливаться на этом нельзя». Иные прямо объясняли: мы, дескать, уезжаем в окраску, а парень остается дома за старшего, потому и в школу не ходит.

Директору пришлось через сельский Совет разъяснить таким гражданам закон о всеобщем обязательном обучении.

Были, конечно, и стычки по этому поводу, однако постепенно дело наладилось. Он все-таки добился своего — дети стали посещать школу.

Но вот что тревожит директора.

— Иногда случается, — говорит он, — что даже способный ученик или ученица начинают вдруг отставать, приходят в класс, не приготовив уроки. Мы беспокоимся: что случилось? Оказывается, родители ученика уехали месяца на два «калымить», как здесь выражаются, а дети по существу без присмотра.

— Стало быть, и школе мешает это отходничество?

— А как же! Очень даже мешает. Мы теперь уже так делаем: с теми ребятами, родители которых в отъезде, классная воспитательница остается после уроков и помогает им выполнять то, что задано на дом. За эти часы ей, конечно, никто не платит, но что же поделаешь! Легкий хлеб здесь едят одни красили, — заключил Николай Петрович.

Ах, красили, красили! Куда ни обернись, всюду они, как бельмо на глазу у деревни...

Домик директора школы стоит на самом выезде из Мокрого. Тут проходит дорога к железнодорожной станции. Порой на дороге можно увидеть людей, тянущих са-

ночки, на которых лежат чемоданы и какие-то рулоны, завернутые в серую мешковину.

Наталья Васильевна, пребывающая в курсе всех деревенских событий, объясняет:

— В окраску поехали. В мешковине-то у них самый главный струмент упакован — картонные листы, на которых рисунок вырезан, «прешпан» называется.

— Я ведь и сама однажды калымила, — призналась она. — Лет восемь тому. Соседи у нас по этому делу больно ловки были, вот и я с ними и напросилась. Ну, мы тогда недалеко — в Смоленскую область ездили.

— Значит, и вы умеете красить?

— Какой из меня красиль! — засмеялась Наталья Васильевна. — Мое дело — сборка.

— То есть?

— На окраску-то ходят компанией в три головы. За старшего сам красиль, потом помощник его, а третий ходит по дворам и собирает заказы. Это и есть сборка. Тут никакого мастерства не требуется.

— Ну и что же, понравилось вам?

— Куда там! Я снова попытала, а потом на всю жизнь и закаялась. Уж больно совестно. Ходишь по дворам, как цыганка, и люди на тебя с подозрением смотрят. Нет, думаю, прах возьми этот заработок! Я без него проживу. Одна голова не бедна, а и бедна, так опять — одна. Я вот и племянникам своим наказываю: вы, мол, ребята, в это дело не вступайте, легким куском и подавиться недолго...

Но по дороге на станцию нет-нет да кто-нибудь и проедет с саночками за легким куском.

У красилей одно оправдание:

— Колхозной работой у нас не прокормишься...

— Почему же так?

— Земля бедная. На нашей земле иначе и не может быть.

Послушаешь такие суждения, разжалобишься и, пожалуй, согласишься.

Но так ли уж виновата земля?..

И снова потянуло меня в дорогой моему сердцу колхоз «Большевик», который и расположен-то в каких-нибудь тридцати километрах от Палищ.

Для поездки в «Большевик» у меня была еще и другая причина.

Дня за два до нового года Горшков позвонил мне по телефону из московской гостиницы.

— Знаете, — сказал он, — я улетаю на Кубу.

— Куда, куда?

— На Кубу. Часть нашей парламентской делегации уже отбыла, а мы с Валентиной Ивановной Гагановой отправляемся завтра. Вернусь, вероятно, недели через две. Вы тогда уж обязательно приезжайте в колхоз.

Эта была первая заграничная поездка Акима Васильевича, и сразу же — в такую заокеанскую даль. Мог ли представить себе мещерский крестьянин Василий Горшков, что сын его когда-нибудь поедет на Кубу полноправным членом парламентской делегации? Он и о самой-то Кубе не слышал никогда и не знал, что в мире существует остров с таким названием. Да и сам Аким, если бы ему сказали лет двадцать назад, счел бы это шуткой, фантазией. Теперь же он мне совершенно спокойно, как о чем-то обыденном, говорит: — Завтра я улетаю на Кубу...

От всего сердца я пожелал ему счастливого пути и сказал, что во второй половине января наведаюсь в «Большевик». Вот почему из Палищенского куста потянуло меня на Нечаевскую.

Приезжая в Нечаевскую, я по обыкновению живу у Горшковых. Особнячок Акима Васильевича, пожалуй, не больше, но как-то приглядистее других. Сбоку к нему пристроена остекленная веранда с выходом в садик. В самом доме несколько комнат: кухня, столовая, кабинет «самого», две спальни. Полы в одних комнатах крашенные, в других покрыты линолеумом. Мебель — городского типа. В доме всегда чистота и порядок, заботливо поддерживаемый добрейшей Прасковьей Георгиевной.

Мать Акима Васильевича, бабка Наталья, недавно умерла на девяносто восьмом году жизни. Теперь кроме самого хозяина и Прасковьи Георгиевны в семье живут сын Горшковых, невестка и внук Андрюша — бойкое, жизнерадостное существо четырех лет от роду, утеха и любимец Акима Васильевича.

Появление этого внука на свет было не совсем обычным. Дело сложилось так.

Лет шесть тому назад на работу в колхоз приехала молоденькая девушка зоотехник Тамара Борисова, толь-

ко что окончившая Владимирский сельскохозяйственный техникум. На Нечаевской Тамара быстро освоилась. К работе на ферме она относилась серьезно, внимательно. Дело свое она знала, и даже старые, опытные колхозницы частенько обращались к ней за советом. Бойкая, черноглазая, розовая, как весенняя яблонька, она сразу стала душой колхозных девчат.

В то лето из Тимирязевской академии на каникулы приехал сын председателя, младший Горшков. В семье его звали Эдиком — Эдуардом, а ему почему-то больше нравилось имя Александр. Так Александром и записался он в паспорт.

Бойкая черноглазая Тамара понравилась Саше. Он ей тоже был симпатичен. Летними вечерами молодые люди гуляли в сосновой роще, поверяли друг другу свои сокровенные взгляды, мечты.

Так возникла любовь...

Старшие Горшковы ничего не знали об этом. Да и то сказать, Акиму Васильевичу, целиком захваченному делами колхоза, было не до сердечных переживаний сына. Учится парень — и ладно.

Осенью Саша опять уехал в Москву, в академию. А зимой Тамара попросила у председателя, чтобы тот отпустил ее на несколько дней в город Горький навестить тетку.

— Поезжайте, пожалуйста, только не очень задерживайтесь, на фермах работы много, — ответил он.

Тамара уехала. Прошла неделя, а девушка все не возвращается. В колхозе жила старшая сестра ее — агроном. Горшков зашел к ней, чтобы справиться, где пропадает Тамара.

— Ах, Аким Васильевич, уж не знаю, как и сказать. Вы так приветливо приняли Тамару, столько сделали ей добра, а она поступила по отношению к вам очень нехорошо...

— Что такое?

— Да понимаете, ведь они с Сашей тайно от вас записались в загсе, и теперь Тамара уже в положении.

Огорошенный таким неожиданным сообщением, Аким Васильевич пришел домой и доложил жене — так и так, наш Эдик женился.

— Как женился? На ком?

— На Тамаре Борисовой.

Прасковья Георгиевна только руками развела, а потом решила:

— Ну что ж, она девушка умная, скромненькая.

— Да вот, говорят, что эта скромненькая уже в положении.

Тут Прасковья Георгиевна забеспокоилась: «Ах, ах, как бы она глупостей не наделала!»

Позвонили в Горький к тетке. Та отвечает, что Тамара действительно была у нее один день и усхала.

Прасковья Георгиевна рассудила, что Акиму надо немедленно ехать в Москву.

Сын жил тогда в общежитии. Аким Васильевич приехал прямо туда и застал такую картину. Саша сидит за столом, занимается, а на его койке лежит Тамара и стонет.

— Что с ней? — спросил отец. А она увидела его, заплакала и говорит:

— Я себя плохо чувствую...

Аким прикрикнул на сына, Тамару одели и отвезли в больницу. Тревога, волнения...

Доктор сказал: преждевременные роды. Ребеночек родился семимесячным, был очень слаб, но его удалось выводить.

Так появился на свет Андрюша.

Теперь сын Акима уже окончил академию и получил назначение на работу — главным агрономом опорно-опытного хозяйства, созданного при колхозе «Большевик». Тамара в замужестве расцвела и еще больше похорошела. Дед не чает души в Андрюше, а мальчик растет бойким, но не балованным. В этот приезд Андрюша встретил меня возгласом:

— Вива Куба!

И тут же сообщил:

— А вчера дед вернулся...

Дальнее путешествие утомило Акима, но он был полон новых впечатлений, горячо рассказывал о Гаване, о поездке в Сантьяго, о встречах в дороге и на кубинской земле.

— Вы знаете, — говорил он, — обстановка там напомнила мне нашу молодость, первые годы после Октябрьской революции. Все ходят с оружием, митингуют, все будто охвачено каким-то огнем обновления. Мы, знаете ли, попали в один рыбацкий поселок. Раньше там были ужаснейшие халупы, вроде нашего шалаша. Теперь их

снесли и построили для рыбаков новые домики. На каждой двери написано: «Родина или смерть!» И я подумал: отнять у них новую родину, свободу уже невозможно. Конечно, им тяжело. В стране очень мало технической интеллигенции. Мы посетили текстильную фабрику. Там нет ни одного инженера. Директором работает художник. Еще недавно он был майором, личным адъютантом Рауля Кастро. Валентина Ивановна Гаганова спросила у него: «Вы знаете текстильное производство?» И он ответил: «Я знаю живопись и счастье борьбы за свободу!» Вот так, понимаете ли, все у них — на энтузиазме. Меня, конечно, интересовало сельское хозяйство на Кубе. В одном народном имении или, по-нашему, скажем, совхозе директором назначен совсем еще молодой человек, двадцати лет от роду. Революционный боец. Кубинские крестьяне работают пламенно. Лозунг «Родина или смерть!» выжжен у них на сердце. Но — тяжело, тяжело. Там ведь многие совершенно неграмотны. Взрослые люди, а — ни писать, ни читать...

— Может, гаванскую сигару выкурите? — предложил он. — Вот, на табачной фабрике презентовали. Мы там на митинге дружбы были. Аплодируют, кричат: Вива Советский Союз! Вива Куба!» А сигары, знаете ли, мне не особенно нравятся. Я привык к папиросам.

Вечером на Нечаевскую приехал председатель облисполкома Тихон Степанович Сушков. Он был по делам в Гусь-Хрустальном и, узнав, что Аким Горшков возвратился из заграничного путешествия, решил навестить его.

— Ну, каково настроение, Аким Васильевич? — спросил Сушков. — Интересно съездили, много повидали?

— Настроение хорошее и повидал я действительно много.

Он снова стал рассказывать о Кубе, угостил Сушкова гаванской сигарой, показал кубинские фотографии.

— Значит, все отлично, — сказал Сушков. — А вот горком партии выдвигает перед вами одну увлекательную задачу.

— Какая же это задача? — спросил Аким и постарался изобразить на лице своем любопытство, из чего я понял, что об этой задаче он уже осведомлен, но пока что не хочет высказать своего отношения.

Сушков также решил воздержаться от разъяснения и ответил:

— А вот завтра утром подъедем в Гусь и там потолкуем.

Утром отправились в Гусь-Хрустальный.

В детстве и юности, может быть, тысячу раз проезжал я и ходил пешком от Гуся к Нечаевской. Расстояние пятнадцать верст не бог весть какое, но по тем временам здесь была настоящая глушь. В низинке у ручья когда-то ютился разъезд Волчиха, названный так потому, что однажды волки напали здесь на путевого обходчика. Февральской ночью вышел он с фонарем проверить узкоколейный путь, и в полуверсте от дома на него набросилась волчья стая. Волки хозяйничали здесь, как хотели...

Как изменилась дорога теперь! Мы обогнали два рейсовых автобуса, несколько грузовиков. Какие уж там волки! Зайцев и тех распугала дорога. Только елочку лисьих следов заметил я в одном месте.

Возле самого города, справа от дороги, хуторком стояли строения.

— Здесь у нас новый свинооткормочный пункт, — пояснил Горшков. — Замысел, понимаете ли, такой: купим сотни две ведер, будем собирать в домах кормовые отходы, как это, знаете ли, делается в Москве, и получим почти даровой отличный корм для свиней.

— Неплохо придумано, — одобрительно сказал председатель облисполкома. — Значит, обеспечите город свиной?

— Постараемся...

Секретарь горкома, когда мы зашли к нему, сначала расспросил Акима Васильевича о поездке, а потом приступил к изложению «увлекательной задачи», о которой накануне обмолвился председатель облисполкома. Речь шла о том, чтобы присоединить к «Большевику» еще два отстающих колхоза, расположенных километров в сорока от Нечаевской.

— Возьмите, — уговаривал секретарь. — Тогда у вас земля, смотри, как раскинется, чуть ли не на сто километров. Разговору-то сколько будет: самый большой колхоз в области!

— Надо подумать да поглядеть, — уклончиво отвечал Аким. — Смаху решать не годится.

— Съезди, взгляни. Хозяйства вполне подходящие.

— Совсем развалились, скот от бескормицыдохнет, — заметил Горшков.

— А ты там бывал?

— Конечно, бывал.

— Тем более, возьми и поправь это дело.

— А это легко?

— Знаю, что нелегко, но ведь кому доверяем-то? Акиму Горшкову!

— Подумать надо.

Колебания Акима были понятны. Воссоединения с новыми хозяйствами сулили ему новые трудности. Еще недавно «Большевик» принял к себе маломощный колхоз деревушки Вековки. Решили создать там откормочный пункт для скота. Бригадиром назначили бывшего председателя Вековского колхоза Рыбина, человека угрюмого, обидчивого и трусоватого. Эти стороны характера Рыбина были известны Аким, и он не оставил бы его бригадиром, но райком подсказал, что нельзя же так вот свергать человека с ответственного поста. Пусть поработает бригадиром в сильном хозяйстве, глядишь, и перевоспитается. Но Рыбин продолжал работать, что называется, спустя рукава, разбазаривал колхозное сено, и председателю не раз приходилось вести с ним суровые разговоры, а он жаловался на Горшкова в райком, говорил, что Аким придирается к нему зря...

Нет, принять два новых хозяйства — это не просто присоединить к общим земельным владениям колхоза еще столько-то гектаров пашни, лугов и пастбищ и столько-то крестьянских дворов, но и взять на себя заботу о коренной перестройке характеров, привычек и всего быта этих селений.

Горшков хорошо знал колхозы, объединяться с которыми ему теперь так настойчиво рекомендовали. В одном из них, Тихановском, расположенном километрах в тридцати пяти от Нечаевской, ему уже довелось побывать. По количеству земельных угодий и даже по количеству скота Тихановский колхоз, охватывающий шесть селений, пожалуй, был равен «Большевику». Но по доходам, по организациям дела они несравнимы. Когда Аким, будучи в Тиханове, зашел на колхозную свиноферму, его взяла оторопь: тощие, голодные свиньи метались, как дикие.

— Кажется, вы новую породу вывели? — иронически заметил Горшков.

— Порода-то обыкновенная, да вот кормов не хватает, — отвечали ему.

— Что же так?

— Заготовили мало.

Не лучше обстояли дела и на молочно-товарной ферме. Колодцы, из которых брали воду, чтобы поить коров, замерзли. На водопой коров гоняли к реке. Но клонистый берег обледенел. Скользя по спуску, коровы рушились в прорубь. Чтобы уберечь их, перед самой прорубью поставили прясло. Теперь животным приходилось вытягивать шею над этим пряслом. Захватив глоток ледяной воды, коровы подымали головы кверху, как гуси.

— Эх, вы, хозяйева! — укоризненно сказал Аким. — Вас самих бы заставить так мучиться.

— Да ведь мы, Аким Васильевич, действительно мучаемся. Муки нет, а муки хватает, — невесело пошутил кто-то из тихановских.

Председателя Тихановского колхоза Зайцева Горшков не застал. Сказали, что он уехал на курорт поправляться.

Аким знал этого человека. Прежде он жил в Гусь-Хрустальном, чем-то заведовал в одном из районных учреждений. Но года три-четыре назад его вызвали в горком партии и предложили ехать на работу в деревню. Зайцев долго отказывался, но в конце концов согласился. Его сделали председателем Тихановского колхоза.

Колхоз был слаб, когда туда направили Зайцева, при нем же дело окончательно развалилось. Зайцев же только и думал о том, как бы вернуться в город. Деревенской работы он не знал и не любил ее. Здесь все ему было чужим, и сам он был здесь чужим. И вот теперь это хозяйство «свалили» Аким Горшкову.

Решиться принять его было нелегко. Горшков колебался и на уговоры секретаря уклончиво отвечал:

— Надо спросить, как колхозники думают.

13

В хмурый метельный день на Нечаевской хоронили Якова Федоровича Смирнова. В колхозе все звали его запростом — дядя Яша. Ему было уже под восемьдесят, но он все бодрился, лишь покряхтывал да покашливал, а в эту зиму вдруг расхворался, и в конце января пришла к нему тихая смерть.

Эта смерть глубоко опечалила Акима Горшкова. Казалось бы, что уж такого, ведь умер не молодой человек, а

старик, который отжил свое. И все-таки, узнав о том, что Яков Федорович приказал долго жить, Аким низко опустил голову и, тяжело вздохнув, вымолвил:

— Вот и нет с нами дяди Яши.

— Что же поделаешь, видно, время пришло, — утешительно сказал Романенко.

— Ах, время, время! — с горечью воскликнул Горшков. — Мириться-то с этим трудно. Ведь с самого зарождения коммуны дядя Яша шел со мной рядышком, рука об руку...

Хоронили Якова Федоровича всем колхозом. Проводить старика в последний путь собралась вся его большая семья, все родственники и простые добрые люди. Колкий снежок осыпал непокрытые головы мужчин, шали и платки женщин. Молча стоял Аким у свежей могилы, и крупные слезы катились по его морщинистому лицу.

Горько было ему думать о том, что один за другим необратимо уходят из круга живых верные, испытанные товарищи, с которыми начинал он большое трудное дело преобразования жизни.

В сорок третьем году на фронте, еще в расцвете сил, погиб самый младший из организаторов коммуны Сильвестр Смирнов. Вскоре после того умер старик Федор Гусев. А теперь и дяди Яши не стало.

С каждым из них Акима связывала многолетняя дружба. Иногда они, может быть, в чем-то и не соглашались друг с другом, случалось даже, что ссорились. Но это были мелкие ссоры. В главном же все они жили одним. Думы и заботы у них были общими, и они привыкли верить друг другу, и в трудные минуты каждый из них мог рассчитывать на другого, как на самого себя.

Чем был бы Аким Горшков один, без этих верных товарищей, и что мог бы он сделать? Они были его постоянной опорой во всех делах. Вот почему грустно было старому председателю думать о том, что уже добрая половина из тех кремнево-крепких товарищей, с которыми начинал он строить коммуны, закончили свой жизненный путь и навеки ушли от друзей в землю, на которой они так самоотверженно, так тяжело потрудились.

Но в трудной жизни, как в бою: на место ослабевших и павших становятся новые люди, и начатое дело продолжается...

Вскоре после смерти Якова Федоровича собралось засе-

дание правления колхоза. В просторном кабинете председателя за длинным столом разместились те люди, которым доверено управление большим и сложным хозяйством.

Справа от Акима сидел Иван Федосеевич Романенко, добродушный с виду, но хитроватый украинец, первый заместитель Горшкова. Рядом над протоколом склонился секретарь правления Иван Яковлевич Смирнов, старший сын покойного дяди Яши.

Двадцать пять лет назад, когда Ивана Яковлевича впервые выбирали секретарем, его называли еще «молодым Смирновым». Теперь и ему уже под шестьдесят.

Тут же, бок о бок с секретарем, сидела молодая, розовощекая Юлия Смирнова, знаменитая доярка, которую в колхозе уважительно называли старшим техником доильного зала. Впрочем, она и в самом деле была не просто дояркой, а ведала всей техникой электродойки.

Рядом с ней уместился головаревский бригадир Сергей Коробов, дальше, в позе суриковского «Меньшикова в Березове», слегка откинувшись к спинке стула и выставив вперед крутой, щетинистый подбородок, восседал высокий, массивный Кондратий Иванович Иванов.

Напротив них сидел грузный, бородатый, похожий на Илью Муромца Борис Ильич Левочкин, бригадир механической бригады и он же заместитель секретаря колхозной партийной организации Василий Улыбин, бригадир Леонтий Зверев...

На заседании присутствовали также председатель ревизионной комиссии Иван Федорович Гусев, главный инженер колхоза, но по возрасту совсем еще молодой человек Владимир Манаев и еще несколько работников административного аппарата.

Обсуждался годовой производственно-финансовый план колхоза.

Старший бухгалтер-экономист, высокий, лысоватый старик, доложил проект этого плана, уже обсуждавшийся и, как он выразился, откорректированный в бригадах. В строгих колонках цифр было предусмотрено все — и структура посевных площадей, и графики использования техники, и затраты на удобрения почвы, и необходимые строительные работы, и распределение рабочей силы колхозных бригад. Но каждую цифру снова и снова «обкатывали», раскрывали смысл этой цифры, уточняли предназ-

начение рубля, который предполагалось получить и затратить.

Дядя Борис Левочкин спросил, предусмотрены ли затраты на ремонт сбруи и прочего инвентаря для гужевого транспорта. В последнее время Левочкин занимал в колхозе должность старшего конюха, и хотя теперь был уже на пенсии, но заботы о том, чтобы на конном дворе все было в порядке, не оставляли его.

— А то ведь машины машинами, а и без конного транспорта в наших условиях не обойдешься, — наставительно сказал он, тряхнув бородой.

Суровый Кондратий Иванович, болеющий за успехи своей полеводческой бригады, задал вопрос: достаточно ли выделено средств на приобретение химических удобрений.

— Двадцать семь тысяч семьсот рублей, — ответил бухгалтер-экономист, заглянув в бумажные простыни плана.

Иванов задумался, пожевал губами, рассчитывая стоимость удобрений и площади пашни.

— Думаю, что этого хватит, — сказал он, кивнув массивной седой головой.

Василий Улыбин заметил, что если не сейчас, то хоть в будущем году надо строить механическую мастерскую.

— Старееет техника, — сказал он, — требует ремонта и обновления, а базы для ремонта у нас еще нет. Городские предприятия заламывают огромную цену. Черт знает что такое! Учреждения «Сельхозтехники» совершенно беспомощны. Они тоже дерут с колхозов и пока еще очень мало дают им. «Куда податься бедному крестьянину?» — закончил он фразой из кинофильма «Чапаев» и усмехнулся. Присутствующие на заседании засмеялись, согласно закивали головами, принимая добрую шутку бригадира механизаторов.

Горшков, глядя на своих товарищей, слушая их, думал о том, что все-таки сила колхоза растет. И сила эта прежде всего в людях, живущих интересами коллектива, которые неразрывно связаны с интересами всего государства.

После обсуждения производственно-финансового плана перешли к неприятному «персональному» делу. Председатель ревизионной комиссии Гусев доложил, что на складе обнаружена недостача некоторых материалов. Иначе говоря, кладовщик проворовался. Причиной того, как полагает комиссия, явилось его безудержное пьянство.

На заседание вызвали кладовщика. Вошел коренастый,

нагловатый парень с оплывшим лицом. Выслушав претензии и обвинения, он уставился глазами в пол и буркнул:

— Не признаю. Что беспорядок на складе, от этого я не отказываюсь, а прочего не признаю.

— Ладно, — сказал ему Гусев. — Вот ты свой дом ремонтировал и краску, олифу, обои брал со склада без всяких документов. Было такое дело?

— Это я признаю.

— Между прочим, у вас обнаружилась недостача трансформаторного масла, — сказал Горшков, заглянув в лежащую перед ним материальную ведомость.

— Масло я тоже могу признать.

— Что же, ты с кашей его ел или пятки смазывал? — спросила Юлия Смирнова, и все улыбнулись.

— А вот какие подробности выясняются, — заметил Горшков. — Установлено, что в Ерлицкой церкви поны торговали трансформаторным маслом. Они продавали его вместо лампадного. Интересно, где поны доставали это масло?

— Это мне неизвестно.

— Может быть, Госплан наряды им выделил? — усмехнувшись, сказал инженер.

— И этого я не знаю, — ответил кладовщик.

— А на какие деньги ты каждый день водку хлещешь? — строго спросил его Борис Левочкин.

— Это уж мое личное дело, в своих деньгах я никому не подотчетен.

Разбирать проступок кладовщика было неприятно, как неприятно бывает прикоснуться к чему-то липкому, грязному. Сам же кладовщик сначала держался нагло и грубо, потом стал юлить, изворачиваться, а под конец изобразил раскаяние и, обращаясь к членам правления, говорил:

— Признаюсь, оступился...

— Что же будем делать, товарищи? — спросил Горшков. — Каково предложение ревизионной комиссии?

— С работы снять и дело передать прокурору, — ответил Гусев.

— Будьте снисходительны, — попросил кладовщик, глядя на Кондратия Иванова.

Кондратий был суров только с виду, характер же у него уступчивый, даже мягкий. Его нетрудно разжалобить, расположить к себе.

— Может, проявим, товарищи? — нерешительно сказал он.

— Что проявим? — блеснув стеклами очков, спросил председатель.

— Ну, как это говорится, — гуманность, что ли. То есть, снисхождение.

— Не согласен! — жестко сказал Аким. — Многое можно простить, но когда человек обманывает и обворовывает общественное хозяйство, этого, Кондратий Иванович, я простить не могу. Этого мне совесть моя не позволяет, — он вытянул руку, указывая на портрет Ленина, висевший в простенке между окнами, и повторил: — Совесть моя..

По натуре своей Аким Горшков тоже был отзывчивым. И если случалось, что кто-то из товарищей или даже из людей, малознакомых ему, попадал в беду, он делал все, чтобы выручить, поддержать человека. Но если он видел, что кто-то старается обмануть коллектив и чем-то подрывает устой общественного хозяйства, тут был он непримирим и даже жесток.

— Не могу простить! — упрямо говорил он.

Председателя горячо поддержал секретарь партийной организации Василий Улыбин.

— Как зеницу ока должны мы хранить и укреплять честность в общественных отношениях. В этом вижу я залог нашей силы, — сказал он. — А твой гуманизм, Кондратий Иванович, тут выглядит просто слабостью.

В том же духе высказались и остальные члены правления. В конце концов и Иванов, как бы оправдываясь, сказал:

— Ведь у меня тоже против таких людей душа возмущается. Вот, — продолжал он и протянул над столом свои большие руки с коряво растопыренными, узловатыми пальцами, похожими на корни старого дерева. — Вот руки мои. Разве для того, не зная отдыха, подымали они землю, ставили хозяйство, чтобы какой-то сукин сын стал бессовестно разворовывать наше добро? В общем, товарищи, и я полностью с вами согласен.

Решение приняли единогласно.

Приближались выборы в Верховный Совет СССР. Акима Горшкова выдвинули кандидатом в депутаты Совета Союзов от Гусь-Хрустального избирательного округа. Вскоре ему пришлось ехать в город на собрание, посвящен-

ное встрече со своими избирателями. В эту поездку он пригласил и меня.

На собрании выступали алмазчик хрустального завода, работница прядильной фабрики, секретарь райкома партии, пожилая учительница и многие другие. Все они говорили о своем кандидате с большим уважением, подчеркивали его организаторский талант, прямоту и сердечность. Выступил с речью и сам Горшков. Он поблагодарил за доверие, рассказал о том, как живет и работает колхоз «Большевик».

Собрание кончилось поздно, и секретарь райкома уговаривал нас с Акимом остаться ночевать в Гусь-Хрустальном. Но Горшков торопился домой на Нечаевскую.

— Нет-нет, — сказал он, — тут и ехать-то пустяки...

Колхозная «Волга» мягко неслась по гладкому зимнему большаку. С обеих сторон к широкой просеке подступал темный заснеженный лес. Иногда в пучке света, отбрасываемого сильными фарами, мелькали полосатые столбики и перила мостов.

Горшков сидел молча, устало прикрыв глаза.

— О чем задумался? — спросил я.

Он глубоко вздохнул.

— Забот прибавляется, а силы па убыль идут. Вот теперь Тихановский колхоз принимать придется. Значит — новые хлопоты.

Он достал из кармана пачку папирос, закурил и продолжал:

— Всю жизнь, знаете ли, мечтал я о том, чтобы преобразить нашу бедную землю. Раскорчевать вырубки, облагородить болота. Пашню собрать в большие массивы, чтобы машинам было где разгуляться. Центральную усадьбу сделать настоящим сельскохозяйственным городком.

— Заманчиво.

— И ведь стремимся мы к этому, сил не жалеем. А тут — принимайте, пожалуйста, Тихановских... Сообщил я об этом своим колхозникам, так они в один голос: «Это что же, говорят, значит, опять чужой воз из ухаба вытягивать? У нас и своих забот хватит». И я понимаю их, но ведь коммунизм не на одной Нечаевской строить надо. Это, знаете ли, дело громадное, и каждый должен в нем свою позицию видеть. Вот в программе партии поставлена задача — увеличить общий объем продукции сельского хозяйства за десять лет примерно в два с половиной раза, а

за двадцать лет — в три с половиной. Это даже от нашего, передового хозяйства потребуют. А ведь наряду с передовыми есть еще очень много хозяйств отстающих, слабеньких. И, к сожалению, никто у нас не задумывается над тем, почему, например, один колхоз производит мясо по сто центнеров на сто гектаров пашни, а соседний с ним — в два, а то и в три раза меньше. И никто за это не отвечает... А ведь на жизнь-то по-хозяйски надо глядеть, чтобы перспективы ясные были...

Папироска у него погасла, он снова раскурил ее и после некоторого молчания продолжал:

— Вы, конечно, знаете, что заводы и фабрики Гусь-Хрустального и Курлова живут исключительно на торфяном топливе. А сейчас к нам ведут газопровод, и скоро промышленные предприятия целиком перейдут на природный газ. Использование торфа как топлива сократится: Что же будет с огромными торфопредприятиями, которые здесь существуют десятки лет? Законсервировать их? У нас в районе многие думают, что именно так и будет. А я, знаете ли, считаю, что это было бы неразумно. На базе торфоразработок, которые будут уже не нужны заводам и фабрикам, можно организовать производство воликолепнейших и очень дешевых удобрений, скажем, торфяного компоста, а также торфяной подстилки для скотных дворов. Организовать такое производство нетрудно, а польза будет огромная. В течение нескольких лет можно так облагородить пахотную площадь районов, что сельское хозяйство расцветет здесь с невиданной силой!

— Мечтатель, — сказал я.

— Манилов, что ли? — усмехнулся Горшков.

Нет, назвать его Маниловым было бы несправедливо. Он человек практической складки и твердо, обеими ногами стоит на земле. Мечта его пахнет не фиалками, а крепким соленым потом, свежей бороздой, парным молоком и хлебом. Он знает цену высоких слов и тяжелой работы. Светом его мечты озаряется живое прочное дело.

Так думалось мне, а Горшков умолк и только поныхивал папироской.

Миновали Волчиху, проехали речку Мокшар, обрамленную мелким осинником. Впереди над лесом ясно обозначилось зарево электрических огней, сиявших на центральной усадьбе колхоза...

В конце февраля вдруг завьюжило, заметелило. С неба два дня сыпало крупными хлопьями. На заборах, на ветках деревьев лежали заячьи шапки снега: казалось, что настоящая зима только начинается.

Но снег был сырой, тяжелый, и деревенские старики, глядя на февральскую метель, предрекали:

— Это не надолго.

И верно, первые мартовские дни пахнули теплом. Небо очистилось, засияло яркой голубизной. Под окнами и у крылечек дробно зазвенела капель. На протоптанной площадке возле коровника бойчее захлопотали старые растрепанные воробьи. Сороки беспокойнее заметались над пряслами огородов.

Из леса потянуло влажным, чуть горьковатым запахом оттаивающих деревьев.

Весна была еще далеко. Она еще прихорашивалась на Кубани или где-то в низовьях Дона, чтобы начать оттуда свое шумное шествие, но уже и здесь, в Мещере, все просыпалось и тянулось навстречу ей. Это было еще неполное пробуждение: поля еще дремали под снегом и лес не сбросил оцепенения зимней поры, но что-то волнующее угадывалось в теплом дыхании марта...

Все эти дни Аким Горшков был занят тем, что разъезжал по городам и поселкам избирательного округа, встречался с людьми, которые вверяли ему свои думы, мечты и надежды как будущему представителю высшей законодательной власти страны.

И хотя эти разъезды для него, уже немолодого человека, были утомительны, встречи и беседы с избирателями давали очень много в смысле более ясного понимания их стремлений, забот и надежд.

В колхозах, где случалось бывать Акиму Горшкову, разговор неизбежно заходил о земле, о том, как лучше, разумнее хозяйствовать на ней, чтобы она давала обильные урожаи. К нему обращались за советом, выкладывали ему свои обиды и жалобы...

Скоре после выборов Аким Васильевич приехал в Москву. Мы встретились с ним в гостинице, и на мой вопрос: «Что нового?» — ответил:

— Ну вот, понимаете ли, избрали меня депутатом Верховного Совета СССР. Честь большая, но и забот в связи с этим прибавится. Это уж факт. В колхозе тоже много нового. Тихановское хозяйство к себе принимаем.

Уже и решение состоялось. Земли теперь у нас будет около четырех тысяч гектаров.

— А не потянет это вас из высшего класса назад?

— Постараемся, чтобы не потянуло. Лучше уж мы их из приготовительного до высшего будем подтягивать.

Я спросил у Акима Васильевича, долго ли он пробудет в Москве.

— А завтра же и домой, — сказал он и объяснил: — Задерживаться нельзя, весна подступает.

В открытую форточку с улицы тянуло влажным теплом. Приближение весны угадывалось даже здесь, в городе. А Аким Горшков всеми помыслами своими был уже там, на весенних полях колхоза. Весна властно звала, возбуждала его. Она приближалась к нему новыми большими заботами, хлопотами, днями, которые в горячей работе мелькают неуловимо, как отблеск зарницы. Но он любил эту трудную, тяжелую, пахнущую талой землей, свежей пронзительной зеленью распускающихся деревьев, дымком тракторов и горячим потом весеннюю пору светлых надежд. Он любил ее, как только может любить человек, выросший на земле, которая стала для него доброй матерью.

14

Давно уже испытываю я соблазн написать о полесниках, то есть о сторожах Мещерского леса. Но меня удерживает от этого одно обстоятельство: чудесный художник слова К. Г. Паустовский, а до него еще и А. И. Куприн так живо и вдохновенно писали на эту тему, что я не отваживаюсь повторить сделанное первоклассными мастерами. И все же я не могу не рассказать здесь о встрече с одним необыкновенным полесником.

Километрах в тридцати от Нечаевской есть «Дедовская стража» — небольшой домик, в котором живет мой давний знакомый Андрей Егорович Стрельцов. Мы не виделись с ним уже несколько лет, а он все приглашал приехать, пожить хоть недельку в его заповедных местах, и, наконец, я собрался.

Из Москвы до Дедовской стражи удобнее всего ехать по Казанке — до разъезда Вековка. В четырехместном купе жесткого вагона кроме меня оказался только один пассажир. Это был еще не старый, но совершенно седой

человек в синем летнем кителе без погон, но с серебряными крылышками па рукаве и с пестрым набором орденских ленточек, над левым нагрудным карманом. Мы, как водится, разговорились. Я сказал, куда еду, а он сообщил, что знает Стрельцова и даже служит в одном с ним ведомстве.

— Насколько я понимаю вы — летчик?

— Совершенно верно.

— А при чем тут лесное ведомство?

— Я летчик лесной авиации.

— Но, видимо, и на войне побывать пришлось? — спросил я, указав глазами на планки орденских ленточек.

— Пришлось.

Оказалось, что во время войны он летал на штурмовом самолете. Но в сорок четвертом году на Висле, под Сандомиром, его подбили. Обожженный и дважды раненый, он камнем падал на продырявленном парашюте, разбился.

— Тогда-то и поседел, а ведь в свое время был черным, как жук, — с горькой усмешкой сообщил летчик.

Четыре месяца пришлось пролежать ему в госпитале во Львове.

— А выписали и демобилизовали «по чистой». Назначили пенсию. Существовать было можно, но скучно. Попросился в гражданку. Сначала все отговаривали, а потом направили летчиком лесной авиации.

— Что ж вы там делаете?

— Что делаем? Во-первых, патрулируем над лесами. Попросту говоря — сторожим. Во-вторых, ведем химическую защиту от всяких гнусных вредителей. В-третьих, хоть и нечасто, но все же бывают «чп» — лесные пожары — и тут уж мы превращаемся в огнетушителей. Вот так...

К Вековке поезд подошел ночью. Мы распрощались с летчиком. Но я даже не спросил, как его зовут, а он, видимо, не счит нужным представиться.

Переждав на разъезде часа полтора до рассвета, я по холодку пошел к Дедовской страже.

Маленький домик Стрельцова стоит на полянке в окружении старых могучих сосен, которые почему-то называются здесь маяками. По фасаду перед двумя окошками тычками возвышаются цветущие мальвы. За домом, огороженная березовым пряслом, тянется посадка кар-

тофеля, а поближе к жилью зеленеют грядки укропа, свеклы и даже гривка кукурузы. Это хозяйство Марии Сергеевны, жены лесника.

Я не преминул спросить ее:

— Кукуруза-то, видно, дань времени?

— Андрею поправилась, — сказала она. — Как поспеют початки, так с солью в чугушке сварю ему, он ест да похваливает.

— И вызревают?

— А чего же. Початка четыре с каждого стебля берем. Земля-то у меня ведь как пух.

Было когда-то на Дедовской страже шумно и весело. Росли ребятишки Стрельцовых — Костя и Игорек. Коренастые, широколобые, с бойкими, чуть в зеленцу глазами — оба в мать. Хаживал я с ними по вешним местам. Была им знакома тут каждая тропочка, с каждым деревом был у них дружеский разговор.

— Теперь разлетелись, — с грустинкой говорит Мария Сергеевна. — Константин во Владимире учится, а Игорек в Сибирь на какую-то стройку махнул. Редко родительское гнездо навещают. Одни мы тут с мужиком. Хорошо еще хоть радио есть. Включишь — и кажется, что живешь на народе.

— Нынче, отдыхай, а завтра утречком я тебе охоту свою покажу, — пообещал Стрельцов, лукаво прищурившись.

— Что за охота?

— До времени умолчу. Сам увидишь.

— Небось в Мокшару подадитесь? — усмехнулась Мария Сергеевна.

— Ты, мать, не открывай моего секрета.

— Ладно уж, не открою.

На следующий день Андрей разбудил меня чуть за синело утро. Быстро собрались в дорогу. Вышли. Миновали сосновый бор, поросший сизым мохом, пружинящим под ногами, будто резиновый коврик. Потом по какой-то петляющей тропочке шли через частый ельник. Стрельцов, слегка сутулясь, уходисто, споро шагал впереди меня. Я видел его затылок, заросший мягким курчавым волосом, и кирпично-загорелую шею, изрезанную сеткой мелких морщинок.

За ельником потянуло болотной влагой. Ключья тумана висели на кустах орешника. Мы, как я догадался,

приближались к лесной речке Мокшар. Стали чаще попадаться проталины, заросшие пестрым цветным разнообразьем, густо обрызганным капельками росы.

На выходе к одной из полян лесник дал рукою знак: «Потише» — и остановился.

— Тут, — одними губами сказал он и строго взглянул на меня.

Мы остановились. Солнце уже начало подыматься где-то за лесом, и первые лучи его, а может лишь розоватые отблески первых лучей, заиграли в позеленевшем небе.

Стрельцов чутко прислушивался и вдруг, осторожно коснувшись меня рукою и поведя глазами, предупредил: «Вот оно»... И тут на открытую перед нами полянку вышел головастый лосенок.

Я впервые так близко видел детеныша лося. Он порастил меня несообразностью пропорций своего тела: огромная, как показалось мне, голова, длинные ноги и очень короткое туловище. Но было в лосенке что-то очень детское, нежное. То ли чуть влажные губы, то ли светлые, мокрые от росы чулочки на тонких ногах, то ли маленький хохолок рыжеватых волос на хребте, чуть повыше лопаток.

Лосенок вышел на полянку и оглянулся, словно ждал кого-то еще, и недоумевал: почему там задерживаются? Стремясь разглядеть лосенка получше, я осторожно отвел рукою ветку орешника. С нее упало несколько капель росы, и вдруг в противоположном конце поляны, откуда только что появился этот детеныш лося, что-то фыркнуло, зашумело, я увидел темное метнувшееся пятно, и лосенок мгновенно исчез, как-то боком ударившись в чащу.

— Спугнул, — осуждающе сказал мне полесник. — Это лосиха тебя учуяла. Лоси ведь очень чутки. Ко мне-то они уж привыкли, а ты — чужой.

— Это и есть твоя охота?

— Ага, — кивнул головою Стрельцов и улыбнулся.

— Четвертый год у меня на кордоне живут уже семеро. Нынче еще два лосенка. На зиму я им даже сенца запасаю. Два стожка ставлю тут вот на Мокшаре. А молоденькие правда забавны?

Он весь светился мягким утренним светом. Вокруг его карих глаз разбежались лучики морщинок, и губы расплывались в улыбку.

— И понимаешь, до чего же доверчивы. Осенью они прямо к сторожке выходят. Мама подкармливает их ого-родипой. Едят, подлецы.

К полудню мы вернулись домой на стражу и тут же услышали стрекот мотора. Над соснами, обступившими домик, появился маленький самолет, из тех, что во время войны получили прозвище «кукурузников». Самолет сделал над сторожкой два круга, сбросил вымпел и, покачав крыльями, ушел в сторону.

Вымпел упал в траву недалеко от колодезного сруба. Подбрав его, Стрельцов обнаружил записку — листок из блокнота. Там было несколько слов: «В квадрате 18—34 ребяташки балуются с огнем. Проследи. Привет гостю».

— Это Юрка Баканов, — сказал лесник. — Но как же он узнал, что у нас гость?

Я рассказал о дорожной встрече.

— Седой? Ну, конечно же Юрка Баканов! — и вдруг засмеялся.

— Ты что?

— А помнишь, — начал он, — помнишь, как над нашим городишком первый самолет пролетал? Все высыпали на улицы: диво-то какое! Когда это было? Думается, в двадцать четвертом году. А теперь вот, поди-ко, и у нас в Мещере свои воздушные лесники появились. Между прочим, самый удобный способ наблюдения. Ему с высоты видно все и в больших, и в малых пространствах...

15

Самые удивительные черты жизни заметнее всего раскрываются на дорогах. Не потому ли рассказы путешественников всегда любопытны и привлекательны? Недаром же такие дорогие нам книги художников русского слова, как «Мертвые души» Гоголя или «Записки охотника» Тургенева, построены преимущественно на дорожных встречах и впечатлениях.

И разве сама жизнь не есть дорога в бесконечное будущее?

Для меня она началась на нашей Зеленой ветке и потом повела в города, проколесила по всей Европе, дважды водила через Атлантический океан, дала побывать у берегов Японского моря, но снова и снова влекла в родные места, чтобы мог я здесь встретить и каждой кро-

винкой ощутить новое, невиданное и несравнимое с тем, что запомнилось с юности.

И вот мне вдруг захотелось снова проехать по Зеленой ветке на паровозе, как ездил когда-то, будучи помощником машиниста. Я пришел к заместителю начальника Владимирского отделения Горьковской железной дороги инженеру Гуменному и попросил предоставить мне такую возможность.

— Вообще-то проезд на локомотиве посторонним лицам не разрешается, — строго сказал Гуменный. — Но я ведь тоже начинал свой путь помощником машиниста, и мне понятно ваше желание. Ладно, в три часа ночи отправляется товарный на Туму. С ним и поедете.

Ночью, поживаясь от весенней предутренней свежести, мы идем с главным кондуктором Родичкиным через станционные пути к паровозу «ЭХ-32». Он стоит уже наготове, могучий, пышущий паром. Прежде здесь таких не было. Я-то ездил еще по узкоколейке, на старой «кукушечке». Маленький паровозишко едва-едва выжимал по двадцати километров в час. Но и позже, когда узкую колею заменили широкой, по Зеленой ветке ходили еще долго «свечки», старые, малосильные локомотивы серии «О».

В справке, которой предупредительно снабдили меня в управлении дороги, было сказано:

«За последнее время участок Владимир — Тума получил тяжелый тип рельсов, что позволило заменить маломощные паровозы серии «О» на более мощные серии «Э» и увеличить скорость движения с 30 до 50 километров, а также поднять вес поездов с 650 до 1400 тонн.

Вследствие роста промышленных предприятий на данном участке потребовалось построить подъездные пути, примыкающие к станциям Гусь-Хрустальный, Великодворье, Курлово, Комиссаровка, Улыбышево, а развитие населенных пунктов вызвало необходимость назначить постоянное пригородное сообщение на перегоне Владимир — Улыбышево.

Участок Владимир — Тума обслуживается опытными руководителями железнодорожного транспорта. Так, коллектив станции Великодворье, возглавляемый начальником товарищем Липатовым, в апреле сего года получил переходящее Красное знамя отделения, заняв первое место в соревновании станций,

Телефонный способ сношения по движению поездов на участке теперь заменен более совершенным — жезловым, а на перегоне Владимир — Улыбышего введена полуавтоматическая блокировка».

Уже эта короткая официальная справочка говорила о значительных переменах, но мне хотелось увидеть их своими глазами.

Взявшись за поручни, я поднимаюсь в паровозную будку, предъявляю документы механику Соколову, а он знакомит меня с помощником, и — о, чудо! — уж не с юношью ли своей повстречался я снова: молоденького помощника машиниста зовут так же, как и меня, — Виктором и вдобавок Васильевичем. Он так же, как и я когда-то, занимает свое место у левого окна паровозной будки, лишь временами отрываясь, чтобы взглянуть на пламя, kloкочущее в топке котла...

Главный дает отправление. Громяхая на станционных стрелках, поезд выходит на Зеленую ветку. И вот, как прежде, с обеих сторон подступает к линии буйная заросль мещерского леса, мелькают переезды и будки, мосты и лесные станции. Перед Улыбышевым в глаза бросается старый знакомый дуб-раскоряка. Так же стоял он и в давние времена, поднимаясь двумя могучими шапками над чащей орешника. И кажется, что ничего здесь не изменилось. И вдруг сразу за дубом открылась широкая просека, а по ней, напрямик через лес, шагают мачты высоковольтной электрической передачи.

На закруглении я оглядываюсь на длинный состав разномастных вагонов.

Что мы возили здесь в прежнее время? Лес и стекло. Теперь в нашем поезде платформы, груженные владимирскими тракторами, вагоны с цементом, люберецкий песок для хрустальных заводов, автопокрышки.

На промежуточных станциях идет отцепка и прицепка новых вагонов. Под навесами станционных пакгаузов громоздятся контейнеры, ящики, корзины, бочонки с надписью: «Живица». На одном из разъездов берем две четырехосные платформы, накрытые брезентом.

— Что здесь? — спросил я у главного.

— Химия, — коротко, но значительно сказал он.

Слева, окруженный сосновым леском, мелькнул знакомый поселок Дубасово. Давным-давно, в самом начале девяностых годов прошлого века, в здешнюю школу при-

ехал новый учитель Иван Павлович Чехов. Девственная, нетронутая красота мещерской природы очаровала его. Об этом писал он в Москву своему брату Антону.

Зимой 1891 года Антон Павлович сообщил ему: «В марте приеду к тебе встречать весну...»

Удалось ли писателю исполнить это намерение? Не знаю. Ведь в самом начале марта он выехал за границу. А у Ивана Павловича в Дубасове начались неприятности. Он не поладил с попечителем школы и вскоре переехал отсюда...

Сразу же за Дубасовом — не успели и оглянуться — из-за бронзовых сосновых колонн, будто свет зарницы, полыхнувшей невесть откуда, открылся город детства и юности — Гусь-Хрустальный. Все воспоминания ожили с новой, волгующей свежестью. Все струны отозвались в душе.

Вот оно, футбольное поле на старой вырубке, куда приходил я с мальчишками гонять кожаный мяч. А вот мостик с бетонной трубой для стока весенней воды. Кругом поднялись кусты ольшаника. Как самозабвенно, как пленительно распевали здесь соловьи. Работая на торфяном болоте, я каждое воскресенье приезжал в Гусь, а в ночь на понедельник уходил на болото пешком, чтобы успеть к утренней смене. И здесь, у этого мостика, меня встречал неповторимый раскат соловьиного пенья. Я останавливался, смущенный и зачарованный, чтобы переждать стремительный ливень свиста и щелканья...

А вот уже ближняя роща и та береза с двумя макушками. Однажды пасхальной ночью семнадцатилетний мальчишка в кожаной курточке и кожаной же фуражке, сдвинутой набочок, пришел сюда с девушкой. Я думаю, что им было неловко и сладко от близости, и они больше молчали, чем говорили. И о чем они говорили, уже не помню теперь. Но вот мальчишка спросил ее: «Холодно? Давай я укурю тебя тужуркой». И они укрылись одной тужуркой, теснее прижавшись друг к другу. — «А стенгазету мы все-таки выпустим, — сказала она. — Завтра ее вывесят на площади возле Дома коммуны». «Ты — умница. Я тебя сейчас поцелую», — сказал мальчишка и ткнулся горячими губами куда-то возле носа девчонки. «Не смей!» — закричала она, сорвала с его головы фуражку, бросила в сторону и побежала. «А-а, черт с ней, с фуражкой, — подумал он, устремляясь за девушкой. Он

догнал ее возле вот этого телеграфного столба с подпоркой. Она стояла и плакала, заслонив лицо ладонями рук. «Ну, что ты, — виновато проговорил он. — Ведь я вовсе не хотел обидеть тебя. Ведь я, ты понимаешь... Люблю...»

Потом они ходили по дышащей влажной земле и вместе искали его фуражку.

Боже мой, как давно это было!

И я не знаю даже, что теперь с этой девушкой...

— Раньше, — кричу я на ухо своему тезке, помощнику машиниста, с которым еду теперь, — раньше паровозникам выдавали спецодежду — кожаные тужурки и такие же кожаные фуражки.

— Это здорово! — отвечает он мне.

На станции Гусь у нас скрещение с пассажирским. Приходится ждать, пока подойдет он со стороны Окатова. Механик достает из дорожного саквояжа хлеб, печеные яйца, кусок колбасы, плавленые сырки в серебристой обертке и предлагает позавтракать. За едой завязывается разговор. Оба паровозника — машинист и помощник — тумские. У нас есть общие знакомые. Оказывается, Соколов знает техника Ликина, слышал про Афанасия Кирюшова. Но по отношению к последнему механик настроен критически:

— Колхоз-то у него крепкий, да сам Кирюшов за последнее время стал плоховат.

— Старееет, что ли?

— Нет, зарывается. Возгордился. Почувствовал себя гусем, а остальные кругом вроде как кулички. По-моему, это уже никуда не годится. Если ты герой, то и сам шагай, и других веди за собою. Вот представьте себе, в депо у нас шестьдесят паровозных бригад. И, допустим, только одна отличная, а остальные, как говорится, не шьют, не порят. Грош цена тогда и этой отличной бригаде.

— Да ведь каждому — до себя.

— Э-э, нет! Отношения должны быть другими, — горячо возразил Соколов. — Я вам сейчас один пример приведу. Недалеко от Окатова есть будочка путевого обходчика. Стоит она в полосе отчуждения. Кругом лес, деревень близко нет. И в этой будочке у обходчика растет несчастный ребенок, девочка. Ей уже одиннадцатый год, а она больная — костный туберкулез. В школу, конечно, ходить не может. И вот узнает об этом обстоятельстве

Аким Горшков, председатель колхоза. Ну, кажется, что ему до чужого ребенка? А между тем он сговаривается с учителями и четыре раза в неделю возит их на колхозных лошадях к этой будке, чтобы они занимались с девочкой. Вот каковы должны быть отношения. Правда, это не к работе относится, но в жизни, дорогой товарищ, одно цепляется за другое...

Завтрак кончился, пассажирский проследовал на Владимир, открыв нам путь, и снова по сторонам дороги зеленым хороводом плывут молодые березки, темнеет стена частого ельника, белокипеным цветом бушует калина.

Мы уже проехали будочку путевого обходчика, где живет больная девочка. Справа за грядю деревьев высятся новые стройки колхоза «Большевик» — хлопоты неутомонного и неутомимого Акима Горшкова. Впереди показалась кирпичная труба Курловской гуты.

— В Курловске нас ждет маневровая работенка, — предупреждает механик.

— Что же там делать-то? Ведь это совсем небольшой поселок.

Соколов смеется:

— Вы прежними мерками меряете. За эти годы поселок разросся. Там теперь такой заводище стеклянного волокна строится, что только поспевай грузы подбрасывать.

У семафора он дает протяжный свисток, повестку, что прибыли, и, как бы между прочим, сообщает:

— Я слышал, будто курловские товарищи хлопочут о том, чтобы поселок их сделали городом и дали ему новое имя — Мещерск. Как считаете — могут?

— Почему бы и нет?

Мы подъезжаем к станции. А что если и в самом деле, через год-два, приехав сюда, я увижу другую вывеску над станционным зданием: «Мещерск»?..

На остановке Виктор, взяв молоток, спускается из будки и простукивает клинья и гайки дышлового сцепления: все ли в порядке? Я вместе с ним обхожу вокруг паровоза.

От железнодорожного полотна пахнет мазутом, горячим железом и шлаком, тем неповторимым запахом станционных путей, который вошел в мою память с раннего детства. И лесом пахнет. Молодым березовым лесом, вплотную подступившим к станции...

Я спрашиваю у своего тезки — давно ли он ездит по-мощником?

— Нет, — отвечает он, — я ведь всего полгода как вернулся из армии. Служил в Закавказье. И после армии можно было остаться там, а меня вот сюда потянуло. Знаете, все-таки родные края. Ведь мне здесь каждая веточка дорога и знакома.

«Веточка!» — повторяется во мне, и я спрашиваю:

— А любимая есть?

Виктор густо краснеет: видимо, он понял меня так, что я спрашиваю, есть ли у него здесь любимая девушка?

— Есть, — говорит он.

А я думаю о другом, о той любимой веточке, которая вот уже сколько лет манит меня к себе и будет манить постоянно, и на память мне снова приходят слова, которые взял я и вынес в эпиграф к этим запискам:

«На первый взгляд это тихая и немудрая земля под неярким небом. Но чем больше узнаешь ее, тем все больше, почти до боли в сердце, начинаешь любить эту обыкновенную землю. И если придется защищать свою родину, то где-то в глубине сердца я буду знать, что я защищаю и этот клочок земли, научивший меня видеть и понимать прекрасное, как бы невзрачно на вид оно ни было, — этот лесной задумчивый край, любовь к которому не забудется, как никогда не забывается первая любовь».

1962—1965

АЛМАЗНАЯ ГРАНЬ

*Будто свет зарницы дальней
Над мещерской синей ранью,
Дивный город Гусь-Хрустальный
Мне сверкнул алмазной гранью.*

1

Есть в Мещерской стороне городок со сказочным названием: Гусь-Хрустальный. Там живут великолепные мастера стекловары, стеклодувы и художники хрусталя.

Основание Гусь-Хрустальному было положено в 1756 году орловским купцом Якимом Мальцевым. Прежде этот купец владел стеклянным заводом под Москвой, в Можайском уезде. Но по указу Мануфактур-Коллегии Можайский завод приказано было закрыть, дабы уберечь леса Подмосковья от истребления на топливо. Тогда-то Мальцев и перенес его в Мещеру, на берега лесной реки Гусь, в шестидесяти верстах от Владимира и в 250 верстах от Москвы.

Леса здесь были дремучие, имелись пески, необходимые для производства стекла, а сторона считалась глухой, что позволяло хозяину действовать так, как ему было угодно.

На той же реке при впадении ее в Оку, под Касимовом, существовал другой Гусь — железоделательный завод Баташевых. Заводчики как бы поделили реку: у истоков ее господствовал Гусь-Хрустальный, а в устье — Гусь-Железный.

Рабочих на новый завод Мальцев привез из Можайска. Вероятно, поэтому здесь и до сих пор сохранился своеобразный говор, совершенно отличный от напевного, окающего говора, характерного для коренных жителей Владимирской области. Звуком «о» в Гусе часто пренебрегают. Здесь говорят: «пасуда», «акно», «харавод», «паловодье»...

Впрочем, состав населения в Гусь-Хрустальном был очень пестрым. Однажды мне в руки попала копия старой ревизской сказки, то есть список мальцевских крепостных с указанием, кто они и откуда достались владельцу. Кроме привезенных со старого завода из-под Можайска, в списке упоминались «купленный в Орле на ярманке калмыцкой нации человек», записанный Иваном Калмыком, «беглая вдова Наталья с сыном Алешкой», привезенная из Торжка, и некий Зубан, «приобретенный у помещика Симонова в обмен на девку и борзую собаку». В ревизской сказке числилось много Гуськовых и Гусевых с припиской: «Мещеряки». Эти, по всей вероятности, были коренными обитателями здешнего Мещерского края. При заведении жили также поляки и чехи, мастера искусные в стекловарении, работавшие здесь по контракту с заводчиком.

Вскоре вокруг Мальцевского Гуся стали возникать и другие заводы. К началу девятнадцатого века юг нынешней Владимирской области был уже известен в истории российской промышленности как Мальцевский стекольный район. По количеству и по качеству выпускаемой хрустальной посуды он занимал в России первое место. Хозяевам завода за развитие русского стеклоделия было пожаловано дворянское звание.

От Акима Мальцева стеклянный завод перешел в наследство к сыну его Сергею, а от Сергея — к Ивану. Этот Иван Сергеевич имел чин тайного советника, что, по тогдашним понятиям, равнялось генералу. Он жил в Петербурге и там на паях с Сергеем Соболевским владел хлопчатобумажной фабрикой. Такая же фабрика в 1847 году была основана при Гусевском Хрустальном заводе, и будто бы, открывая ее, Мальцев сказал:

— Надеюсь, что хрусталь будет поддерживать мою славу, а фабрика обеспечит мне рост капиталов.

Рабочих Мальцев предупредил:

— Живите, как я указал. Тут мое царство...

Власть Мальцевых в Гусевской округе сохранилась даже после отмены крепостного права. Об этом красноречиво свидетельствует доклад фабричного инспектора Свирского владимирскому губернатору, датированный маем 1897 года.

Докладывая о Гусевском заводе, Свирский сообщал:

«Все обыденные многосложные функции административного и судебного характера по отношению к девятнадцатитысячному населению исполняются фабричной конторой по прямой преемственности с эпохой крепостного права. Если к этому прибавить право почти во всякое время рассчитывать рабочего или служащего, то понятна та широкая власть, которой пользуется контора и главным образом управляющий...»

В личной жизни хозяин завода Иван Сергеевич Мальцев был одинок. Детей после него не осталось. Гусь-Хрустальный он завещал своему воспитаннику и личному секретарю Юрию Степановичу Нечаеву.

Близкие звали Нечаева Юшей. А заводские рабочие за глаза называли Юшкой-разбойником.

После смерти Нечаева владельцем Гусевского завода стал граф Игнатьев, министр просвещения в правительстве царя Николая Второго. Он был образованным человеком, водил знакомства с поэтами и художниками и в аристократических кругах слыл либералом. Но в унаследованном имении предпочитал поддерживать старые, полукрепостнические порядки.

Между тем Гусевский завод расширялся и вместе с фабрикой приносил хозяину немалый доход. Стекольные мастера становились все искуснее в своем деле. На первой Всероссийской художественной и промышленной выставке в 1882 году Гусевский хрусталь был отмечен дипломом первой степени и золотой медалью. Слава о нем пошла далеко.

Я хорошо знаю этот городок. Там прошло мое детство, отшумела моя комсомольская юность.

2

С утра до позднего вечера не умолкал в заводских стенах пронзительный звон, словно какой-то разбушевавшийся гуляка швырял и бил стеклянную посуду, вдребезги давил ее железными каблуками. Но местные жители, прислушиваясь к этому звону, говорили:

— Слава богу, наша гута работает.

Гутой называется помещение, где расположены печи, в которых плавят, или точнее сказать, варят стекло.

Главным веществом, из которого варят стекло, является кремний, то есть обыкновенный чистый песок. Но кремний плавится только при очень высокой температуре. Не менее 1700 градусов. В простых плавильных печах получить такую температуру почти невозможно. Поэтому к песку добавляют соду. Эта смесь плавится при более низкой температуре. Тут достаточно уже 1400 градусов. Только вот такая беда: стекло, сваренное из смеси песка и соды, может раствориться в воде. Чтобы придать ему стойкость, к смеси песка и соды необходимо добавить извести или мела. Вот тогда получается стекло, из которого делают посуду и все, что угодно.

Но это обыкновенное стекло. А то еще есть хрусталь. Чтобы получить его, берут особо чистый песок или молотый кварц, а кроме соды и извести добавляют еще и свинцовую окись, которая придает стеклу особую прозрачность и твердость.

Чистый хрусталь необыкновенно певуч. Стоит подуть на тонкий хрустальный бокал, и он тихонько зазвенит мелодичным «малиновым» звоном.

Варить хрусталь — нелегкое дело. Составление смеси требует исключительной точности. Надо уметь выбрать песок, знать, сколько добавить соды, извести и свинцового окисла. Но и этого еще мало. Стекловар обязан знать режим печи, чтобы сплав получился чистым и в меру вязким, чтобы в стекле не было «мошек», т. е. мелких пузырьков воздуха, чтобы не перестоялось оно, а дошло до такой степени готовности, которая была бы «как раз в аккурат».

Вот уже кажется, что и по цвету, и по вязкости стекло совершенно готово и что пора начинать работать из него разные вещи, но старый, опытный стекловар, нахмурившись, говорит:

— Еще чуть-чуть.

Тайна этого «чуть-чуть» была доступна только кудеснику-мастеру.

Еще сложнее получение разноцветного хрусталя. Тут кроме свинцовой окиси требовались другие примеси и опять-таки то же почти таинственное «чуть-чуть», только еще более тонкое, осторожное. Примесь золота, например, дает рубиновую окраску. Такое стекло и называется

золотым рубином. Кобальт окрашивает стекло в густой синий цвет. Уран — в нежно-зеленый. Медь — в изумрудный. В качестве красителей употребляют также ртуть, марганец, железо и другие элементы.

Мастера-стекловары — а их было три-четыре на весь завод — ревниво скрывали друг от друга секреты своего ремесла, пробные плавки делали дома, в маленьких огнеупорных горшочках, чудодействовали над ними, и в поселке все были уверены, что стекловары — колдуны, что им ведомо какое-то «петушиное слово».

Однако расплавленное стекло — это еще только материал для изделий. Нужно большое искусство, чтобы превратить его в готовые вещи. И в первую очередь — искусство мастеров-стеклодувов.

Процесс выдувания стеклянных изделий в общих чертах похож на выдувание мыльного пузыря. Подобно тому, как ребенок, набрав на кончик соломинки мыльную пену, выдувает из нее для забавы прозрачный, сияющий шар, мастер-стеклодув, набрав на кончик длинной железной трубки шарик расплавленного стекла, выдувает из него пузырь, именуемый в производстве «баночкой», и придает ему нужную форму. Так делалось все: графины, стаканы, вазы, блюда, рюмки и множество прочих изделий.

Но как же далек этот труд от детской забавы! Как мучительно опалиет лицо мастера своим жаром стеклянная печь. Как трудно нянчить на кончике трубки тяжелую, иногда пудовую «каплю»!

Я помню, как многих моих сверстников, еще мальчиками пошедших работать в гуту, выносили оттуда замертво и отливали водой, чтобы «очухались». При этом старые мастера говорили:

— Не привык еще, со временем втянется.

Теперь-то хрустальные заводы выглядят по-другому. Тяжелый труд стеклодувов все более заменяется механическим. Стаканы, блюда, сахарницы, солонки и многие другие вещи делаются уже при помощи специальных машин.

Но дорогую хрустальную посуду производят еще прежним, старинным способом, и у каждого стеклодува есть свои навыки и приемы. Одни любят работать лишь «крупнину», то есть большие, тяжелые вещи, другие специализируются на мелочах. Не каждый выдувальщик способен, например, делать посуду «нацветом» из двухслойного

стекла. Для этого нужна особая ловкость. Сначала берется на трубку обыкновенный хрусталь. Из него выдувают прозрачную «баночку». Одновременно помощник мастера делает баллон из цветного стекла. Это — оболочка будущей вещи. У цветного баллона срезается верх, и в получившийся футлярчик спускается еще не остывшая прозрачная «баночка». Два слоя стекла мгновенно сплавляются вместе. Уже после этого заготовке придается нужная форма.

Но так выглядит лишь грубая схема производственного процесса. На самом деле все гораздо сложнее. Ведь если мастер в чем-нибудь запоздает, пусть даже на самую малую долю секунды, это отразится на качестве производства. Однако у опытного мастера получается все как следует быть. И когда при дальнейшей обработке изделия алмазчики начнут наводить узоры и в нужных местах верхний слой будет срезан, там засверкает чистый хрусталь, прозрачный, как горный воздух.

Не менее сложно производство посуды «венецианской нитью», когда в прозрачной стенке стекла отчетливо видны разноцветные жилки.

Чтобы сделать такую вещь, мастер сначала вытягивает цветные стеклянные ниточки. Разломив их на куски нужного размера, он осторожно вставляет эти ниточки в форму. Потом выдув прозрачную «баночку» и не дав ей застыть, опускает в форму. Там прозрачное стекло сплавляется с цветными нитями.

Мастеров, умеющих это делать, не так-то много. Три-четыре человека на весь завод. Но случается, что вдруг объявится мастер, которому доступны не только эти особые навыки. Он может работать не только «венецианскую нить» или хрусталь с «нацветом», но — все, буквально все, что можно сотворить при помощи трубки. Про такого говорят, что он «круглый мастер».

Я хорошо знал круглого мастера Виктора Александровича Сысоева. У него, как и у всех рабочих гуты, темное, опаленное жаром лицо, крепкие руки. Дед и отец Сысоева были тоже выдувальщиками стекла, и первые навыки мастерства он перенимал у родителя.

Однажды Виктор рассказывал мне, как проходило это ученье. Бывало, мальчик сделает какую-нибудь вещь — кувшин или просто стаканчик — и покажет отцу. Мастер оторвется на минуту от своего дела, посмотрит вещь, на-

царапает несколько слов на бумажке, завернет изделие в нее и скажет:

— Отнеси на двор, там прочитаешь.

Виктор бежит во двор. Развертывает записку. В ней приказание: «Брось его здесь».

Отец был не силен в грамоте, но в суждениях своих суров и категоричен. Изделие летело в кучу битого стекла, юный мастерок, чуть не плача, возвращался к строгому учителю, а тот наставлял:

— Сысоевых срамить не позволю! Приглядывайся, работы не страшись. Делай лучше.

Это на всю жизнь стало для Виктора первым правилом.

Много он сделал чудесных вещей — хрустальных ваз, сервизов, кубков, служащих теперь украшением столичных музеев и выставок. Но когда заходит речь о том, что же из сделанного самое лучшее, круглый мастер с усмешечкой говорит:

— Самое-то лучшее еще не сделано, оно еще впереди.

Не так ли взыскательный художник, чьи произведения вызывают всеобщую похвалу, сам недоволен своей работой и думает: «Самое лучшее мною еще не сделано».

3

Удачно сварить стекло и выдуть красивую вещь — большое искусство. Но самыми главными мастерами на заводе считались шлифовальщики или алмазчики.

Художественная обработка хрустальных изделий алмазными гранями была доведена здесь до совершенства. Почти на всех всемирных промышленных выставках работы гусевских мастеров отмечались золотыми медалями. Впрочем, медали и слава доставались хозяину, а сами-то мастера оставались безвестными, безымянными.

В нашем городе есть заводской музей хрусталя. Создавался он постепенно, из «образцовой палатки», то-есть из склада, в котором собирались образцы наиболее интересных и чем-то примечательных изделий. Это были образцы мастерства, живая материализованная история художественного стеклоделия.

Много раз бывал я в этом музее, но и до сих пор не перестаю удивляться искусству своих земляков. В музее собрано больше шести тысяч вещей. Многое из них имеют свои любопытнейшие истории.

Смотрителем этой сокровищницы многие годы был старый мастер Лебедев, мой добрый знакомый. Бывало, зайдешь к нему, и он, остановившись возле какого-нибудь причудливого кувшина или вазы, начнет рассказы о прежних умельцах. Впрочем, история некоторых образцов и ему была неизвестна.

В музее, например, есть несколько кальянов, сделанных под чеканное серебро и финифть. Такие кальяны выпускались заводом в тридцатых, сороковых годах прошлого века. Мне показалось странным — почему эти предметы восточного быта производились здесь, в мещерских лесах? Объяснить это на заводе никто не мог. Я стал копаться в архивах, расспрашивать людей, интересующихся историей, и попал на правильный след. А привел он к началу XIX столетия...

В 1828 году известный писатель, автор комедии «Горы от ума», Александр Сергеевич Грибоедов был назначен полномочным послом русского правительства в Персии. В качестве секретаря с Грибоедовым поехал наследник владельца гусевского завода Иван Сергеевич Мальцев. Это был неглупый, но завистливый человек. В молодости пытался он стать литератором, однако успеха в том не имел и решил пойти по дипломатической части.

В Персии Мальцев близко сошелся с агентами Ост-Индской компании, которые стремились подчинить страну неограниченному влиянию англичан. В этом им мешал Грибоедов. Тогда английские дипломаты и реакционные тегеранские круги, при попустительстве персидского шаха, спровоцировали нападение разъяренной толпы мусульман на русскую миссию.

11 февраля 1829 года после отчаянного сопротивления члены русской миссии во главе с Грибоедовым были убиты и растерзаны. Уцелел один только Мальцев, спрятавшийся у своих английских друзей. Вернувшись в Россию, Мальцев, докладывая царю о гибели Грибоедова, указывал на вспыльчивый характер посла, на его резкость, которая якобы раздражала персов и вызвала вспышку ярости. А о персидском шахе он отзывался с уважением. Шах пожаловал Мальцева золотым орденом Льва и Солнца и правом беспопытной торговли хрустальными изделиями в Персии. Но торговать в Персии посудой, которая делалась на Гусевском заводе, было невыгодно. Этот товар плохо шел там. Тогда Мальцев прислал в Гусь образцы серебряных

персидских кальянов и приказал делать такие же из стекла. Впоследствии этим товаром мальцевские приказчики торговали не только в Персии, но и в Бухаре.

Вот почему появились кальяны среди образцов заводской продукции.

Иногда старый смотритель музея останавливался возле какой-нибудь особо примечательной вещи и односложно произносил:

— Травкины.

Или называл другую фамилию:

— Зубановы.

В Гусе были целые семьи потомственных мастеров. Травкины, например, из поколения в поколение славились как гравировщики хрусталя. Это — тонкая, художественная работа. Гравировщик должен обладать остротой глаза, твердостью руки и полетом воображения. Все эти качества были свойственны Травкиным.

Я видел в музее старинный бокал травкинской работы с изображением святого Георгия. Необычайно тонкий, чистый, реалистически точный рисунок по размерам был не более половины спичечной коробки. А наносился он на хрустальную стенку бокала при помощи вращающегося медного колеса. Прислопая к колесу изделие, мастер таким способом гравировал рисунок. Это, конечно, гораздо сложнее, чем рисовать пером или кистью...

Зубановы были мастерами глубокой алмазной грани. Стихия их — линия и свет. Именно — свет. Они умели поймать солнечный луч и заставить его сверкать в хрустале.

Грань наносится на стекло также при помощи вращающегося шлифовального диска. В зависимости от того, как заточено жало диска, грань может быть узкой или широкой, но главное в деле — глаза и руки шлифовальщика. Мастер должен видеть и чувствовать структуру стекла, наклон или угол грани, направление и чистоту линии.

Как скульптор, взяв еще бесформенную глыбу мрамора, уже видит в ней живые черты изваяния, мастер-алмазчик, получив еще грубую заготовку вазы, должен увидеть вещь во всей ее будущей красоте.

Иногда кажется, что сделано все, что нужно: соблюден характер рисунка, достигнута нужная глубина и линия граней прорезана ровно. Но узор «не живет», и вещь

от этого выглядит мертвой. А вот если бы чуть-чуть передвинуть рисунок, приподнять или опустить его, если бы наклон грани заменить на самую капельку — вещь «оживет», заиграет, зайскрится, и солнце миллионами светлых лучиков рассыплется в хрустале. Но все это мастер должен почувствовать и увидеть еще до того, как он прикоснулся стеклом к шлифовальному диску.

Легче всего шлифовать, конечно, прямую линию. Поэтому старейшие гранильщики хрустала создавали узоры, состоящие главным образом из комбинации прямых и ломаных линий. Зубановы первыми нарушили эту традицию.

Не знаю — правда это или нет, но слышал я на заводе такую легенду.

В зимний морозный день крепостной мастер Максим Зубанов и сын его Петр сидели за верстаком у шлифовальных колес, гранили на стекле «венецианский орнамент». Вдруг Петр, взглянув на окошко, обратился к родителю:

— Вишь ты, как мороз стекло разукрасил. Вот бы нам по кувшину такой же узорчик пустить.

Оконное стекло было расписано серебристыми листьями. Они причудливо переплетались, образуя замысловатый узор.

— Изгибом пущено, — ответил старик. — На колесе такого, пожалуй, не выведешь.

— Может быть, попробуем?

— Оно, конечно, заманчиво.

Зубановы поговорили с заведующим шлифовней. Тот разрешил попытаться.

И вот узоры иная с окошка были переведены на хрустальный кувшин. Такого рисунка еще никогда и нигде не бывало. Вместо жесткого венецианского орнамента хрусталь украшали живые линии светлых растений, рожденных морозной сказкой русской зимы.

Зубановы много сделали для славы русского хрустала. Почти двести лет работали они на заводе. Последнего из этой славной династии, внука Максима, Дмитрия я еще встречал на заводе. Но он уже плохо видел. Ранняя слепота — профессиональное несчастье алмазчиков.

Как-то раз смотритель музея показав мне осколки хрустальной вазы, промолвил:

— Это — разбитая жизнь.

Я спросил — почему? И он объяснил мне.

Лет восемьдесят тому назад был на заводе очень хороший алмазчик Федор Герасимов. Как-то поручили ему отделывать большую хрустальную вазу. Мастер долго трудился над ней. Пустил пояском искристые медальончики, подставку украсил глубокой парезкой, а по тонким краям рассыпал алмазные звездочки. Он чувствовал, что вещь получается, и работал с веселым азартом.

Когда же ваза была окончена и ее поставили к свету, вся она засияла, заискрилась, заиграла своими узорами.

Управляющий тут же выдал мастеру трешницу наградных за усердие. Герасимов был очень доволен. Не трешница, конечно, ему была дорога, а сознание того, что вот он создал вещь, глядя на которую люди, не могли скрыть своего восхищения.

Вазу оценили в пятьсот рублей, очень высоко по тем временам, и отправили на Нижегородскую ярмарку.

Однажды в мальцевский хрустальный магазин на ярмарке зашла деревенская баба в лаптях, в домотканой одежде и загляделась на вазу. Она, эта большая чудесная ваза, стояла отдельно на бархатном прилавке и привлекала внимание всех посетителей.

Бабе вещь, вероятно, тоже очень понравилась, и она потянулась к ней.

— Не трожь! — сердито крикнул главный приказчик.

Но было уже поздно. Неосторожным движением любопытная женщина опрокинула вазу, она упала и разбилась о каменный пол.

Все в магазине оцепенели. Приказчики побледнели. Баба же вдруг рассмеялась, спросила — сколько стоит, а узнав цену, небрежно выбросила на прилавок пять сотенных и, добавив еще четвертной, сказала:

— Уберите осколки. Вот моя визитная карточка...

Оказалось, это была вовсе не деревенская баба, а взбалмошная богатая барыня, молодая вдова, которой захотелось тут покуражиться. Нарядившись крестьянкой, она выкидывала такие вот «шутки», чтобы обратить на свою особу внимание ярмарки.

Когда алмазчик Федор Герасимов узнал об этом, он с горя запил. Ему было обидно, что к вещи, в которую он вложил столько всякого труда, отнеслись так грубо и безобразно.

С ярмарки привезли осколки, и управляющий велел Герасимову сделать по старому образцу еще такую же вазу. Но мастер наотрез отказался. Он продолжал тосковать и буйствовать. В конце концов его вышвырнули за шлагбаум.

Дальнейшая судьба этого человека никому не известна.

4

Сейчас город Гусь-Хрустальный — один из районных центров Владимирской области. А до революции он был просто рабочим поселком Меленковского уезда Бутылицкой волости. И хотя у поселка было свое имя — Гусь-Хрустальный, многие называли его Мальцевым, по имени первого владельца завода.

Я помню, каким был тогда этот рабочий поселок.

Улицы его походили одна на другую. Ровными шпалерами, как солдаты в строю, стояли низенькие кирпичные домики в два и четыре окошка. Назывались они «половинками», потому что каждый был разделен на две половины для двух отдельных семей. При этом домик, имевший два окна по фасаду, называли просто «половинкой», а четырехоконный, имевший пристройку для кухни, — «половинкой с кухней».

В «половинках» жили служащие главной конторы, лучшие мастера, — словом, привилегированная часть населения. Кроме кирпичных «половинок» в заводском поселке были такие же деревянные домики и несколько общих казарм. В них ютилась рядовая мастеровщина и рабочие с фабрики.

У казарм были свои названия: «Питерская», «Генеральская», «Золотая». Впрочем, за этими пышными названиями скрывалась страшная бедность.

В каждой казарме имелось сто с лишним тесных и темных каморок, разделенных между собой легкой перегородкой, не доходившей до потолка. Кухня была одна на всех, общая. В ней вечно царили ссоры и драки.

Перелистывая старые, дореволюционные комплекты газеты «Старый Владимирец», я нашел там статейку, в которой описывался быт гусевской рабочей казармы. Вот краткие выдержки из этого описания:

«...Чаще всего живут в каморках по две семьи в 8—

10 душ. Каждая семья занимает кровать, обнесенную легкой занавеской, тут же кругом сложено горами тряпье, хламье, развешивается на стены скудное платье, а зимой в каморках сушат белье. Вентиляции нет, воздух промозглый и спертый. Спят вповалку, и дети с ранних лет приучаются видеть сцены, которые их могут только развращать...»

Почти все постройки в Гусь-Хрустальном были «господскими». Иметь «недвижимую собственность» рабочим и служащим не разрешалось. Даже единственный в поселке магазин принадлежал тому же хозяину, а заезжие купцы допускались сюда лишь два раза в году: летом — в троицын день и осенью — на праздник Акима и Анны («На Якиманны», — говорили местные жители).

При выезде из поселка стояли полосатые загородки — шлагбаумы. Они как бы отгораживали Гусь от всей остальной России, как бы утверждали здесь свой особый уклад жизни, хозяйский суд и расправу.

Если кто-нибудь из рабочих не угодил заводскому управляющему или в чем-нибудь провинился, следовал строгий приказ:

— Вышвырнуть за шлагбаум!

И человека с семьей, с малыми ребятами, хоть в дождь, хоть в мороз вышвыривали из квартиры, гнали вон из поселка за полосатый шлагбаум.

С течением времени на пустыре за шлагбаумом возникла маленькая убогая слободка, где обитали горемыки, вышвырнутые с завода. Она так и называлась: Вышвырка.

Те, кто жил на этой несчастной Вышвырке, не имели права посылать детей в школу, в случае болезни не имели права обращаться к заводскому врачу, они даже не имели права покупать хлеб в заводском магазине.

Жаловаться на произвол было некуда...

Мальцевы, а потом их наследники жили почти безвыездно в Петербурге. На Гусевском заводе распоряжались господские управляющие. Не знаю, может быть, хозяева специально подбирали себе таких слуг, но почти все управляющие были жестокими самодурами. Старые люди помнят управляющего Гайдукова, который издал приказ кланяться не только ему, но даже гнедой лошади, на которой он ездил. Иногда Гайдуков останавливал на улице прохожего и спрашивал:

— Кто я такой?

На этот вопрос полагалось отвечать:

— Ты наш царь и бог, батюшка.

— Ну, то-то, трепещите, мерзавцы!

Если же прохожий не называл Гайдукова царем и богом, следовал грозный допрос:

— Как тебя дразнят?

Прохожий был обязан называть свою фамилию.

— Где работаешь?

— В гуте.

— Скажи старшему мастеру, что я приказал взыскать с тебя штраф за непочтительность.

О другом управляющем, Титове, вспоминают, как о бесстыдном охальнике. При заводе была тогда одна общая баня. По пятницам в ней мылись женщины, а по субботам мужчины. Каждую пятницу Титов бесцеремонно заходил в помещение, где мылись женщины, и высматривал — какая покрасивее, а высмотрев, приказывал ей прийти в господский дом «мыть полы»...

В поселке были две церкви — «старая» и «новая». Старой называли церковь, построенную еще Мальцевыми. Новую выстроил уже их наследник Нечаев. Новая церковь была богатой. Расписывал ее знаменитый художник Васнецов. Все жители поселка были обязаны «говеть» и ходить в церковь на исповедь. О тех же, кто не «говел», попы докладывали управляющему.

Ни клубов, ни библиотек в Гусь-Хрустальном в ту пору, конечно, не было. В ящике моего письменного стола хранится любопытный документ: прошение гусевских рабочих на имя хозяина, написанное в 1905 году. Рабочие просили, чтобы хозяин разрешил им на средства, собранные с рабочих же, открыть в поселке Народный дом с чайной и читальней. На этом прошении хозяин наложил такую резолюцию: «Мои гусевские рабочие должны проводить свободное время в семье, и шлаться по чайным и читальням им незачем, а посему в просьбе отказать».

Вот в таких-то условиях и жили в ту далекую пору хрустальные мастера.

5

И все же, несмотря на крепостнические порядки, несмотря на дикий произвол управляющих и на шлагбау-

мы, которыми хозяева пытались отгородить поселок от внешнего мира, здесь еще в девяностых годах прошлого века возник подпольный кружок рабочих революционеров. Нелегальными путями проникали в Гусь революционные прокламации и запрещенные книжки.

Ранней весной 1898 года на фабрике началась забастовка. Три тысячи рабочих вышли на улицу и толпой направились к господскому дому, в котором жил управляющий. Они требовали отменить штрафы и облегчить условия жизни. В Гусь прибыл батальон гренадер и команда жандармов. Начались аресты. Рабочих лишали хлеба, многих стали вышвыривать за шлагбаум. И хотя забастовка была подавлена, а руководителей ее посадили в тюрьму, а потом сослали в Сибирь, затушить искру протеста хозяевам не удалось.

До этой забастовки в Гусе не было полиции. Роль полицейских выполняли так называемые «хожалые», подчинявшиеся главной конторе. После забастовки в самом центре поселка, рядом с гутой, появился полицейский участок и казачья команда.

Но как ни рыскали полицейские, как ни вынюхивали они «крамолу», подпольная революционная организация продолжала свое дело. Во главе нее стояли рабочие социал-демократы Г. Десов, А. Горбов, А. Смольнов, В. Федосеев. В Гусь-Хрустальном появилась даже подпольная типография, которая выпускала листовки, призывавшие рабочих к борьбе за свободу.

В старых мальцевских казармах зазвучали новые революционные песни, на тайных собраниях рабочие читали ленинскую «Искру»...

К 1917 году партийная организация Гусь-Хрустального объединяла более четырехсот человек и считалась одной из крупнейших в губернии.

После Февральской революции 1917 года подпольная большевистская организация выступила открыто. В поселке проводились митинги, собрания. В конце лета по инициативе большевиков собралась районная конференция Советов рабочих и крестьянских депутатов. Она обсудила вопрос о власти и приняла резолюцию:

«Считая политику безответственного Временного правительства контрреволюционной, Гусевская районная конференция высказывается за взятие власти в руки Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов».

Во главе Гусевского Совета стояли партийцы — рабочие Александр Колотушкин, Николай и Иван Осьмовы, Петр Хрульков, Федор Колчин, Василий Мухин, Поликарп Смирнов, Василий Федосеев.

Хозяин завода граф Игнатъев бежал за границу...

Бывший господский дом превратился в штаб революционной рабочей власти. Его стали называть Домом Коммуны.

Я был тогда еще мальчиком, но отчетливо помню высокие, просторные комнаты Дома Коммуны, постоянно толпившихся там людей в рабочих пиджаках и в солдатских шинелях с красными бантами, с винтовками в загрубевших руках, с гранатами и маузерами у пояса.

Взрослые рассказывали, что однажды в Дом Коммуны робко пришла сторбленная, морщинистая старушечка Анна Солнцева. Единственный сын ее Петя, бывший мастер-стеклодув, погиб на войне. Одинокой старушке пришлось побираться, «идти по кусочки», как говорили у нас. Вот кто-то и надоумил ее: поди-ка, мол, в бывший господский дом к новым хозяевам.

Придя в Дом Коммуны, старушка по старому обычаю стала кланяться в ноги. И тут из-за председательского стола поднялся матрос Александр Антипович Колотушкин, работавший в Гусе молотобойцем. Он хлопнул ладонью так, что на столе подпрыгнула большая чернильница, и громко выкрикнул:

— Бабка Анна, не кланяйся. Господское царство кончилось. Теперь здесь рабочего человека поймут без поклонов.

Старушка вгляделась в матроса, узнала и в простодуший ахнула:

— Антипыч, родимый, да ты-то здесь чего делаешь? Ай тоже в хозяева вышел?

— Точно, бабуся, теперь хозяева мы — рабочие люди...

В одном из своих писем писатель А. М. Горький упоминает о том, как самоотверженно трудились рабочие Гусь-Хрустального в первые годы после Великой Октябрьской революции.

Мне самому памятно это время. Тысячи молодых рабочих ушли тогда с отрядами Красной гвардии на фронт гражданской войны. В поселке остались старики, женщины, дети. Свиристствовал голод. Вспыхнула эпидемия тифа, появилась болезнь, именуемая «испанкой».

Люди получали крошечный паек: четверть фунта ржаного, пополам с овсянкой, колючего хлеба. Прокормиться пайком было трудно. Собрав кое-какие вещички из домашнего обихода, женщины ездили менять этот скarb на картошку и рожь в хлебобродных губерниях. Многие погибали в пути...

В поселке среди мастеров бродили тревожные слухи о том, что заказов на дорогие изделия из хрусталя ждать не от кого, а значит, и мастерство алмазчиков уж никому теперь не нужно...

В те годы, действительно, стеклянный пузырь для керосиновой лампы или простой дешевый стакан были куда нужнее хрустальных ваз и бокалов. Завод переключился на выпуск самых необходимых вещей.

Но рабочие уже несколько месяцев не получали ни копейки жалованья. Местные власти просто не знали, как быть, где взять денег. Вместо денег в счет жалованья платили бязью и миткалем, чайной посудой и ламповыми стеклами. Но разве могло это продолжаться все время?

Обсудив положение, гусевские большевики направили в Москву, к товарищу Ленину, троих делегатов во главе с Антипычем — Колотушкиным. Владимир Ильич принял их, внимательно выслушал и обещал поддержать. В распоряжение Совета было выделено пятнадцать миллионов рублей для расчетов с рабочими.

— Только не поддавайтесь панике, — напутствовал Ленин, — берегите заводы, советуйтесь с массами.

— Масса, Владимир Ильич, у нас трудовая, рабочая, — ответил за всех Колотушкин.

Ленинская поддержка обрадовала. Но трудностей было по-прежнему множество. На заводе и на текстильной фабрике не хватало сырья.

Голодные, худо одетые и худо обутые, в осеннюю слякоть и зимние холода рабочие отправлялись в лес заготавливать топливо и сами же вывозили его на себе, впрягаясь в тележки и сани.

Летом 1919 года начались лесные пожары. Горели сосновые боровые леса и торфяные болота. Поселок окутался дымом. Огонь подползал к окраинным улицам. Старые и малые были мобилизованы на борьбу с ним. Чекисты и милиция ловили бандитов и поджигателей.

Множество забот было у Гусевского Совета. Теперь,

уже много лет спустя, перелистывая пожелтевшие от времени протоколы заседаний Совдепа и местной большевистской организации, читаешь их, будто летопись бурных, огненных лет. В одном из протоколов я обнаружил такую запись:

«Постановили:

1. Направить вооруженный отряд партийцев и сознательных рабочих для ликвидации контрреволюционного восстания в с. Алексеевке.

2. Установить рабочий контроль в пекарне, чтобы не воровали муку.

3. Провести неделю по заготовке и вывозке топлива.

4. Объявить беспощадную войну против спекулянтов (вплоть до расстрела).

5. Взять на общественное обеспечение гражданина С. Черкасова и определить его в школу...»

«Гражданин С. Черкасов», более известный в то время под именем Степки-сироты, был беспризорником и ютился в общей кухне Генеральской казармы. Босой, оборванный, грязный, кормился он тем, что удавалось стащить или выпросить у сердобольных хозяек. Но у этого мальчика была страсть к рисованию. Удавалось достать бумагу — он рисовал на бумаге, а не было ее — покрывал рисунками стены казарменной кухни. Степку ожидало вечное нищенство или, в лучшем случае, беспросветная маята на тяжелой черной работе. И как легко мог погибнуть, пропасть парнишка в то крутое, тяжелое время. Старая большевичка Мария Ивановна Рудницкая подняла на заседании Совета вопрос о том, что Степке надо помочь. И вот среди множества важных работ — о топливе, о борьбе с воюевавшими кулаками, о хлебе — депутаты Совета, обсудив, как быть с беспризорным мальчишкой, решили:

— Учить. Может, из него художник получится.

В благодарность за эту заботу Степка вылепил из огнеупорной глины голову Карла Маркса. Вероятно, в этой скульптуре было очень много наивного. Маркса напоминала она лишь гривой волос да большой окладистой бородою. Но я помню, что Степкин Карл Маркс был водружен на каменном постаменте рядом с Домом коммуны.

— Пусть смотрит народ в лицо человека, провозгла-

сившего коммунизм! — сказал при открытии памятника большевик Колотушкин. — Пусть смотрят и говорят: «Мы продолжаем твоё великое дело».

Так распоряжалась новая, Советская власть.

Я не могу без благодарности вспоминать о заботливом отношении Гусевского Совета к детям и школе. В самое трудное время, когда рабочие получали четвертушку хлеба за свой ежедневный труд, Совет принял решение о том, чтобы школьников обеспечивать продовольствием наравне с рабочими.

Для молодежи в городе была открыта библиотека, при школе второй ступени организованы вечерние классы для подростков, работавших на заводе и фабрике.

А рабочая молодежь здесь была боевой. Ещё осенью 1917 года в Гусе возник «Союз рабочих и учащейся молодежи III Интернационал», объединивший более 600 юношей и девушек. Гусевские ребята были инициаторами создания губернской молодежной организации. В 1918 году в Гусь-Хрустальном состоялась первая губернская конференция Союзов рабочих и учащейся молодежи. На конференцию съехалось пятьдесят делегатов от разных уездов Владимирской губернии. Они единогласно постановили встать под знаменем партии большевиков и с оружием в руках до последней капли крови защищать пролетарскую революцию.

При подавлении контрреволюционного мятежа в г. Владимире в бою погибло трое гусевских комсомольцев: Трефилов, Лаврентьев и Зайцев. Тела их привезли в Гусь и похоронили в братской могиле на главной площади рабочего городка. Возле этой могилы и был потом установлен вылепленный Степкой Черкасовым памятник Карлу Марксу...

В феврале 1923 года партийная организация Гусь-Хрустального отметила своё двадцатипятилетие. На юбилей из Москвы приехал Михаил Иванович Калинин. Об этой своей поездке он напечатал в «Известиях» путевые заметки.

«Довольно известный, хотя незначительный населенный пункт Владимирской губернии — Гусь-Хрустальный, этот небольшой заводской городок, отметится в истории нашей Коммунистической партии как одно из старейших гнезд большевизма».

Оттремели громы гражданской войны. Жизнь рабочего городка оживилась. Хрустальный завод заработал на полную мощность. Фабрика бесперебойно стала получать туркестанский хлопок. Потребительская кооперация развернула торговлю. Воспрянул и ободрился народ.

Страна приступила к великой стройке. Стекла требовалось все больше и больше. Старые заводы уже не могли удовлетворить растущих потребностей. И вот в конце двадцатых годов в Гусь-Хрустальном началось сооружение нового большого завода для производства оконного и технического стекла.

Прежде в Гусе листовое стекло не вырабатывалось. Его делали на соседних заводах. Способ производства на этих заводах был старый. Стекло выдували при помощи все той же трубки, инструмента, известного еще древним египтянам.

Варилось стекло в большой ванной печи, окруженной высоким деревянным помостом — верстаком. По верхнему ободу печи имелись отверстия, через которые мастера-стеклодувы набирали па кончик трубки нужные порции расплавленной массы. Она была вязкой, тягучей и висела на трубке будто огромная капля. Из этой «капли» мастер выдувал продолговатый стеклянный пузырь — «холяву». Пока стекло не остыло, у холявы отрезали дно и верхушку, а полученный цилиндр разрезали по осевой линии и, развернув, проглаживали на ровном столе. Таким образом, получался стеклянный лист.

Это была очень тяжелая операция. Ведь иная холява весила два с лишним пуда, а стеклодуву приходилось нянчить ее на руках. Работал мастер на краю верстака, над своеобразным колодцем, и бывало не мало случаев, когда выдувальщик, не выдержав тяжести холявы, падал с помоста прямо па пылающее стекло.

Но главная трудность заключалась даже не в том, что стеклодуву приходилось применять силу, а в том, что мастер без всяких контрольных приборов, руководствуясь только своей профессиональной смекалкой, должен был уловить те моменты, когда следует отрезать донышко и верх холявы, когда и как распластать стекло на столе. Кроме того, холявный способ не позволял вырабатывать

стекла больших размеров. Витринное или зеркальное стекло Россия покупала за границей.

10 сентября 1929 года цехи первой очереди нового Гусевского завода имени Дзержинского вступили в действие.

По своим масштабам этот завод был тогда крупнейшим в Европе. Производство стекла здесь было механизировано. Древнюю трубку стеклодува заменили машины «Фурко». Стекло уже не выдували, а вытягивали механическим способом.

Над ванной печью, в которой варилось стекло, были установлены аппараты, непрерывно тянущие широкую стеклянную ленту. Для того, чтобы вязкое стекло приобрело форму ленты, в печи под машинами помещались огнеупорные «лодочки» с узкой щелью. Жидкое стекло поднимается через эту щель и подхватывается вальцами, которые увлекают стеклянную ленту вверх. По мере вытягивания стекло застывает, и от ленты отрезают готовые листы нужных размеров. Специальные приборы автоматически регулировали температуру печей, следили за процессом образования вязкой стеклянной массы.

Механизация производства позволила резко повысить выработку стекла. Подсчитано, что за первые двадцать лет своего существования новый завод выработал около 80 миллионов квадратных метров оконного и технического стекла. Прежние заводы Гусевского района и за сто лет не могли выдать такого количества.

В конце сороковых годов на заводе имени Дзержинского была смонтирована и пущена в ход автоматическая система для горизонтального проката стеклянной массы. Это был новый, более простой и дешевый способ.

При таком способе стекло из канала варочной печи уже не вытягивается вверх, а по наклонной плоскости, подобно огненному потоку, выливается на «дорожку» и подхватывается прокатными вальцами. Проходя через систему прокатных вальцов, стеклянная лента приобретает нужную толщину. Однако поверхность ленты получалась рябоватой и требовала шлифовки. Поэтому одновременно с освоением нового способа выработки листового стекла на заводе был установлен конвейер автоматической полировки листового стекла. Для этого пришлось построить новый шлифовальный цех, длиной в четверть километра.

Изумление, восторг охватывают человека, когда впервые попадает он в этот цех и видит, как «механические руки» бережно подхватывают и поворачивают огромные стекла, шлифуя их до зеркального блеска. Рабочих в цехе почти не видать. Один машинист управляет большим конвейером.

Коренной реконструкции подвергся и старый завод хрустальных изделий.

В далекую пору моего детства, гусевские мальчишки, собираясь ватажками, уходили в лес по чернику. В великом изобилии родилась она в здешних местах. Горстями беря черные глянцевитые ягоды, мы иногда натывались на старую кирпичную кладку, скрытую под слоем зеленого бархатистого мха. Находки эти были таинственными и порождали в детском воображении самые фантастические картины. Нам представлялось, что мы нашли пещеру разбойников, в которой, вероятно, скрыты удивительные сокровища.

Но взрослые, которым рассказывали мы о своих открытиях, разрушали фантазию.

— Это остатки старой гуты, — говорили они.

И действительно, то были остатки старой, заброшенной гуты. За двести лет существования Гусевского завода местоположение гуты менялось несколько раз. С самого начала она находилась в урочище Шивсорово, потом перекочевала в местечко Нижний, на речку Стружень, а около ста лет назад, после большого пожара, гуту построили в самом центре гусевского поселка. Шлифовня же, то есть мастерская, в которой работали алмазчики и шлифовальщики хрусталя, помещалась отдельно от гуты.

Теперь старую гуту, пришедшую в ветхость, сломали и на месте ее построили совершенно новый, уже механизированный завод, в котором гута и шлифовальня находились под одной крышей, в одном производственном комплексе.

Обновленный завод стал выпускать посуды в десять раз больше, чем выпускалось ее в прежнее время, и то, что прежде делалось «на глазок», стало делаться теперь на основе науки и передового опыта.

7

Было горячее время первых пятилеток. На заводах появлялись коллективы ударных бригад, соревнующихся

друг с другом. Выработка массовой продукции увеличивалась. Но мастера, чародеи художественной отделки, выражали недовольство.

— Видно, наше время прошло, — с горечью говорил мне старейший из алмазчиков Дмитрий Петрович Зубанов.

На мой вопрос — почему он так думает — старик отвечал:

— Бывало, в шлифовне кроме пас, Зубаповых, работали Травкины, Куприяновы, Лебедевы, Калмыковы, Кулагины. Что ни мастер, то и художник. Теперь уже нету таких, по семейным коллекциям видно: нету.

Семейные коллекции хрусталя, о которых говорил Зубанов, и сейчас еще изредка можно встретить в домах гусевских старожилов. Дело в том, что прежде существовал такой обычай: мастер, проработавший на заводе десять лет, получал право перед каким-нибудь большим праздником сделать вещь для себя, на память. Ему разрешалось взять из заготовки бокал, графин или вазу и отделать ее на свой вкус, по своему замыслу и умению. Делалось это, конечно, в сверхурочное время, чтобы не было ущерба хозяину.

И тут уж каждый из мастеров старался перещеголять другого, создать что-то особенное, свое. Сын стремился сделать лучше отца, внуку хотелось «перешибить» деда. Так, из поколения в поколение накапливались в доме «семейные горки», которыми гусевские алмазчики гордились друг перед другом.

Чего только не было в этих «горках»! Графины, разукрашенные полевыми цветами, покрытые алмазными капельками росы, бокалы, стенки которых были подернуты легким инеем, вазы с рубиновыми вишнями и нежно-зелеными листиками, стеклянные шары, внутри которых распускались подснежники и фиалки, рюмки с такими тонкими стенками, что страшно было брать их в руки — как бы не растаяли в воздухе!

Такие «семейные горки» видел я у Зубановых и Лебедевых, Калмыковых и Куприяновых — старых, потомственных мастеровых, чьи деды и прадеды не по десять, а, может быть, по пятьдесят лет трудились за шлифовальными колесами или у стекловаренных печей Мальцевского завода.

— Теперь бригады появились, а мастеров-то и нет. Вымирает искусство, — упрямо повторял Зубанов.

О том, что искусство алмазчиков в Гусь-Хрустальном будто бы вымирает, — мне приходилось слышать и от других.

Так ли это было на самом деле?

Конечно, «петушиное слово» заводских кудесников уже не играло такой роли, как прежде. Составление смеси и варка стекла проводились теперь на строго научной основе и контролировались заводской лабораторией. Стеклодувную трубку заменила машина. Были изобретены аппараты для механической шлифовки и полировки стекла. Людям же, связавшим всю свою жизнь с тяжелой ручной работой, постигавшим мастерство стекловаров, стеклодувов, шлифовальщиков, как великую тайну, передаваемую по наследству от дедов и прадедов, казалось, что это вымирает искусство.

— Да и старых мастеров на заводе становилось все меньше и меньше. Приходит старость и — тут ничего не поделаешь. Но ведь на смену старикам шла молодежь. Сам же Зубанов говорил:

— Вот у Кольки Чихачева настоящая хватка. Что хочешь сработает.

— Хороший мастер?

— Нашего гусевского закала.

С Чихачевым мы вместе учились в школе. Но он не окончил ее, поступив на хрустальный завод совсем мальчиком. Теперь это был уже первостатейный мастер. Были на заводе и более молодые талантливые алмазчики. Значит, искусство хрустальщиков все-таки не умирало.

Но сетования Зубанова были в чем-то и справедливы.

В годы первых пятилеток выпуск высокосортной посуды на заводе уменьшился. Хозяйственники были озабочены выполнением плана главным образом по количеству выпускаемых изделий. Говорили: «Мы гоним вал». Основным видом продукции был граненый чайный стакан, вырабатываемый способом автоматической прессовки. Выпускались также прессованные вазы, солонки и пепельницы. Это было проще и даже, казалось, прибыльнее.

На самом же деле увлечение дешевой вело к тому, что даже мастера-алмазчики, вырабатывающие так называемую сортовую посуду, тоже выбирали какой-нибудь простенький стандартный рисунок, чтобы «выгнать процент по валу», и только на долю настоящих художников, таких, как Чихачев, Муравьев, Орлов, Платов, изредка

выпадала возможность создавать действительно уникальные вещи.

Такое положение дела сложилось не только на Гусевском, но и на других хрустальных заводах страны, и это не могло не тревожить людей, озабоченных славой русского хрусталя.

В начале 1940 года народная художница скульптор В. И. Мухина, писатель А. Н. Толстой и автор многих научных работ о стекле академик Н. Н. Качалов обратились по этому поводу с письмом в Совет Народных Комиссаров СССР. Тогда советское правительство приняло решение о коренном улучшении состояния художественного стеклоделия. В решении предусматривались вопросы расширения работ по созданию образцов художественного стекла. В Ленинграде был создан экспериментальный цех с хорошо оборудованной лабораторией.

Таким образом, художественное стеклоделие получило поддержку. Но вскоре началась война, и тут уж было не до искусств...

Лишь во второй половине сороковых годов началось возрождение искусства замечательных стеклоделов. На заводах появились новые шлифовщики, живописцы, возникло содружество художников с рабочими мастерами. В Гусь приехала талантливая молодая художница Надежда Матушевская. В образцовой завода я видел созданный ею сервиз «За тех, кто в море». Он сделан из чистого прозрачного хрусталя с синим кобальтовым нацветом: над синими волнами кружатся белые чайки. Алмазный рисунок этого образца изящен и восхитительно прост...

В душе коренных жителей нашего города неистребимо чувство профессиональной гордости потомственных мастеров хрусталя.

Как-то в воскресный день у Николая Чихачева собрались гости — свои, заводские товарищи. По этому случаю, как уж заведено у гусевских, на стол была выдана «фамильная» сервировка. Тут стояли какие-то граенные стопки в форме кубышек, и отделанные алмазным рисунком фужеры, и графины с красными стеклянными пестухами внутри. Все это было сделано руками кого-нибудь из Чихачевых: дедом, отцом, дядей или самим хозяином.

— В старое время, вишь ты, каких петухов сажали, — заметил кто-то.

— Подумаешь, петухов! — взвинулся круглый мастер Сысоев. — Я этих петухов, если хочешь, тысячи насажаю.

— Сможешь?

— Конечно, смогу!

— Так почему же теперь не делают?

— Да ведь это на купеческий вкус сработано. А у нас теперь новый заказчик.

— Кто же это?

— Народ! Я вот мечтаю делать для этого заказчика такие вещи, чтобы взглянул человек на мое изделие, пораздовался и подумал: «Ну и мастер. Вот, черт, какую красоту работать способен!»

Мечтой о красоте, о настоящем искусстве жили мои славные земляки.

8

«Все течет, все изменяется», — сказал один древний философ.

Мы порою не замечаем превращения и перемен не потому, что не любопытны, а потому, что большинство перемен совершается постепенно. Постепенность же дает возможность привыкнуть и перестает удивлять.

Но вот представьте, что человек возвращается куда-то, где давно уже не бывал, и тогда все перемены, которые произошли здесь за это время, сразу бросаются в глаза, вызывая удивление.

Так случилось и со мной, когда после долгих лет разлуки я собрался и поехал в родной Гусь-Хрустальный. Было это в 1957 году.

Я подъезжал туда летним солнечным утром, с волнением ожидая, что вот распахнется перед поездом зеленый бархат соснового леса, блеснет небольшое озеро и взору откроется расположенный вокруг него наш городок.

Дорога была мне знакома. А сосед по купе ехал в Гусь-Хрустальный впервые, и я стал рассказывать ему, что справа от линии будут видны корпуса стекольного завода имени Дзержинского, а слева — маленький деревянный вокзал.

Поезд замедлил движение, пассажиры стали тесниться к выходу, и вдруг уже с площадки вагонного тамбура я увидел, что на месте прежнего деревянного вокзальчика вырос новый кирпичный с вывеской на фронтоне: «Гусь-Хрустальный»...

— Значит, давненько вы здесь не бывали, — усмехнувшись, сказал сосед.

И я признался:

— Давненько.

На перроне меня встречали друзья, и мы поплы по знакомым улицам, но я узнавал и не узнавал их. Новое встречалось буквально на каждом шагу, и я едва успевал расспрашивать: «А это что такое? А это когда построили?».

Мы шли, и я знал, что вот сейчас будет Вторая Васильевская улица — десятка два одноэтажных деревянных домиков. Но там, где была она, теперь поднялись какие-то корпуса, захватившие целый квартал.

— Что это?

— Новый завод стеклянного волокна. Это, понимаешь ли, совсем необычный завод. Такого наши деды и представить себе не могли. Здесь из стеклянных шариков величиною с лесной орешек, плавящихся в специальных электропечах, машина тянет тончайшие паутинки. Они настолько тонки, что почти невидимы глазом. Из шарика, весящего не более десяти граммов, вытягивается паутинка длиною в сто шестьдесят километров. Сто паутинок скручиваются в одну серебристую шелковинку. Из этой серебряной пряжи ткут полотно, по внешнему виду напоминающее вискозные ткани.

Стеклянное полотно — незаменимый изоляционный материал для электропромышленности, оно необходимо также для химиков. Да мало ли на что идет эта стеклянная ткань! Друзья рассказывали:

— У нас теперь можно услышать такой разговор: «Я потомственная стекольщица», — говорит женщина. Спросишь, кем работает, она ответит: «Ткачихой»...

Мы проходили по центральной городской площади. Прежде здесь был один единственный на весь городок магазин. Каким внушительным казался он в прежнее время. Теперь же площадь обступили другие здания. Пестрели вывески: «Гастроном», «Бакалея», «Книги», «Редакция газеты «Коммунист».

Помнится, здесь же была «Старая» церковь. Но я не увидел золотистой луковицы над белой ее колокольной.

— А церковь-то где?

— Давным-давно закрыли за полной ненадобностью.

Впрочем, мои земляки никогда не отличались приверженностью к религии. И в церковь ходили лишь потому, что так уж было заведено и так полагалось.

В прежнее время неотъемлемой и особенной черточкой здешнего быта были «колышки» — ручные тележки на одном колесе или, просто говоря, тачки. Впрочем, колышка — это не обыкновенная рабочая тачка, а, как бы сказать, тачка улучшенной, облегченной конструкции. Каждый делал их на свой вкус, красил масляной краской тоже по своему вкусу и выбору. Были колышки желтые, крашенные охрой, зеленые — крашенные медянкой, были синие, голубые. Помнится, что у кого-то была колышка, расписанная цветочками.

Колышки имелись почти у всех жителей нашего городка. С колышкой ездили в лес по дрова, в магазин — за продуктами, на речку полоскать белье. И даже, если шли в гости всей семьей, в колышке везли детишек.

Мне приходилось слышать, что в Швеции или в Дании очень распространены велосипеды и там невозможно представить улицу без велосипедов. Вот так же в Гусь-Хрустальном были распространены колышки.

Теперь, идя от вокзала к центру города, я не увидел ни одной колышки.

— Колышек-то нету?

— Надобность в них миновала, — объяснили товарищи. — У нас теперь во все концы автобусы ходят, а с прошлого года даже такси появились. С колышкой-то и неудобно уже появляться...

В тот же день захотелось мне пойти в школу, где впервые мы сами прочли невучие строки Пушкина, где открылась нам величайшая истина, что семью семь — сорок девять, где классом моложе меня училась одна девчонка, которая... Ах, как это все далеко!..

Возле школы увидел я поредевшую аллею старых тополей. Мы сажали их осенью 1917 года молоденькими тросточками и обносили треугольной загородочкой из штакетника, чтобы бродячие козы и дурные люди не погубили посадку.

— Дети, — говорил наш учитель, — в России соверши-

лась революция. Начинаются великие перемены. Пусть каждый из вас в ознаменование этого события посадит хотя бы одно молодое деревцо.

Сорок лет прошло с той поры. Быстро растущие тополя поднялись высоко, и уже поредели аллеи их, как поредели семья моих сверстников, с которыми вместе сажал я эти деревья. Но рядом со старыми тополями поднималась новая поросль, взращенная здесь уже другим поколением школьников. Вероятно, к ним обращался уже новый, другой учитель и говорил:

— Дети, наша Родина, наш советский народ ценою великих жертв добился победы в страшной битве против фашистских захватчиков. Пусть каждый из вас в ознаменование этой победы посадит хотя бы одно молодое деревцо.

О, если бы каждый человек посадил хотя бы одно молодое деревцо, как прекрасна была бы наша земля!

Конечно же, побывал я и на Хрустальном заводе, познакомился с директором Георгием Васильевичем Савоничевым и с главным инженером Иринархом Алексеевичем Фигуровским. Они рассказали о том, что теперь кроме чистого хрусталя завод увеличивает выпуск цветного и что вводится обработка хрустальных изделий золотом.

В образцовой я видел экспонаты новых изделий: прозрачный хрусталь и золотой рубин, пронзительно-алый, как кровь, и густо-зеленый, как малахит, полученный от примеси хромпика, креолита и окиси меди, и рубин селеновый, лунную окраску которому дала примесь селена и серебристого кадмия. Главный инженер особо подчеркнул, что в Гусе получают теперь хрусталь четырнадцати цветов, а каждый цвет можно дать еще в разных оттенках. Рубин селеновый, например, может быть бледнее и ярче, выражаясь образно, — он может кричать и говорить шепотом.

Но расцветка — это лишь одна сторона художества. Другая сторона — многообразные формы. Над этим работают заводские художники. Большинство из них — самородки. Вот, например, Евгений Иванович Рогов. Он поступил на завод семнадцатилетним юношей, без специальной подготовки, и прошел все ступени мастерства от алмазчика до рисовальщика.

Рисунок — увлечение и страсть Рогова. Но это рисовальщик особого склада. Он любит отделять вещи с

нацветом. Взяв заготовку вазы, сделанной из двух-или трехслойного хрусталя, он покрывает всю ее черным асфальтовым лаком, а уже по лаку острой иглой наносит или, как здесь говорят, выявляет рисунок. После обработки кислотой ваза отмывается и проходит окончательную отделку.

Представьте себе, что художник задумал украсить хрустальную вазу орнаментом из веточек вишни с плодами и листьями. Для этого он берет трехслойную заготовку — сверху темно-красный рубин, в середине зеленый слой, а под ним прозрачный хрусталь. Сначала мастер оставляет закрытыми лаком только плоды вишни, а весь остальной слой рубина снимается кислотой. Получается зеленая ваза, с разбросанными по ней рубиновыми вишенками. Потом лаком покрываются плоды, листья и веточки. Остальные места зеленого слоя снова снимаются кислотой, и тогда на прозрачном хрустале остаются светло-зеленые веточки, листья и темно-красные угоды.

Таким способом можно нарисовать не только орнамент, но и пейзаж, живую натуру и даже портрет.

Художник Станислав Орлов пришел на завод из ремесленного училища и начал работать в алмазном цехе. Но шлифовка стекла по старым стандартам мало удовлетворяла его. Хотелось сделать что-то свое. Одна из последних работ его — хрустальный гусь.

В содружестве с Борисом Быковым он создал гипсовую скульптуру птицы. По ней модельщики сделали форму, а мастера-стеклодувы по этой форме выдули гуся. Орлов на абразивном колесе отшлифовал, отгранил у птицы каждое перышко. Первый экземпляр этого хрустального гуся был отправлен на всемирную выставку как эмблема завода...

Я не помню, кто сказал: «Жизнь без труда — воровство, труд без искусства — варварство». Да и не так уж важно, кто именно впервые изрек эту мысль. Важно, что в ней заключена народная мудрость. Ведь и само искусство родилось в труде. Основоположниками его были гончары, кузнецы, каменотесы, плотники, резчики по дереву и по кости, — словом рабочие люди, мастера, стремившиеся одухотворить свое ремесло.

В Чехословакии есть поэт Ирже Гавель. Сын стеклодува, он написал стихи о том, как мастера захватила дерзновенная мечта.

Из хрустала создать такую вазу,
Чтобы она в себя вместила сразу
Все розы мира...

Об искусстве чешских умельцев гусевские хрустальщики знали давно. Еще в старое время на мальцевском заводе работали чешские мастера. В ассортименте заводских изделий были типичные для чешского производства «богемские стаканчики» и «погарчики». Прославленные граверы Травкины в совершенстве владели чешскими способами гравировки по хрусталу, а про алмазчиков Зубановых говорили, что они даже превзошли чехов в искусстве «глухой бокой грани»...

Евгений Рогов рассказывал, что недавно он побывал в Чехословакии и теперь сравнивал то, что есть в Гусь-Хрустальном, с тем, что подметил у чешских алмазчиков.

Основным видом художественной отделки хрустала на Гусевском заводе была алмазная грань. Казалось, чем больше граней нанесется на изделие, чем больше блестит оно, тем красивее. Но, оказывается, это не всегда так. Настоящая красота гораздо значительнее, мудрее и глубже внешнего блеска. Часто она заключается в целомудренной скромности, в неожиданной простоте новых форм.

— Чехословацкие стеклодувы очень тонко чувствуют фактуру стекла, — говорил Рогов. — Некоторые изделия их на первый взгляд кажутся слишком простыми. Они не изрезаны гранями, не украшены лепкой, но есть в них что-то приковывающее взгляд. Стекло живет, дышит. Кажется, что сделано это не руками человека, а самой природой...

Мне также довелось побывать на стекольных заводах Чехословакии. Они невелики, но их много. И почти у каждого свое, особенное лицо. У нас же преобладает серийное производство. А это неизбежно ведет к тому, что мастер набивает руку на одной операции. Он перестает видеть вещь целиком. Не потому ли «круглых мастеров» на Гусевском заводе не так-то уж много.

— Стремление к новому — вот что должно окрылять настоящего мастера, — говорит Рогов. — Двести лет наши прадеды, деды и отцы утверждали славу русского хрустала, а нам — умножать эту славу!

Я уже упоминал о том, что в 1923 году в Гусь-Хрустальный приезжал председатель ВЦИКа Михаил Иванов-

вич Калинин. Для жителей рабочего городка это явилось событием более чем примечательным и долго еще потом, рассказывая о чем-нибудь, здесь говорили: «Это было до приезда Калинина» или «А это уже после того, как приезжал к нам Калинин»...

В год пятидесятилетнего юбилея Советской власти сотрудники редакции «Известий» нашли в старых комплектах тот номер газеты за 21 февраля 1923 года, на второй странице которого были напечатаны путевые заметки М. И. Калинина под заглавием «Поездка в Гусь-Хрустальный». В редакции решили, что было бы интересно съездить в Гусь-Хрустальный теперь и написать о том, как живет он сегодня. В командировку послали меня. Собственно говоря, я сам напросился потому, что помню тот приезд Михаила Ивановича. Тогда мне было уже пятнадцать лет, я работал в паровозном депо местной узкоколейки и учился в вечерней школе для рабочих подростков.

Сорок четыре года назад ехать из Москвы в Гусь-Хрустальный было всего удобнее по Казанской железной дороге до станции Нечаевки. От нее до города считалось шестьдесят верст. Тут действовала наша узкоколейка. Именно этим путем и ехал Калинин.

Теперь так уже не ездят. Более удобным и выгодным считается путь через Владимир, от которого можно проехать до самого Гусь-Хрустального и по железной дороге, и по шоссе на автобусе. Я выбрал шоссе. Тесно зажатая лесом, дорога была мне знакома. Тут проходил старый тракт, по которому в зимнюю пору санными обозами из мальцевского Гуся возили хрустальную посуду в Москву и на Нижний, на макариевскую ярмарку. Я знал, что когда проедешь деревню Бабино, то через десять верст от нее лес расступится и откроется наш городок. И прежде всего увидишь высокую трубу ткацкой фабрики. Потом справа будет сосновая «Баринова роща», а за нею начнется Гусь. Однако теперь город открылся гораздо раньше. Еще не доехав до «Бариновой рощи», с левой стороны, среди соснового бора увидел я новые корпуса совсем недавно построенного здесь филиала научно-исследовательского института стекла. Он встал как бы форпостом на подступах к городу. А вот за ним-то и начался Гусь-Хрустальный, но не тот, прежний, а новый, широко расправивший свои крылья. И было отчего: в ту пору, когда приезжал сюда М. И. Калинин, в городке считалось около 15 тысяч жите-

лей. Теперь — 75 тысяч. Тогда среди одноэтажных «половинок» возвышались только главная контора да казармы. Они казались нам бог знает какими громадными. Теперь бывшие казармы совершенно потерялись среди новых жилых и административных зданий.

О самой большой двадцать четвертой казарме (она так и называлась: Большая казарма) М. И. Калинин писал: «В казарме № 24, где между прочим много лет жил председатель местного исполкома тов. Колотушкин, принята комнатная система. Комнаты среднего размера, аршина три-четыре ширины и аршинов пять, может быть, шесть длины...

Общая кухня, довольно своеобразная, совершенно не похожая на нормальные кухни: огромная, продолговатая четырехугольная закопченная печь с рядом духовых отделений с обеих сторон; топка находится внизу, под печкой. Внешность кухни производит тяжелое, неприятное впечатление — не то, чтобы она отличалась грязью, но вся архитектура ее не сочеталась с ее обитателями.

Заходили в коммунистическую ячейку. Комната обставлена скамейками, небольшая сцена и малюсенькая комната сзади, вероятно, для канцелярии.

Там же, в клубе, собирается Союз коммунистической молодежи, учат ребятишек, не имеющих обуви, и вообще решаются все общественные вопросы казармы, в которой, к слову сказать, живет 800 человек». Тут я должен заметить, что Большой казармы теперь уже нет. На ее месте — средняя школа, в которой учатся 1200 ребят. Но вернемся к путевым заметкам М. И. Калинина. «Во второй казарме, — рассказывает он, — идя по коридорам, которые производят довольно мрачное впечатление, вспоминаешь коридоры тюрьмы, не особенно благоустроенной. В одной из комнат происходила свадьба, раздавалось пение. Я заглянул: в комнате вокруг стола тесно сидели гости, а одна из женщин плясала на стуле. Характерно, что эта пляска является общепринятой. Очевидно, от тесноты помещения, которая не дает разгуляться вольным движениям».

Мне захотелось узнать, чья же это была свадьба и как сложилась судьба тогдашних молодоженов? Помог мне в этом мой старый товарищ Павел Вячеславович Гиляревский — неутомимый краевед и историк нашего города.

— Ну как же, — сказал он, — это была свадьба Бело-

вых. Ивана Ивановича и Марии Романовны. Они и поныне здравствуют. Правда, теперь уже оба на пенсии. У них три сына — Владимир, Николай, Виктор. Родители-то малограмотные, а сыновья со средним и высшим образованием. История для Гуся довольно типичная...

Рассказав о посещениях казарм, М. И. Калинин пишет: «Вечером митинговали в актовом зале местной гимназии...»

«Гимназией» в Гусь-Хрустальном называли школу второй ступени. Дело в том, что до революции в нашем городе было всего две школы — двухклассное земское училище для мальчиков и церковно-приходская школа для девочек. Рабочие долго хлопотали о том, чтобы открыть еще и гимназию. И наконец, хозяин завода и фабрики граф Игнатьев, бывший министр просвещения в царском правительстве, снизошел к просьбам своих мастеров. В 1917 году в городе была открыта средняя школа.

— Вот и у нас гимназия появилась, — с гордостью говорили рабочие.

После революции «гимназия» стала школой второй ступени. Вот там-то и проходил митинг, о котором упоминает М. И. Калинин. Между прочим, там встретили Михаила Ивановича юные пионеры. И помню я, что был среди них сынишка механика Джим Клегг. Теперь этот юный пионер стал инженером и работает директором филиала Института стекла. Впрочем, судьба Джима Клегга не счастливое исключение. Многие дети рабочих стали теперь инженерами, врачами, педагогами и работают в своем родном городе. Кстати, и школ теперь в Гусь-Хрустальном уже шестнадцать, а кроме того, есть стекольный техникум и закладывается здание для политехнического института на тысячу учащихся...

«Утром были в Хрустальном заводе, — продолжает М. И. Калинин. — Работа была в полном разгаре. Каждый создавал какую-нибудь вещь из общей расплавленной массы...»

От тех цехов, в которых бывал Михаил Иванович, теперь ничего уже не осталось. Все перестроено, модернизировано. Многое изменилось даже с тех пор, как я приезжал сюда в 1957 году. Помнится, тогда мы говорили о том, что круглых мастеров в Гусь-Хрустальном до обидного мало.

И вот теперь главный инженер завода Ирицарх Алек-

сеевич Фигуровский посоветовал мне непременно заглянуть в четвертый экспериментальный корпус.

В этом корпусе создана трехгодичная школа круглых мастеров. Сейчас там работают и одновременно учатся сто молодых рабочих. Пятьдесят стеклодувов и пятьдесят шлифовальщиков. Они изучают технологию стекла, устройство стекловарных печей и разнообразные способы украшения хрустальных изделий.

Теоретические и практические курсы здесь ведут технологи, художники и уже известные мастера. Главный художник цеха В. А. Филатов окончил Строгановское училище и теперь продолжает свое образование в аспирантуре. Искусство шлифовки преподают мой старый товарищ Николай Чихачев, недавно награжденный орденом Ленина, и Евгений Рогов.

В этом корпусе действует принцип: твори, выдумывай, пробуй! В образцовой, т. е. в помещении, где собраны образцы вырабатываемой продукции, я видел чудесные вещи: вазу «Лилия», отделанную молодым мастером Бокковым, вазу для цветов, граненную учеником Куприяновым, и вазу Бадьева — «Сказка». Я любовался цветными бокалами, похожими на тюльпаны, кувшинами с тончайшей гравировкой, нанесенной при помощи медного колеса. Но я видел не только результат работы, но и саму работу.

С чем сравнить рождение хрустальных изделий? Может быть, с рождением радуги после дождя, потому что так же, как радуга, многоцветен и нежен хрусталь. Может быть, с каплями светлой росы на венчике полевого цветка, потому что так же, как капля росы, девственно чист блеск прозрачной алмазной грани. Может быть, с вечерней песней зорянки, потому что так же певучи тонкие стенки хрустальных бокалов.

Нет, это ни то, ни другое, ни третье. Может быть, только все, вместе взятое, и то лишь в какой-то степени объяснить, как из крылатой фантазии и точного мастерства рабочего человека возникают хрустальные дива.

Некоторые из учащихся школы мастеров специализируются на изготовлении стеклянной миниатюрной скульптуры. Из дротиков цветного стекла, раскаленных пламенем газовой горелки, они делают маленькие фигурки птиц и зверей. Эти фигурки восхитительны. Спрос на них с каждым днем возрастает, а фантазия юных скульпторов неисощима...

Побывал я и еще в одном корпусе, где установлена ванная печь для варки хрусталя. Дело в том, что прежде хрусталь варили только в горшковых печах, в сравнительно небольших огнеупорных тиглях. Вот и для этого цеха первоначально были спроектированы также горшковые печи. Но группа заводских инженеров изменила проект и установила ванную печь. Я не могу объяснить все технические тонкости этого дела, но на вопрос, что это практически дает, Фигуровский ответил так:

— Если горшковая печь может дать самое большее 600 тысяч изделий, то ванная даст не менее двух с половиной миллионов. Кроме того, ванные печи повышают качество хрусталя.

Много разных чудес повидал я на этот раз в своем родном городе. А перед отъездом секретарь городского комитета Коммунистической партии передал мне памятную справку с колонкой цифр.

— Это статистика, — сказал он. — Статистика того, что было в Гусе, когда приезжал сюда Михаил Иванович Калинин, и что есть теперь. Сравни эти цифры.

Я понимаю, что цифры едва ли украсят живой рассказ, но и не могу удержаться от того, чтобы не привести их. Сравните и вы.

В 1923 году в Гусь-Хрустальном было:

Жителей — около 15 тысяч.

Весь жилой фонд — 8 казарм и 425 двухквартирных одноэтажных домиков.

Школ — 6.

Учителей — 40.

Библиотек — 1.

Торговых точек — 2.

Детских учреждений — не было.

Лечебных учреждений — 1 больница.

Врачей — 5.

В 1967 году в Гусь-Хрустальном стало:

Жителей — около 70 тысяч.

Жилой фонд — 440 600 кв. метров.

Школ — 21.

Техникумов — 2.

Профшкол — 2.
Музыкальная школа — 1.
Учителей — 870.
Библиотек — 34.
Клубов — 6.
Торговых точек — 153.
Детских учреждений — 45.
Лечебных учреждений — 17.
Врачей — 138.

Общий объем промышленной продукции города — 140 511 тыс. рублей.

В том числе продукции Хрустального завода — 18 352 тыс. рублей.

* * *

...С той поры, как в мещерских лесах задымила первая гута, построенная можайскими мастерами, прошло уже более двухсот лет. Теперь весь этот район можно назвать Гнездом Хрустального Гуся. Восемнадцать заводов, расположенных вокруг самого Гусь-Хрустального, выпускают разнообразнейшую продукцию.

Читатели уже имеют некоторые представления о том, что делается на заводах самого Гусь-Хрустального. Ближайший к нему Курловский завод специализируется на выпуске оконного стекла и зеркал. Уршельский завод изготовляет годовую прессованную посуду. Великодворский — бутылки для молока. Есть заводы, выпускающие бутылки для вин, аптекарскую посуду, флаконы для парфюмерии, трубки для градусников и множество других стеклянных изделий.

Вообще же Гусь-Хрустальный район дает одну треть всей республиканской продукции сортовой хрустальной посуды и пятьдесят процентов всего технического стекла для отечественной промышленности.

Мастеров из Гусь-Хрустального теперь можно встретить на многих стекольных заводах страны, построенных уже в наше советское время. Встречал я их за Байкалом, на стекольном заводе в Улан-Удэ и на заводе «Дагестанские огни», построенном на берегу Каспийского моря. Всюду помогают они осваивать новое производство и высоко держат славу и честь потомственных стеклоделов.

Да и вообще, куда бы ни поехал, куда бы ни пошел я,
езде —

Будто свет зарницы дальней
Над июньской синей ранью,
Город детства — Гусь-Хрустальный
Мне сверкнет алмазной гранью

И до конца дней своих радостно буду нести я в душе
своей этот хрустальный свет, чистый и ясный, как род-
ники моего далекого детства.

1959—1967.

СТРУЖАНЬ

*Это детство мое из замяти
Заструилось Стружанью
в памяти.*

1

В Мещерской лесной стороне, неподалеку от городка, в котором прошло мое детство, течет небольшая речка Стружань. Название ее, как я понимаю, происходит от древнеславянского слова «стружить», что означает — бежать, струиться, вихрясь и завиваясь на поворотах светлыми стружками.

Начинается речка Стружань из трех родничков и сначала бежит по зеленой лужайке, среди голубых незабудок и ярко-желтых цветов купальницы, потом прячется в зарослях черной смородины и черемухи, оттуда убегает в березовую рощу, а уж где-то за рощей, встретившись с другой столь же небольшой речкой, вместе с ней спешит дальше.

Даже на самой подробной карте путь Стружани никак не отмечен — настолько она незначительна. Но незначительна-то она для других, а мне стоит только припомнить себя мальчишкой, как сразу же в памяти возникает виденье Стружани и кажется, будто все, что я пережил, началось из тех же родников, откуда взялась и побежала Стружань...

Наша деревянная слободка называлась Старой Пильней. Прежде там действительно была лесопильня, потом

на ее месте выстроили паровозное депо узкоколейной железной дороги, связывавшей наш городок с торфяными болотами.

Поодаль от депо стояли огромные штабеля сосновых досок, уже потемневшие от дождей и от ветра и как бы тронутые сединой. Под штабелями мы вырыли глубокие норы. В зависимости от характера игры это были либо таинственные пещеры разбойников, либо неприступные крепости, отважно обороняемые доблестным гарнизоном.

За старой Пильней лежала Попова пашня — большой, пестрый от цветов луг, огороженный березовым пряслом. Он принадлежал рыжему попу Валентину, который, проходя в слободку, по обыкновению жаловался, что кто-то помял у него на пашне траву и что там нахально и незаконно пасутся слободские козы. Слобожане отругивались, говорили, что козы их пасутся на огородах и на пашню ходить не приучены.

— А орешки кто набросал? — сердито кричал священник. — Орешки-то, вот они. — Пошарив в кармане подрысника, он доставал горсточку ссохшихся козьих орешков и торжествующе говорил: — Неопровержимо!..

Матери строго-настрого запрещали нам, детям, ходить на пашню: «А то батюшка опять будет лаяться». Но мы нарушали этот запрет. Там в пышной траве во множестве родилась душистая, соблазнительно сладкая земляника и произрастали сочные столбунцы щавеля.

Тут же за пашней зеленел молодой частый ельничек, а за ельничком начинался Казенный лес, пугавший нас своей таинственностью. И вот там-то, на грани между Казенным лесом и ельничком, в овражке били из недр земных три родничка. Три ключика, расположенные ровным треугольником в сажени друг от друга.

Прельстительно заманивало нас к себе это дивное место, затканное шелковистой голубизной пезабудок. Любо было часами сидеть на корточках у родника и смотреть, как на дне его пульсируют круглые обкатанные песчинки, подталкиваемые снизу алмазным током свежей струи. Когда в родничках даже в самую жаркую пору была такая холодная, что, если хлебнешь ее, сладко заночуют зубы.

Но как ни притягательно было очарование Трех ключиков, мы все же ходили туда с опаской. Даже самый храбрый из слободских мальчишек, сын смазчика Ленька Тюрин, по прозвищу Левый бок, подходя к заветному мес-

ту, оглядывался: «На Кирюху Лохматого не нарваться бы, вот беда будет...»

Кирюхой Лохматым звали старого смотрителя лесного кордона. Одинокая сторожка его стояла поблизости от Трех ключиков и, стало быть, не так-то уж далеко от слободки. Но сам лесник появлялся на людях редко, жил непонятной, загадочной жизнью. Говорили, что он знает «слова», может останавливать кровь и заговаривать лихорадку. Поп Валентин порицал лесника за то, что тот не бывает в церкви, а слободские женщины именем его пугали маленьких: «Не реви, а то Кирюха в Казенный лес унесет».

Фамилия у Кирюхи была звериная — Волков. И хотя в слободке и на фабрике жили также Волковы и Волчковы, но то были обыкновенные люди, а применительно к леснику фамилия Волков приобретала особое, пугающее значение.

Мы знали про Кирюху еще одну тайну: в бревенчатой клетке, примыкавшей к его сторожке, с недавнего времени поселился неизвестный Человек. И потому, что Человек жил тишком от других, был он загадочен. Эту тайну мы тщательно скрывали от взрослых, но каким-то чутьем догадывались, что взрослые знают и тоже скрывают ее от нас.

Однажды в начале лета, насмотревшись на игру песчинок в холодных ладонях Трех ключиков, пошли мы по берегу Стружани, рассуждая о том, куда приведет нас она и вообще куда же девается эта вода, вечно исторгаемая нашими родничками. И вот тут-то верстах в двух от Кирюхиного жилья, в березовой роще, неожиданно встретились с Человеком. Он лежал среди мягкой травы, чуть приподнявшись на локтях, и читал какую-то книжку. Левый бок первым увидел его и замер, напряженный, как стрела, готовая сорваться с натянутой тетивы упругого лука.

Почувствовав присутствие посторонних, Человек оглянулся. Мы дружно отступили за куст дикой смородины.

— Чего испугались, экие дурачки! — улыбаясь, сказал незнакомец.

— Ты кто? — храбро спросил Левый бок.

— Человек. А вы кто такие?

— Мальчишки со Старой Пильни.

— Ну, вот и отлично, познакомились.

Лицо у Человека было простое, открытое, обрамленное курчавой светлой бородкой. Серые, широко поставленные глаза добродушно смеялись. По одежде он походил на деповских: синяя сатиновая косоворотка и черные брюки, заправленные в сапоги.

— Куда же это вы направлялись, мальчики?

— За водой.

— Надо говорить: по воду. А идти за водой — значит следовать течению этой речки.

— Мы так и шли за ней от Трех ключиков, — сказал Левый бок, выступив из-за куста на полянку.

Мы шагнули вслед за товарищем.

Человек удивленно свистнул, вытянув трубочкой пухловатые губы.

— Понимаю: отважное путешествие.

— Чего такое?

— Вам захотелось исследовать путь воды. Идея богатая, но осуществление ее связано с огромными трудностями.

— Чего такое?

— Я хотел сказать, что у течения этой воды нет конца.

— А ты почему знаешь?

— Я, братцы мои, в некую пору тоже ходил за водой.

— А теперь у Кирюхи живешь?

Мы думали, Человек испугается, когда узнает, что тайна его раскрыта. Но он не испугался. Легкая усмешка лучиками рассыпалась вокруг его глаз.

— Не много вы знаете, мальчики. Мне о вас больше известно. Вот ты, должно быть, сын смазчика Тюрина, — сказал Человек, обращаясь к Левому боку. — Так или нет так?

— Так, — удивленно сказал наш предводитель.

— Видишь, я догадался. По крайней мере, твой нос, а в особенности эти рыжие зерна веснушек подсказали мне истину.

— Ладно. А где кончается Стружань, тебе тоже известно?

— Она нигде не кончается.

— Ври больше.

— Не имею такой привычки...

— Как же так не кончается?

— Стружань пачинается из Трех ключиков, и бежит она до другой такой же речки, называемой Поля.

— Туда наши ездют сено косить, — сказал Левый бок.

— Возможно. Стружань и Поля, слившись в одну, текут дальше и соединяются с речкой Пра. Пра же впадает в Оку. Это, братцы мои, красивейшая река. Течет она мимо сказочного Касимова, мимо яблочной Елатьмы, мимо древнего города Мурома, а дальше подходит к Волге у Нижнего Новгорода. И там, у самого Нижнего, Волга, принявши Оку, течет все дальше и дальше, минуя города Казань, Симбирск и изгибается возле Самары. Ах, и какой же это распрекраснейший город — Самара! Есть там на одной улице дом, а живет в том доме...

— А что же дальше Самары?

— И дальше Самары течет. До Астрахани. До самого синего моря. Но может случиться так, что и у синего моря, зачерпнув однажды волжской водички, чтобы напиться, ощутите вы, братцы мои, вкус и свежесть наших Трех ключиков.

— Трех ключиков? — с придыханием, зачарованно сказал Левый бок, глядя прямо в рот Человеку.

— Именно. Потому что роднички дают текучую воду. А вода, между прочим, бывает текучая и стоячая. Текучая — это живая вода, стоячая вода — мертвая. Останется она где-нибудь в заводи, подернется тиной и зарастает зеленой кугой.

— Кугушником?

— Кугушником и кувшинками зарастает. С виду-то будто бы и уютно в той заводи, а вода уже мертвая. Не освежишься ею: противная, липкая, душная и затхлая на вкус. А ведь кажется, ничто ее не тревожит, ничто не волнует, и даже кувшинки сверкают золотцем. Но черт бы ее побрал, эту стоячую воду!

Человек ударил кулаком по колену и потемневшими зелеными глазами взглянул на нас.

— Идите, мальчики, идите за вашей живой текучей водой!

Эту встречу мы также оставили в тайне от взрослых.

А в конце лета возле фабрики, у больших железных ворот, чуть не каждый день стали проходить митинги. Взбравшись на бочку из-под мазута, солдаты, фабричные и даже наши деповские кричали: «Долой войну!» — размахивали руками и говорили о революции. Могли ли мы

удержаться от того, чтобы не быть там? У нас было даже свое постоянное место — могучие ветви старого тополя. С высоты их нам все было видно и слышно, хотя понимали мы очень немного. Эти события отвлекли нас от Поповой пашни и даже от походов к Трем ключикам.

Во время одного митинга на бочку взобрался бывший деповский молотобоец, матрос Михайло Зотов, приходившийся дядей Левому боку, и выкрикнул:

— А сейчас, граждане, скажет слово прибывший от окружного комитета Российской социал-демократической партии большевиков товарищ Кириллов.

Все захлопали в ладоши.

Зотов спрыгнул с бочки, а на его место поднялся знакомый нам Человек. На нем были все та же синяя косоворотка и черные брюки, заправленные в высокие сапоги.

Теперь я уже не помню, что говорил он. Но слушали его жадно, как пьют ключевую воду в жаркий, тяжелый день...

Вскоре после того в городке утвердилась новая власть — Совет рабочих и солдатских депутатов. Совдеп, как называли его. Помещался он в двухэтажном доме с широким крыльцом, обрамленным двумя колоннами. До революции там жил управляющий фабрикой и небольшим стекольным заводом, принадлежавшим графу Неклюдову. Сам граф в городке почти не бывал. Здесь всем распоряжался его управляющий, но дом назывался господским.

После Февральской революции управляющий выбыл неизвестно куда. Вот в этом-то доме и утвердился Совдеп во главе с Зотовым. Господский дом теперь называли Домом коммуны.

2

В Совдепе всегда былолюдно и шумно. Пахло махоркой, машинным маслом и пропотевшим сукном солдатских шинелей. Кабинет председателя находился в зале на втором этаже. Широкоплечий, коренастый Зотов, в матросском бушлате нараспашку, с маузером у пояса, сидел за большим канцелярским столом. Впрочем, застать его в кабинете можно было лишь вечером. Целыми днями он пропадал то на фабрике, то на стекольном заводе, то в паровозном депо, а в кабинете дежурила письмоводительница Совдепа, худенькая, вечно дымящая папиросой Татьяна Матвеевна Велихова.

Летом 1918 года Зотов погиб при ликвидации кулацкого контрреволюционного мятежа, вспыхнувшего в соседней Алексинской волости. Похоронили его в братской могиле, рядом с Домом коммуны. Председателем Совдепа вместо него стал пожилой, угрюмый на вид, шlichtовальщик Никифор Гусев. В отличие от шумного Зотова Гусев был скуп на слово, говорил неторопливо, раздумчиво. Прежде выслушает всех, изредка кивая большой, лысеющей головой, потом снимет очки в железной оправе, откашляется, проведет жесткой ладонью по столу, будто разглаживая бумагу, и скажет:

— Значится, так...

Выложив коротко, что думает и как должно быть, переспросит:

— Так, значится? — И если возражений не последует, обращается к Велиховой:

— Значится, Татьяна Матвеевна, пиши...

Чаще других с Гусевым схватывались военный комиссар Бережков и делегатка от прядильной черноватая, похожая на цыганку Пелагея Ягодкина, которую весь поселок называл не иначе, как Поля Ягодка.

Бережков обычно требовал категорических и жестких решений, а Поля Ягодка упрекала:

— Ты что все молчишь? Ты бы с женщинами митинг провел, речь сказал бы. Женщины от слов мягче становятся.

Но обычно с предложениями Гусева соглашались единогласно.

Осень в том году пришла холодная и голодная. Хлебный паек рабочим срезали до четверти фунта на день. Детям выдавали всего осьмушку. Фабрика работала с перебоями из-за отсутствия хлопка. Подвезти его было неоткуда. На юге полыхала война. Стекольный заводик находился не в лучшем положении. Его печам не хватало топлива. Впрочем, топлива не хватало и для жилья. Летом на заготовку дров выезжали рабочие дружины, и дрова были заготовлены, но вывезти из лесу их было не на чем. Конный двор пришел в полный упадок.

Мужчин в поселке становилось все меньше. К первой годовщине Октября здесь был сформирован коммунистический рабочий отряд для отправки на фронт. Отряд провозжали с музыкой, с песнями и со слезами.

В конце ноября ударили морозы, прочно лег снег, и

Поля Ягодка организовала женский обоз для доставки топлива. Каждое утро вереницы женщин с саночками отправлялись на лесосеку и на себе возили дрова. Но сколько они могли вывезти?..

Облицованные кафелем голландские печи Дома коммуны давно уже не топились. Из слишком просторной залы Никифор Гусев переселился в прежний кабинет управляющего. Там поставили железную печурку, которую экономно топили щепой и обломками старой мебели.

В Совет тянулись со всякими пуждами, а нужд с каждым днем становилось все больше и больше, и все они были на виду, и все были главными и неотложными.

В уезде появилась банда некоего Юшки. Однажды Гусеву передали пакет, неизвестно кем оставленный на крыльце Дома коммуны. В пакете была записка, нацарапанная печатными буквами: «Большевицкая сволочь! На новый год мы устроим тебе праздник с иллюминацией».

Прочитав записку, председатель Совдепа нахмурился:

— Значится, угрожают.—И вдруг усмехнулся: «А праздник-то мы, пожалуй, сами устроим. Давай, Татьяна Матвеевна, оповести насчет экстренного заседания Совета. Вызывай всех».

Вечером на экстренном заседании Гусев ошарашил товарищей предложением: под Новый год устроить в Доме коммуны елку для красноармейских детишек.

— Ты что, Никифор, случаем, не того? — удивленно спросил военный комиссар Бережков и постучал костяшками пальцев себе по лбу.

— Значится, нет.

— Право слово — с ума сошел. Время ли теперь елки устраивать. Люди с голоду пухнут.

Но Гусева неожиданно поддержала Поля Ягодка.

— А что же такого? — выкрикнула она. — Хоть чем-то детишек порадовать... Я баб приведу, полы в зале вымоем, по поленцу дров принесем, печки истопим...

Предложение Гусева приняло большинство. И даже добавили: до Нового года всем работникам Совдепа, ЧК, милиции, а также сознательным членам партии отчислять от хлебного пайка половину на гостинцы детишкам.

Хлопоты об устройстве елки взяли Велихова и Ягодка.

— Ой, батюшки, беда-то какая, — сокрушалась Ягодка. — Ни одного гармониста в поселке не осталось. А без музыки какая же елка.

— Да что тебе гармонист, вон в зале рояль стоит. На ней и играй, — успокоил Гусев.

— А кто играть будет?

Вспомнили, что на рояле может играть жена доктора Брянцева Ольга Ивановна. Для переговоров ее вызвали в Совдеп.

Встревоженная вызовом, докторша пришла вместе с мужем.

— Значится, к вам у нас просьба, — начал Никифор. — Вот такое-то дело...

Узнав, о чем ее просят, Ольга Ивановна согласилась, но пожелала проверить инструмент. Ее проводили в холодную залу. Открыв рояль, докторша побренчала по клавишам и объявила:

— На этом инструменте играть невозможно.

— Буржуазии было возможно, а для пролетарских де-ней нельзя? — багровея лицом, сурово выговорил начальник ЧК Зотов.

— Рояль совершенно расстроен.

— Это, должно быть, Сашка Сильченко доканал его, — сконфуженно объяснил Гусев. — Он, значится, одним пальцем «Интернационал» тут разучивал.

— А настроить вы можете? — спросили у докторши.

— Нет, тут нужен настройщик.

Но человека, который мог бы настроить рояль, в рабочем поселке не было. Тогда решили послать секретаря Союза Коммунистической Молодежи Сильченко как главного виновника порчи рояля в губернский город Владимир за настройщиком. Мастера привезли и за два фунта хлеба он наладил инструмент. Сильченко же вызвался привезти из лесу елку. Ее установили в зале. Татьяна Матвеевна и Поля Ягодка начали убирать зеленое деревце гирляндами, склеенными из разноцветной бумаги, стеклянными шариками, которые для такого случая выдули заводские стеклодувы. Шарик эти у нас назывались «галками».

Работники Совдепа по несколько раз в день заходили поглядеть, как украшается елка.

— Тут, значится, свечи нужны бы, — мечтательно говорил Гусев. — Да где их возьмешь теперь?

— Свечи я, пожалуй, достану, — обпадежил начальник ЧК. — С попом поговорить надо.

Какой разговор состоялся с попом, начальник ЧК оста-

вил при себе, но два десятка тоненьких церковных свечей передал Поле Ягодке.

Вечером 31 декабря Дом коммуны сиял всеми окнами. С утра натопленные печи источали сладостное тепло. Матери привели ребятишек. В прихожей на первом этаже навалом лежали пальтишки. Поля Ягодка, повязанная новой красной косынкой, разбуряившаяся от волнения и словно помолодевшая, кричала: «Постойте, постойте... Сейчас я свечки зажгу!»

И вот распахнулись двери просторной залы. Нарядная елка, сверкающая огнями, вызвала шумный восторг. Ольга Ивановна, ударив по клавишам, заиграла турецкий марш. Сам Никифор Гусев сказал приличествующее торжественному моменту слово. И забурлило веселье. Татьяна Матвеевна и две молоденькие учительницы завели хоровод. Пели «Смело, товарищи, в ногу», «Каравай» и протяжно-жалостливую «Слети к нам в тихий вечер на мирные поля»... Потом одна из учительниц спросила:

— Дети, кто из вас знает стишок или песенку?

— Я знаю песенку, — сипло отозвался черноглазый малыш лет шести в ситцевой синей рубашке и смущенно потупился.

— Вот и отлично, — похвалила учительница. — Как тебя зовут, мальчик?

— Лёха.

— Это же Ленька Маринцев! — обрадованно выкрикнула Поля Ягодка. — У него отец в Красной Армии.

— Леня, так спой же нам песенку! — сказала учительница.

Осмелевший мальчик шагнул вперед, шаркая большими подшитыми валенками, уставился ясными глазами на елку и, шумно шмыгнув носом, запел:

Тятка с мамкой на полатах,
А я, мальчик, на полу.
Тятка мамке греет спину,
А я, бедный, никому.

В зале громыхнул хохот. Поля Ягодка, схватившись обеими руками за живот и будто переломившись, смеялась до слез. По лицу учительницы пошли красные пятна.

— Вот это, значит, удружил! — качал головою Никифор Гусев.

— А я еще знаю, — окончательно осмелел отважный певец.

— Нет, нет. Довольно, — сказала Татьяна Матвеевна. — Теперь, дети, давайте петь хором. Ну-ка! — И, как регент, взмахнув руками, начала неестественно сладким голосом:

В лесу родилась елочка,
В лесу она росла...

Тут в дверях появился чем-то взволнованный Сильченко. Беспокойно пошарив глазами, он нашел Гусева и, протиснувшись, зашептал ему на ухо.

Никифор нахмурился, кивнул головой одному, другому, третьему и озабоченно направился к выходу.

— Куда? — шепотом спросила у него Поля Ягодка.

— Ты, Пелагея, значитесь, займись тут. А мы — по делу...

Татьяна Матвеевна продолжала петь про зеленую елочку, детишки нестройно вторили ей, а докторша старалась подобрать мотив на рояле, что было не так-то просто. Веселье било ключом. Лишь Поля Ягодка все оглядывалась на дверь.

Гусев вернулся минут через сорок.

— Ну, как тут? — спросил он, весело улыбаясь. — Поди-ко, уж и гостинцы пора раздавать. Ну-ка, Поля, распоряджайся.

Две женщины внесли в залу большую корзину, полную мелко нарезанными кусочками черного хлеба.

— Хлеб... Хлеб! — восторженно закричали детишки.

— Хлебушек! — зачарованно прошептала чья-то белокурая девчушка и всплеснула руками.

— Становитесь в очередь, да не толкайтесь, всем хватит, — деловито распоряжалась Поля Ягодка. — Всем, говорю, достанется. По целой четверке вышло. Вот вам гостинцы-то.

Ребятишки толпились вокруг нее, тянули ручонки, и она совала в каждую руку по кусочку колючего, тяжелого, но так завлекательно пахнущего черного хлеба.

Одни из ребят тут же торопливо и жадно жевали, другие, отойдя в сторонку, рассматривали черные куски, будто это были сладчайшие пряники.

После раздачи хлеба Татьяна Матвеевна стала снимать с елки стеклянные шарики и одаривать ими детей.

Мне досталась золотисто-желтая галка с белым пятнышком, похожим на летящую птицу.

Поля Ягодка гасила догоревшие свечи. Внизу матери одевали своих ребят.

Елка кончилась. В Доме коммуны остались только свои, совдеповцы. Все собрались в кабинете Гусева.

— Никифор, чего молчишь, что там случилось-то? — начала Поля Ягодка.

— Что, что... Склад хлопка на прядильной подожгли.

— Господи! Как же теперь?

— Значится, потушили. Заметили вовремя. Я ведь Золотову загодя сказал, чтоб наряд усилили. Книны три всего обгорели. А эти, которые поджигатели, через фабричный забор сиганули, но Золотов со своими ребятами и Сашка Сильченко в догон за ними поили. Да вот, кажись, и вернулись, — сказал председатель, прислушиваясь к топоту шагов на крыльце.

В кабинет вошли облепленные снегом, возбужденные начальник ЧК и Сашка Сильченко.

— Ну? — спросил Гусев.

— Все! — ответил Золотов и, вырвав из рук председателя самокрутку, жадно затянулся едким дымком самосада. — Трех взяли живьем, а двух — в том числе самого Юшку — ухлопали. Юшку-то, вот, Александр срезал.

— Он по мне из нагана ударил, — сказал Сильченко, — а я по нему... Подбежали, глядим, он хрипит уже и снег руками царапает...

— Ой, страсти какие! — охнула Ягодка.

— А праздник-то все-таки мы устроили, — усмехнулся Гусев. — Значится, верх-то за нами остался.

— Иначе и быть не могло, — сказал Бережков. — Я так думаю, товарищ Гусев, что мы навечно теперь утвердились.

...Из тех, кто в канун девятнадцатого года устраивал эту елку, теперь, насколько я знаю, в живых осталась только одна старая пенсионерка Пелагея Андреевна Ягодкина. Да уж и из тех, для кого Совдеп устраивал елку, тоже осталось немного. Годы идут, люди старятся.

3

Несколько лет тому назад мне по делам службы понадобилось съездить в деревню Лесники, расположенную

в Мещерской стороне, километрах в двадцати от станции Тума. Из-за снежных заносов автобус на этом участке не ходил уже вторую неделю. Подыскав на вокзале попутную подводу, я сторговался, подождал, пока подвочник справит свои дела, потом уселся в широкие розвальни, прикрытые овсяной соломой, и мы поехали.

В полях было вяжуще и холодно. Порывистый ветер бросал в лицо колючие вихри поземки, трепал сухие кусты черныбыльника, кое-где торчавшие из-под снега, и тербил голые, заиндеветшие ветви придорожных берез. Небо сурово хмурилось сизыми тучами.

Подвочник попался неразговорчивый, всю дорогу он сидел, завернувшись в дубленый тулуп, и только на ухабах, когда розвальни сильно встряхивало, он всем туловищем оборачивался назад, чтобы убедиться тут ли еще пассажир.

— Слава богу, душа на месте...

В Лесники приехали засветло, но дорогой меня так настудило, что захотелось сразу же позаботиться о ночлеге.

— А вы, гражданин, у Якуниной станьте, — посоветовал возчик. — Женщина она вдовая, живет только с дочкой. Все начальство у ней останавливается. Глядишь и для вас местечко найдется.

Изба у Якуниных была старая, рубленая по образцу, принятому в здешних местах: большую часть кухни занимала широкая русская печка с лежанкой и полатами, потом была еще горница с боковункой, отгороженной филенчатой переборкой и отделенной от горницы не дверью, а цветастой ситцевой занавеской.

— Вот тут и отдохнуть можете, — певуче сказала хозяйка, сероглазая круглолицая женщина лет сорока, проводив меня в боковушку, где стояла деревянная кровать, застланная пестрым стеганым одеялом, сшитым из разноцветных клинышков.

— У нас часто заезжие останавливаются. Вы располагайтесь как дома, а мне-то еще на ферму надо сходить. Может, молочка испить захотите, так на шестке в крынке топленое...

Хозяйка ушла. В боковушке было тепло и уютно. Клонило ко сну, и я задремал, хотя до вечера было еще далеко.

Спалась мне зимняя полевая дорога, горбатые прясла

деревенских околиц да елки, похожие на кораблики, неведомо куда бегущие по снежному океану. Потом сквозь эту унылую неразбериху сна стала вдруг пробиваться напевная французская речь.

Я открыл глаза, увидел низкий, потемневший от старости потолок, ситцевую занавеску, отделявшую боковушку от горницы, но по-прежнему, как и во сне, слышал молодой голос, читавший по-французски стихи.

Кто мог читать их здесь, в глубине Мещерского края, где люди, как мне казалось, целиком были поглощены заботами о земле, о картошке, об удоях молока?

Мне доводилось бывать в этих местах и прежде, очень-очень давно, почти сорок лет назад. И самому мне было тогда всего одиннадцать лет.

Была гражданская война, наступали разруха и голод. Собрав кое-какие пожитки, мать сказала мне:

— Давай, Витюшка, под Туму съездим. Может, картошечки да маслица выменяем.

Поручив малышей заботам соседки, мы по чугунке поехали в Туму, а от Тумы пошли пешком.

В Лесниках пришлось нам ночевать у какой-то солдатки. Меня положили на печке с хозяйскими ребятишками. Было там жарко и душно. В углах густо шуршали рыжие тараканы. Хозяйских ребятишек было двое: один, пожалуй, приходился мне ровесником, другой года на три моложе. Мы лежали на печке и отчужденно посапывали, стесняясь друг друга. В кармане у меня была «галка» — золотисто-желтый стеклянный шарик. Я захватил его тайно от матери, рассчитывая променять в деревне на репу. Но тут, размякнув в тепле и преисполнившись чувством благодарности к приютившим нас чужим людям, я молча сунул «галку» младшему мальчику. Он тоже молча зажал ее в маленькой горячей ладошке и только сильнее засопел. А две солдатки — хозяйка и моя мать — сидели в потемках и говорили о своих горестях.

— А голомечко ли ты замужем-то? — спрашивала хозяйка у матери.

— Как?

— Замужем-то, баю, голомечко ли? — повторила хозяйка.

— Да что-то я не пойму.

— Она спрашивает, давно ли, мол, замужем, — хриловатым баском сказал с печки старший мальчик.

— А по-каковски же это вы говорите-то? — спросила мать.

— А по-здешнему, по-деревенски. Мы ведь, родная моя, неграмотные...

После, рассказывая об этом своим соседкам, мать неизменно добавляла:

— Вот уж сторона-то глухая. И люди-то говорят так, что понять невозможно. Парнишечка-то, видно, в училище бегаёт, так уж он объяснил. А то голомечко да голомечко, а что оно значит, поди догадайся.

Вот какими мне и запомнились старые Лесники.

Конечно, здесь, как и всюду, с тех пор произошли немалые перемены. Но все-таки французские стихи, звучащие в деревенской избе, удивили меня.

Я встал и тихонько выглянул в горницу. За столом под электрической лампочкой сидела девушка лет семнадцати, очень похожая на хозяйку, и вслух читала стихотворение из школьного учебника французского языка.

— Ой, никак разбудила я вас? — сказала девушка, заметив меня. — Привыкла вслух уроки готовить...

— Где же это вы французский язык изучаете?

— В школе, — ответила она, слегка удивившись моему вопросу. — В девятом классе. В других школах английский или немецкий учат, а у нас французский. Это вот почему: наша учительница Сусанна Борисовна приехала из Ленинграда. Она и там преподавала французских язык. Потом, во время блокады, чуть не умерла от дистрофии. Здесь ее подлечили, поправили, и она осталась в Лесниках навсегда.

Я сказал, что вот, мол, очень хорошо, что и колхозная молодежь имеет возможность изучать иностранные языки.

— Конечно, хорошо, — согласилась девушка. А то вот Маша Захарова — очень известная доярка из Константиновского колхоза, вы, может быть, слышали, — была на фестивале в Москве. Встречалась там, конечно, с французами и англичанами. А разговаривать не могла. Языков не знает. Ну, только я тоже, если случится, не смогу разговаривать. По грамматике у меня «четыре», а произношение не получается.

— Значит, надеетесь, что на какой-нибудь фестиваль попадете? — усмехнувшись, спросил я.

— А почему же? Вот кончу школу, буду работать, и

можно всего достичь, — серьезно сказала она. — У мамы, например, образование всего три класса, и она очень многого достигла. О ней даже в районной газете писали.

— Вы что же, после школы в колхозе думаете работать?

— В колхозе. У меня подруга есть, Надя Федотова, так мы с ней решили, что будем в колхозе работать. Это прежде молодежь из колхозов стремилась уехать, а теперь многие после школы на фермы и в полеводство работать идут. Изменилось.

— Что изменилось?

— Ну, положение изменилось. И порядку стало больше, и перспективы яснее, а значит, и интерес появился.

Взглянув на часы, девушка собрала книжки, тетради, лежавшие на столе, убрала чернильницу и сказала:

— Самовар ставить надо. Скоро мама придет.

— Что-то задержалась она на ферме.

— Да у нее нынче приемный день в сельсовете, ведь она у нас депутат. Нет, не Верховного, а районного Совета, но все равно забот много.

Девушка вышла на кухню и стала хлопотать с самоваром, а я принялся рассматривать семейные фотографии Якуниных, развешанные в переднем углу. На одном из снимков узнал я хозяйку еще совсем молодой. Она стояла об руку с крепким коренастым мужчиной лет двадцати пяти. «Молодожены», — подумалось мне. Потом я увидел этого же мужчину, но уже в более зрелом возрасте. И одет он был в солдатскую форму. И тут же рядом в застекленной рамочке висела вырезка из армейской газеты военных лет. Это была коротенькая заметка, озаглавленная: «Подвиг рядового Якунина». Я старался разобрать слеповатые строчки заметки. В горницу вошла дочка хозяйки и, заметив мое любопытство, сказала:

— Это про нашего папаню. Он в сорок четвертом под Львовом погиб. А тут вот мама, когда в Рязань на совещание ездила, — указала она на групповой снимок. — А это я, когда седьмой класс окончила.

Одну за другой показывала она фотографии, в какой-то степени отразившие судьбу простой деревенской семьи.

Потом пришла хозяйка.

— Опять завьюжило на улице, — сказала она, раздеваясь,

— Метет?

— Подваливает. Ну, да снежок-то он к делу. Пусть поплотнее прикроет — озимям лучше.

За чаем хозяйка стала рассказывать о заседании сельского Совета, о том, как «строгали» какого-то Никонова. «Я ему говорю: ты сено-то во вторую бригаду не опоздай завезти, а то напумим да и осраимся...»

В словах ее и в тоне, каким она рассказывала об этом, звучала строгость и требовательность. И было видно, что хозяйкой себя эта женщина чувствовала не только здесь, в собственной вдовьей избе, но и в большом артельном хозяйстве. Эту догадку я и высказал ей.

— А как же иначе? — удивилась она. — Меня ж народ выбирал. Неужто мне теперь только самой до себя?

Она помолчала, задумавшись, и вдруг снова заговорила с искренней горячностью:

— Да разве только колхозные заботы у нас? Третьего дня на ферме беседу у нас проводили. Агитатор от партийной организации. О мире и чтобы против войны... Господи, мне ли уж не знать, сколько горя война-то приносит?..

Она словно нечаянно взглянула на стенку, туда, где в рамочке висел портрет покойного мужа, так же, словно нечаянно, смахнула блеснувшую на реснице слезу и продолжала:

— Мне ли уж, говорю, не знать горя-то? А вот кабы все женщины, сколько есть их на свете, протянули бы руки друг дружке да сказали бы: «Никакой войне не бывать!» — Ведь это сила! Ведь это счастье было бы для всех! Правильно или нет я своим умом понимаю?

Она опять умолкла в раздумье. Потом встала из-за стола и начала убирать посуду.

— Ложитесь отдыхать. Завтра с утра на работу надо. И ты не засиживайся, Катерина, — строго сказала она дочери. — Уроки выучила?

— Учпла.

— Ну и ложись.

Утром на завтрак хозяйка подала жареную картошку и творог. Потом пили чай. Когда Катерина доставала из горки цветастые чашки, я заметил на средней полочке «галку» — стеклянный шарик, золотисто-рубиновый, с белыми, молочными прожилками, и спросил.

— Откуда это у вас?

— Папанина память, — сказала девушка. — Это ему подарили заезжие люди, когда он был еще мальчиком. Вот сохранилась. Красивая штучка. Правда?

Я вглядываюсь в шарик и думаю: «Уж не тот ли это, который я много-много лет назад отдал одному лесниковскому мальчику? У того шарика на боку было белое пятнышко, похожее на летящую птицу. Здесь я не увидел его. Но ведь я видел сейчас только одну сторону шарика, может быть, пятнышко было на той, которую я не видел?»

Не знаю, не знаю...

Но снова припомнилось мне мое детство, и речка Стружань, и елка в Доме коммуны. Много лет прошло с тех пор. Должно быть, много воды утекло в нашей речке. Шестой десяток и я иду по дорогам трудного века. Но когда мне бывает особенно тяжело и возникает сладкий соблазн остановиться и отдохнуть в какой-нибудь тихой заводи, я вспоминаю рассказ Человека, вспоминаю совдеповцев из Дома коммуны, шумную Полю Ягодку, чувствую, как чья-то дружеская рука опять поднимает меня и зовет все вперед и вперед за живой, бегущей водой Великой и Вечной Стружани.

1962

ЧЕРНИКА

В конце декабря Дмитрий Васильевич Колесов получил посылку — небольшой мешочек сушеной черники. Там, откуда пришла в Москву эта посылочка, черника родится в сказочном изобилии. Летом ее собирают мерными кузовами, сушат вилок, а зимой варят из нее кисели, делают настойку, чаще же всего она идет как начинка к пирогам. Для этого сухую чернику ошпаривают крутым кипятком, дают отстояться, чтобы разбухла, потом для сладости добавляют немного сахара, и начинка готова.

Ах, какие пироги с черникой пекла его мать! Бывало, зимним праздничным утром встанет она пораньше, разделает тесто, приготовит начинку, завернет небольшие пирожки, поставит их на противне в «вольную» печь и озабоченно поглядывает — когда подрумянятся. Потом вынет, уложит на стол, прикроет чистым полотенчиком, чтобы «отдохнули», и тогда уже будит детишек: «Вставайте, ребята, пора завтракать, я пироженчиков напекла».

Возьмет Митя в руки пышный, румяный, еще теплый пирожок, разломит над тарелкой, а он весь сочится густой темной сладостью. И сразу запахнет свежей ягодой, летним солнечным зноем, молодыми березками. А мать попробует и скажет, вздохнувши: «Кажись, нынче не больно удачные — то ли мука что-нибудь, то ли дрожжи».

Какое там — не больно удачные! В одно мгновение дети расправятся с пирожками и еще скажут: «Ты, мама, в следующий раз побольше напеки».

Как давно это было! Ах, как давно...

Получив посылку, жена сказала, что надо пересыпать чернику из мешочка в стеклянную банку и заодно пере-

братъ. Дмитрий Васильевич смотрел, как проворно и ловко выбирает она сухие, поблекшие листочки, изредка попадающие среди ягод, и вдруг необычайно живо вспомнилось ему одно черничное лето.

Жили они тогда в деревянной слободке на окраине маленького рабочего города с дивным названием — Гусь-Хрустальный. Мите было уже семнадцать лет, и он работал помощником машиниста на лесопилке в двадцати километрах от города. Обычно он уходил туда на целую неделю и возвращался только в субботу, чтобы воскресенье провести дома.

Лето в том году выдалось знойное, дупиное. Мелкая зеленая травка, которой с весны зарастала улица слободки, выгорела, сделалась рыжей и жесткой. С огородов горьковато пахло сухой полынью. Даже листья молоденького тополька, что рос у них во дворе, покоробились и кое-где зажелтели.

Как-то в субботу, вернувшись с лесопилки пропотевшим и запыленным, он скинул рубашку и вышел во двор помыться. Мать сливала ему из большой медной кружки и говорила:

— Чудно вы, мужчины, моетесь — фыркаете, плещетесь. Вот и меня всю забрызгал. — Потом, совсем другим голосом, сказала: «Здравствуйте».

— Это кому?

— Да воц, к Нестеровым Ольга приехала.

Нестеровы были соседями Колесовых. Их племянница Ольга жила во Владимире, но каждое лето приезжала гостить. Митя знал ее с детских лет, еще с тех пор, когда она вместе со всеми слободскими мальчишками и девочками играла в лапту или в салочки. Они были ровесниками. Прошлым летом Ольга не приезжала. Впрочем, ему это было совсем безразлично...

Вымывшись и переодевшись в чистое, он вышел на крыльцо. На крылечке соседнего дома стояла Ольга. Сразу он даже и не узнал ее, так изменилась она за эти два года.

На ней было легкое желтое платье с очень короткими рукавами. Насколько он помнил, она всегда была смугловатой. В слободке ее даже дразнили Цыганочкой. Но прежде он не замечал, что эта смуглота была такой золотистой и нежной, а на лице — чуть розоватой. Черные,

слегка волнистые волосы ее были острижены коротко, по-мальчишечьи.

— Здравствуй, Митя, — сказала она.

Это «здравствуй» получилось у нее как-то певуче. Он даже смутился и ничего не ответил.

Ольга усмехнулась, подошла к пизенькому заборчику, разделявшему их дворы, и позвала:

— Ну, подойти же сюда.

Митя спустился с крылечка, подошел и встал рядом с нею.

— О, как ты повзрослел, — сказала она. — Я это заметила, еще когда ты умывался. И глядите-ка — усики. Уже бреешься? — Она легонько, одним пальчиком, коснулась его верхней губы, на которой — он-то знал! — не было никаких усиков, а просто пробивался темный пушок.

— Ты в сад собрался?

— Угу, — подтвердил он.

— Пойдем вместе.

Старый городской сад считался у них главным, а вернее — единственным местом общественного гулянья. По субботам и воскресеньям там, в беседке, играл духовой оркестр под управлением бывшего военного капельмейстера Скачкова, и в этот сад, как по повестке, как на что-то обязательное, устремлялась вся молодежь рабочего городка. Оркестр почти без перерыва играл старинные вальсы, падеспань и особенно правившуюся капельмейстеру польку-бабочку. Вокруг музыкантской беседки имелось некое пространство для танцев. Земля здесь так была утоптана подошвами и утрамбована каблуками, что даже лоснилась. Танцевальную площадку как бы обрамляла липовая аллея, по которой с восьми часов вечера до двенадцати ночи густым потоком кружили гуляющие. В двенадцать Скачков стучал палочкой по пюпитру, оркестр играл «Турецкий марш», и публика начинала расходиться из сада.

Когда они пришли в сад, гулянье было в самом разгаре. В листве деревьев сияли желтые груши электрических ламп. Оркестр уже второй раз играл польку-бабочку. Пахло горячей пылью и потом.

— Возьми меня под руку, — сказала Ольга.

Под руку! В их городе, по неписаным правилам, считалось, что «под ручку», да еще на виду у всех, парень с девушкой ходят в том случае, когда отношения между

ними столь близки, что их не скрывают, и весь городок уже знает, что такая-то «гуляет» с таким-то.

Митя еще ни разу не ходил под ручку ни с одной из девиц, а тут вдруг сама говорит: «Возьми...»

Он взял ее под руку. Чувство смущения, неловкости и в то же время неизъяснимой нежности захватило его. Казалось, через смугловатую кожу девичьей руки передавался ему жаркий ток волнующей тайны всего ее тела.

Он уже не помнит, о чем говорили они, кружа в толпе гуляющих по широкой аллее. Потом подошли к танцевальному кругу. Оркестр как раз начал «Амурские волны», и Ольга предложила:

— Давай потанцуем.

— Мне что-то не хочется. Ты потанцуй с кем-нибудь, а я погляжу.

Признаться в том, что он не умеет танцевать, Митя постеснялся.

Сначала ее пригласил Шурка Никитин из главной конторы, потом она танцевала с каким-то совсем незнакомым парнем, и Мите было неприятно, что это не он, а кто-то другой кружится с нею в вальсе. Наконец Ольга вернулась, возбужденная, зарумянившаяся, с сияющими глазами, и, отдышавшись, сказала:

— Ох, совсем закружилась! Теперь давай погуляем.

— Мне домой пора, — хмуро ответил Митя.

— Уже?

— Завтра надо пораньше встать и пойти по чернику.

— Неужели поспела?

— Нынче ранняя.

— Митя, милый, так ты возьми и меня!

— Я далеко пойду.

— Ну и что же.

— Ладно, возьму.

Они условились, что в пять часов утра Митя будет ждать ее у калитки.

— Только не проспай.

— Я лягу в сенцах, ты постучи, — сказала она.

Утром он осторожно постучал в тесовые сенцы Нестеровых.

— Сейчас, — теплым шепотом ответила Ольга и минут через пять вышла, еще заспанная и какая-то очень прежняя, в тапочках на босу ногу и в старом ситцевом

сарафантике, из которого она уже выросла. Сарафанчик был короток ей и тесен.

— А кузовок где?

— Вот дурочка — приготовила и забыла.

Ольга снова шмыгнула в сенцы и вернулась с таким же, как у него, берестяным коробчатым кузовом.

— Теперь пошли. — И вдруг спросила: — А не заплутаемся?

— Не бойся, лес-то я знаю...

Лес он знал хорошо. Там у него были свои заповедные места, где вызревала особенно крупная и прямо-таки осыпная черника. Бывало, присядешь в густой черничник, поджав колени, поставишь перед собой маленький кузовок-наборыш и начинаешь обеими руками доить в него с веток спелые ягоды. Набрав полный, пересыплешь в большой кузов, потом, прямо на коленях, переползешь на другое, еще не обобранное местечко, и снова за дело.

Особенно черничным считался Синий Бор за Вековской стражей. Туда-то они и направились.

Правда, до Вековской стражи надо было идти верст пять, но Мите хотелось, чтобы Ольга увидела богатство здешнего леса. Да и дорога туда была уж очень красивая — вдоль старой просеки, густо обрамленной кустами орешника и черемухи.

Миновав сторожевую вышку и домик полесника, пригнувшийся у перекрестка двух просек, они свернули по мшистой тропочке в чащу березняка, за которой начинался уже сам Синий бор. Тут стали встречаться прогалинки, поросшие черничником, и Ольга, заметив ягоды, нетерпеливо восклицала:

— Вот она, вот же черника, давай собирать!

— Нет, еще не дошли, — говорил Митя.

Наконец перед ними открылась прогалинка, сплошь черная от обилия ягод. Ольга даже руками всплеснула:

— Да что же это, Митя, ты погляди, как много ее!

— Вот здесь и будем собирать. Ты начинай с этого края, а я пойду с другого, навстречу тебе.

— Зачем же так, лучше уж рядышком.

— Ну давай рядышком.

Они поставили кузова под большую приметную ель, а сами, взявборыши, присели в черничник и принялись собирать ягоды.

Наполнив первыйборыш, Митя поглядел, как шло

дело у Ольги. У нее-то не было еще и половины наборыша. Да и собирала она небрежно — ягода была сорная, попадалось много листочков.

— Так не годится, — строго сказал он. — Ты возьми веточку, тряхни ее и легонько потяни на себя. Тогда спелые ягоды упадут в горсть, а те, что еще не доспели, да и листочки — на ветке останутся.

— А ну-ка покажи.

Митя показал, как надо по-настоящему брать чернику. Ольга быстро переняла это, и дело пошло лучше. Они сидели на корточках рядом, то бок о бок, то друг перед другом. Иногда их руки тянулись к одной веточке и как бы нечаянно встречались. Каждый раз при этом Митя испытывал такое чувство, будто прикасаясь к чему-то запретному, но столь желанному, что это прикосновение жарким током отзывалось в нем, томило и снова влекло...

А солнце поднялось уже высоко. В лесу гуще запахло смолистой хвоей, горечью березовой коры, вереском и грибницей. Мите захотелось есть и он предложил:

— Давай червячка заморим.

— Да я и так уж — одну горстку в наборыш, другую — в рот, — призналась Ольга.

— Ну, ягодой сыт не будешь.

У него была с собою краешка ржаного хлеба, кусочек сала и лук. Они устроились под елкой, возле своих кузовов, и стали закусывать.

— Вот какой ты молодец, — говорила Ольга. — Мне и невдогад еды захватить, а у тебя все нашлось. И как вкусно!

Позавтракав, снова начали брать чернику. Митя уже наполнил свой кузов доверху и стал помогать Ольге, когда она окликнула:

— Митя, посмотри, какая красивая ящерица!

Он глянул и увидел среди кустов черничника медянку, свернувшуюся золотистым кольцом. Ольга потянулась к ней. Змейка зашевелилась, подняла голову и открыла пасть.

— Берегись, ужалит! — крикнул он и мгновенно, не раздумывая, оттолкнув Ольгину руку, быстро схватив медянку за хвост, отбросил ее.

— Ядовитая? — шепотом спросила Ольга и посмотрела на него большими глазами, полными ужаса.

— Конечно, ядовитая.

— Уйдем отсюда.

— Да ты не бойся, она уже не подползет.

— С тобой я ничего не боюсь, но лучше уйдем. Ведь и кузов у меня почти полон.

— А может, доберем? Немного осталось.

— Нет, хватит, а то нести тяжело.

— Как хочешь.

Они нарвали листьев папоротника, чтобы прикрыть чернику, пристроили кузова за плечи и пошли.

За Вековской стражей, уже на просеке, Ольга спросила:

— Ты за меня испугался?

— Конечно.

— А если бы она тебя укусила?

— Ну, мне-то не впервой расправляться с ними.

— Я не знала, что ты такой смелый...

Жарко пекло высокое солнце, кузова оттягивали плечи. В орешнике перекликались какие-то птицы. Бабочки кружились над пестрой травой. Гудели шмели. Где-то закуковала кукушка, и Ольга торопливо спросила:

— Кукушка, кукушка, сколько нам жить?

— Почему «нам»?

— Ну, нам с тобой.

Кукушка на мгновение замолкла, словно задумалась, и снова начала куковать. Они оба считали, считали и сбились со счета, а в лесной чаще еще слышался уже приглушенный дально голос вещуньи.

— Долго нам жить! — счастливо засмеялась Ольга и сказала: — Знаешь что, давай посидим, отдохнем.

— Подожди, тут шагов через сто я знаю одно местечко — маленькая полянка и родничок.

— Веди. Я за тобой — куда хочешь...

Пройдя еще немного, они свернули с просеки. Митя раздвинул шторку кустарника, и перед ними открылась полянка, вся покрытая цветами. Розовая кашка перепуталась тут с синими колокольчиками, золотым зверобоем, пунцовыми звездочками дикой гвоздики и желто-фиолетовым изобилием ивана-да-марьи.

— Какая прелесть! — обрадовалась Ольга. — Будто в маленькой комнатке!

Они сняли и поставили в траву кузова. Ольга села в тени орешника, а Митя растянулся рядом, уткнувшись лицом в траву.

Несколько минут они оба молчали. Вдруг Ольга резко встрепенулась и вскрикнула. Он поднял голову.

— Что ты?

— Ой, у меня тут муравей или клещ... Вот, я держу его. Помоги вынуть. — Одной рукой она придерживала ткань сарафанчика на груди, а другой схватила его руку и потянула к себе: — Помоги же... Постой, я только растегну пуговку...

Он вытаскил у нее из-за пазухи полураздавленную козявку.

— Просто божья коровка.

— А я думала, это клещ. Насмерть перепугалась. Чувствуешь?

Дрожащими пальцами Митя чувствовал упругую выпуклость девичьего тела, слышал, как отчаянно стучит не ее, а его сердце, как пружинисто поднимается жаркая кровь. И тут Ольга с тихим стоном откинулась навзничь, все еще держа его за руку. Глаза ее были полужакрыты, и, как показалось ему, замутились, а губы, совсем темные от черники, жадно ловили воздух.

Митя перепугался. Ему представилось, что от знойного солнца и пьянящей лесной духоты она потеряла сознание и даже может сейчас умереть. Он метнулся к роднику, чтобы достать воды, зачерпнул ее кепкой и торопливо вылил на голову Ольги. Она вздрогнула, выдохнула: «Ой!», открыла глаза и села, оправляя платье. У ног ее лежал опрокинутый кузов. Почти вся черника высыпалась в траву.

— Господи, что со мной? — томно промолвила она, вытирая рукою мокрое лицо и шею.

— Должно быть, солнцем нажгло.

— Пойдем, — сказала Ольга, поднимаясь с помятой травы.

— Да ты отдохни.

— Нет, нет, сейчас же пойдем.

— Давай хоть чернику соберем.

— Не надо, — с жестким упрямством возразила она.

— Ну, я тебе из своего кузова пересыплю, а то тетка Наташа рассердится.

Он отсынал ей ягод из своего кузова, и они пошли. Ольга впереди, Митя за нею.

Она всю дорогу молчала и у калитки даже не попрощалась с ним.

Вечером Митя спросил у тетки Наташи Нестеровой:

— Оля не собирается в сад?

— Уморилась она. Лежит, даже обедать не стала. Куда ходили-то?

— За Всковскую стражу.

— Ну разве можно так далеко...

В этот вечер Митя тоже не пошел в сад, а утром чуть свет, отправился на лесопилку.

Нестерпимо долго тянулась для него эта неделя! Все время он думал только о том, как увидится с Ольгой и как пойдут на гулянье в сад, и, может быть, она снова скажет: «Митя, возьми меня под руку...»

В субботу, отпросившись пораньше, не чуя ног, спешил он домой, а вымывшись, переоделся, пригладил перед зеркалом волосы и спросил у матери:

— Не знаешь, как Ольга?

— Что — Ольга?

— Да устала она тогда с непривычки. А сейчас, может вместе в сад пойдем.

— Эка, хватился! Она еще во вторник уехала.

— Как так уехала?

— Взяла да уехала...

С тех пор он не видел ее. Нестеровы говорили, что племянница окончила техникум, вышла замуж. А в Гусь-Хрустальный больше так и не приезжала.

— ... Ты что задумался, милый? — спросила жена, пересыпая в банку последние горсти черники.

— Да вот вспомнил, как однажды просыпали чернику из кузова и не собрали, а сейчас стало жалко, — ответил Дмитрий Васильевич.

1966

СЛЕД ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

На Казанском вокзале Сергей Лобасов неожиданно встретился с Дымовым.

Невысокий, подбористый блондин, одетый с аккуратностью, которая отличает эстрадных конферансье или метрдотелей, Дымов первым заметил и окликнул Лобасова. Они знали друг друга давно, со студенческих лет, когда оба учились в педагогическом институте. Но с тех пор встречались очень редко, случайно.

В институте Дымов заметно выделялся общественной бойкостью, выступал почти на каждом студенческом собрании, чаще других представлял на городских конференциях, словом, и тогда уже был на виду. После окончания института он уехал на периферию и некоторое время работал там, но не по педагогической линии, а на разных выборных должностях, потом перебрался в Москву и занимал теперь какой-то пост в Министерстве культуры.

— А ты все пописываешь? — спросил он Лобасова и тут же сам подтвердил: — Читаю, читаю. Но по-дружески должен заметить — мелковато по жанру. Пора на большие полотна переходить. Попробовал бы себя в драматургии. Ведь театры-то воют: ставить нечего, репертуарный пауперизм...

Узнав что Лобасов собрался ехать в Мещерское Залесье, Дымов искренне удивился:

— Зачем?

— Да вот, захотелось написать о маленьком городе, как и чем он живет.

— Ерунда. Никакого материала, созвучного современ-

ности, там не найдешь. Я ведь в этом Залесье полтора года секретарем райкома работал, едва-едва вырвался. Перспектив — никаких, болота кругом. Ну о чем ты напишешь? Поехал бы лучше куда-нибудь на новостройку да написал бы целую книгу. Это тебе не очеркишко.

— Нет, — отвечал Лобасов. — У меня уже и командировка в кармане.

— Поторопился. Чутья не хватило. Впрочем, дело твое, поезжай, желаю успеха, — сказал Дымов. — А на будущее — звони. В совете и помощи не откажу. Давай-ка заныши мои позывные. — Он продиктовал Лобасову номер служебного телефона и подал руку:

— Бывай!

...Первые впечатления подтверждали не очень-то лестную характеристику Залесья, которую Лобасов услышал от Дымова.

Маленький городок ютился среди мещерских лесов и болот. С областным центром его связывала узкоколейная ветка.

На станции Лобасов спросил, как пройти в гостиницу.

— Гостиницы у нас нет, — сказали ему. — Вы идите прямо до базарной площади, а там увидите Дом присезжих.

Он пошел.

Ночью был дождь, и улицы еще не просохли. Низенькие деревянные домики жались друг к дружке, как мокрые, нахохлившиеся воробьи.

В Доме приезжих Лобасова встретил дежурный, он же и сторож, кривой старик, объявивший, что заведующая ушла в исполком и будет только после обеда.

— А места свободные есть?

— Как не быть? — удивился старик. — Это вот ежели бы вы в утиный сезон приехали, тогда, конечно, ручаться нельзя. В утиный сезон к нам из Москвы, и из Рязани, и бог знает откуда стрелки наезжают. Тогда которые и в коридоре почуют. А теперь-то как не быть свободного места — хошь койку занимай, хошь номер, ежели средства позволяют. Номер у нас по восемь гривен в сутки идет.

Лобасов занял номер — маленькую отдельную комнату,

— Кипяточку не требуется? — спросил сторож. — У меня чайник на плитке стоит.

По давней привычке к разъездной жизни Лобасов запасался в дорогу и чаем, и сахаром, и кое-какой едой. Сейчас он решил, что выпить как раз кстати.

— Может, и вы попьете со мной за компанию, — предложил он дежурному.

— Испью, — согласился старик.

Он принес чайник и чашки, а Лобасов выложил свои припасы: булку, сыр, ветчину.

Стали пить чай. Лобасов пригласил старика угощаться закусками. Сторож ткнул жестким, согнутым пальцем в ветчину и сказал:

— Глаз-то хочет, а организм не берет. Я лучше сырком побалуюсь.

За чаем сторож поведал Лобасову, что в Залесье есть лесопильный завод и промкомбинат, изготовляющий тележные колеса и сани, есть еще небольшая ватная фабрика. У жителей свои огородишки.

— Тихо живете, — заметил Лобасов.

— Не скажите, — возразил сторож. — Вот вечером в Костином парке включают радиолу, так до самой ночи все музыка. Какая уж тут тишина.

— Где же парк-то у вас?

— А поглядите в окошко.

Лобасов поглядел. Прямо перед окном, рядом с базарной площадью, огороженная ровным штакетником, зеленела невысокая каемка акаций, а за нею виднелись ряды еще молодых тополей.

— Самое гулянье тут, — рассказывал сторож. — С весны до осени молодежь табунится. А в утиный сезон на болотах такая пальба идет, ну чисто сражение. Тут к нам из Москвы Василий Семенов Волков каждый год приезжает. Не слышали? Мужчина высокий, представительный, голосистый. В учреждении служит. В каком — сказать не сумею, а видно, в большом. Сейчас-то он уже в возрасте и маленько потише стал, а прежде ух какой заводила был. Однажды с девицей приехал. И ее с собой на болото таскал. Ей, вишь ли, на охоту поглядеть любопытно было. У них и аппарат на ремешке — наставят и щелкают. Как раз в этом вот номере жили.

После чаепития, отдохнув с дороги, Лобасов пошел прогуляться. Заглянул в парк, обошел почти все улицы

городка, а на другой день с утра решил побывать в исполкоме Совета.

Председатель исполкома, совсем еще молодой смугловатый кренш, обрадовался приезду столичного журналиста.

— Это хорошо, что вы к нам заглянули, — сказал он. — Глядишь, и поможете. Мы тут одно дело поднять хотим. Вот послушайте. Городок наш, с точки зрения народнохозяйственной, ничем похвалиться не может. Промышленность развита слабовато, для сельскохозяйственного производства условия тоже неблагоприятные — болота кругом. Торф добываем, но очень немного, только для местных нужд. Между тем на торфяниках, если, конечно, провести некоторые мелиоративные работы, можно было бы с успехом культивировать овощи. Тут капуста великолепно родится. Это уже проверенный факт... Вот мы и сделали некоторые подсчеты: при минимальном дренаже можно буквально под самым городом отвоевать у болота тысячи две гектаров плодородной земли. То есть сейчас-то она еще не плодородная, гнилой водой пропиталась, кугой и осокою заросла. А ведь ее можно в плодородную превратить! Станем капусту выращивать. Специалистов этого дела у нас в Залесье достаточно. На своих огородах привыкли капусту сажать. Да какую капусту! Что ни кочан, то хоть на выставку отправляй. Мы бы капустой-то и областной центр обеспечили, и в Москву бы могли отправлять.

Вот я вчера по этому вопросу в производственном управлении советовался. Заинтересовались. Обещали с областью увязать. Хорошо, если бы и печать поддержала. А перспективы — огромны. Ведь две тысячи гектаров — это только начало. Это только то, что буквально рядом лежит...

Председатель исполкома показывал Лобасову вычерченный на кальке план пригородных участков и докладную записку, в которой приводились расчеты, сколько потребуется средств на осушение болотных земель, и какие будут нужны машины, и сколько народу можно занять этим делом, и что это даст, в какие сроки окупится.

Расчеты показались Лобасову весьма убедительными. Он обещал председателю написать об этой инициативе.

— Очень прошу вас, — сказал председатель. — Знаете, когда мы обсуждали этот вопрос у себя на заседании ис-

полкома, то пригласили депутатский актив, специалистов. Человек сто собралось. Люди прямо-таки загорелись. Да как же, везде что-то делается, что-то новое возникает. Так неужели Залесью от общих забот в стороне стоять и дожидаться коммунизма на собственных грядках?

Узнав, что Лобасова интересует и история местного края, председатель посоветовал:

— Вам надо с Андреем Кузьмичом Мещеряковым познакомиться. Есть у нас такой депутат. Бывший учитель, а теперь по старости лет на пенсии. Интереснейший человек.

— Где же найти его?

— Дома, наверное. Он тут недалеко живет, на Касимовской улице. Спросите Андрея Кузьмича — его каждый ребенок знает.

Мещерякова Лобасов застал за работой. Седой, суховатый старик, в ситцевой рубашке и парусиновых брюках, босиком, он сидел на крылечке и плел корзинку. Рядом лежал пучок очищенных ивовых прутьев.

Лобасов поздоровался, объяснил цель своего визита.

— Извините, я по-домашнему, — сказал Андрей Кузьмич. — Вы здесь присядьте пока. Я сейчас...

Он взял неоконченную корзинку, прутья и ушел в сенцы, а через минуту вернулся уже в сандалиях на босу ногу и, опустившись рядом с Лобасовым на ступеньку крыльца, спросил:

— Значит, вас интересует история города? Видите ли, каких-либо достоверных источников у нас не имеется, но я предполагаю, что первое поселение возникло здесь в четырнадцатом или пятнадцатом веке. Как известно, богатые приокские земли в ту пору принадлежали рязанским князьям и монастырям. Жизнь смердов, то есть кабалных крестьян, была там чрезвычайно тяжелой, поэтому некоторые из них бежали в глухие места, за лес. Вот они-то, как я полагаю, и основали Залесье. Но это — далекая предыстория, потому что городом-то Залесье стало не очень давно, уже после революции, в двадцать девятом году.

— А вы давно здесь живете?

— Полвека. В девятьсот четырнадцатом приехал сюда учительствовать, в шестьдесят третьем на пенсию вышел. Полвека перед глазами прошло.

Андрей Кузьмич задумался, словно припоминая под-

робности долгой жизни, потом, как бы очнувшись, предложил:

— Пойдемте в дом, я кое-что покажу вам.

Через полутемные сенцы и маленькую кухоньку хозяин провел гостя в переднюю горницу с двумя окнами. На подоконниках ярко пламенела герань. Вдоль боковой стены, почти до потолка, тянулись книжные полки. Тут были и книги, и папки с наклейками на корешках, а на самом верху стояли чучела птиц. На противоположной стене висела небольшая картина, написанная масляными красками: три белоствольные березы над дегтярно-черной водой, вероятно, лесного озера.

— Знаете, чья работа? — спросил Андрей Кузьмич.

— Не догадываюсь.

Мещеряков назвал фамилию известного живописца.

— Как же она к вам попала?

— Да ведь художник-то родом из наших мест. Мама-ша его и поныне живет здесь. А это — личный подарок.

Усадив Лобасова за стол, Андрей Кузьмич достал с полки толстую конторскую книгу и положил ее перед ним.

— Вот что хотел я вам показать.

На первом листе книги четким учительским почерком было выведено: «Жизнь и природа Залесья».

— Тридцать лет вел наблюдения, записывал факты и случаи, — пояснил Мещеряков.

Лобасов с интересом листал эту книгу. Тут были описания местных лесов, сведения о погоде, о времени перелета птиц, о сроках цветения трав и деревьев. В перемежку с этими заметками любителя-натуралиста встречались записи о ремеслах, о появлении в Залесье первого трактора, о разных событиях сельской и городской жизни.

Некоторые записи были иллюстрированы любительскими фотоснимками. Внимание Лобасова привлекла фотография ясноглазого мальчика лет двенадцати. Она была обведена траурной черной каемкой. Рядом, на той же страничке шла запись:

«Пастушья сумка, сем. крестоцветных. Настой травы — кровеостанавливающее. Сбирать в июне — пока не огрубела».

«Горицвет. Он же — адопис весенний, сем. лютиковых. Сушеные цветы и листья в настое подобны валерьянке. В здешней местности встречается чрезвычайно редко. Обнаружил Ник. Кун, в дубках за Пилькей. 2 VI 34 г.»

На полях уже другими чернилами было написано: «Теперь я часто вспоминаю, как мы ходили в лес с тобой. Твоя любовь к родному краю вела тебя с врагом па бой». Этими же чернилами в левом уголке траурной рамки нарисована пятиконечная звездочка.

— Это кто же?

— Ученик мой, Коля Куницын. Очень способный мальчик, увлекался ботаникой. Поступил учиться в университет. А тут — война. В сорок четвертом году погиб под Житомиром. Был командиром танка. Посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Его младший брат, Алексей Савватьевич, председателем исполкома у нас работает. А от Коли у меня вот что на память осталось. — Андрей Кузьмич достал с полки папку и подал Лобасову. — Гербарий лекарственных растений нашего края, — пояснил он. — Составлен учеником шестого класса Залесской школы № 2 Николаем Куницыным.

В папке между листов лежали засушенные цветы и травы. Лобасову показалось, что он даже ощущает тонкий запах этих растений.

— Кстати, — сказал Андрей Кузьмич, — я посоветовал бы вам побывать в нашей больнице. Там есть врач, Семен Ильич Коган. Чудодей в своем деле и человек прекрасной души.

Лобасов просидел у Мещерякова до самого вечера. На прощание хозяин опять пригласил:

— Запросто заходите, я всегда дома.

Через неделю Лобасов собрался в отъезд. За это время он побывал и в больнице, и на лесопилке, познакомился со многими жителями Залесья. Снова, еще раз, встречался с председателем исполкома Куницыным. Он уже был захвачен заботами и интересами жизни этого тихого городка. Перед отъездом захотелось вновь навестить Мещерякова.

Старый учитель встретил его с сердечным радушием.

— Вот кстати-то, — сказал он, — мы как раз чай пить собрались. Да! Я ведь вас в прошлый раз с супругой не познакомил. — И позвал: — Маша! Марья Семеновна, где ты там?

Из боковушки вышла пожилая полная женщина в очках.

— Вот, познакомься, — Сергей Константинович Лобасов.

— Здравствуйте, певуче сказала она. — Милости просим.

— Давай-ко, угости москвича вареньем твоим, — сказал Андрей Кузьмич и, обращаясь к Лобасову, добавил: — Она варенье варить мастерица.

— Милости просим, — еще раз пропела Марья Семеновна.

За чаем между прочими разговорами Лобасов спросил:

— А почему это у вас в Залесье городской сад называют Костиным, кинотеатр — Коровинским, а больницу — Павловской? Хотя больницу-то, вероятно, в честь физиолога Павлова...

— Как раз нет. Секретарем райкома у нас Павлов работал. А в городе тогда с медицинским обслуживанием плоховато было: больничка старая, оборудование в ней допотопное. Вот секретарь райкома и взялся за это дело. При нем новую больницу построили. Теперь и рентген, и лаборатория для анализов, и физиотерапия — все есть. Ну, доброе-то и не забывается. Как о больнице заговаривают, так все — Павловская да Павловская... А сад — это уже при другом секретаре, при товарище Костине у нас появился. На том месте пустырь был. Крапива росла, репейник. Вот Костин и сагитировал молодежь: давайте, говорит, создадим здесь парк отдыха. Стали воскресники проводить, площадку очистили, деревца посадили. Теперь куда как хорошо разрослись. Загляденье! А поскольку инициатива пошла от Костина, то и название такое — Костин парк. Конечно, не официально, но в просторечии так называют.

— А слышал я, что одно время работал у вас секретарем райкома товарищ Дымов.

— Дымов? Что-то не помнится мне. Маша, а ты не помнишь?

— Фамилия заметная, а не помню, — ответила Марья Семеновна.

— Может, и работал, но всех не упомянешь, старче-

ский склероз начинается, — как бы извиняясь, сказал хозяин. И тут же добавил: — Многие бесследно уходят...

С ночным поездом Лобасов уезжал из Залесья. В дороге он думал о том, как и что напишет он о маленьком городе. И вспомнил замечание своего знакомого: «Мелковато берешь». Ну что ж. Пусть это будет даже не очерк, а простая корреспонденция, но он все-таки напишет ее.

1964

В СЕНОКОСНУЮ ПОРУ

Теплый июльский вечер на берегу Оки, повыше Касимова. Медово пахнет свежим сенцом и дымом костра. Над костром в черном закопченном ведерке варится пшенная похлебка.

У огня в ожидании ужина сидят колхозники. Каждое лето они выезжают в луга дня на четыре, пока не управятся с сенокосом. За долгий день на тяжелой работе люди умаялись и теперь сидят молча, отдыхая, покуривая.

В этом как бы семейном кругу простых деревенских людей сидит знаменитый московский артист. Он — в белой, не очень свежей рубашке с распахнутым воротом. Крупное, широкое лицо его озарено дрожащим светом костра. Он так же, как все, молчит и смотрит, как дышат угли. Может быть, он думает о том, что такие же костры пылали в стане половцев, и так же в сторонке хрупали кони, и князь Игорь молча глядел на огонь...

— Степаныч, — говорит вдруг один из колхозников, — ведь, поди-ко, вот-вот и подвалит.

Чуть приподняв и слегка вывернув левую руку, артист бросает взгляд на часы, встает, отходит на кручу, взметнувшуюся над темной водой, стоит там, белея рубашкой и дожидаясь чего-то.

Но вот сверху из-за поворота реки приглушенный расстоеанием доносится низкий протяжный гудок парохода. Артист резко вскидывает голову, набирает полную грудь воздуха и в тон пароходному гудку отвечает:

— О-го-го-го-го-го-о-о!

И снова ждет. Теперь уж недолго: из-за поворота на стрежень Оки выплывает большой, сияющий огнями па-

роход. Поравнявшись с кручей, он снова дает троекратный басовый гудок, и снова троекратно отвечает пароходу артист:

— Ого-го-го-о-о...

По темной воде далеко разносится эхо, повторяясь уже за рекою в старых березах.

Пароход уплывает спокойно и ровно. Постепенно тускнеют его огни и вот уже совсем исчезают за новым изгибом берега. Артист еще долго стоит на круче и глядит ему вслед.

— С брательником разговаривает, — тихо и важно, как некую тайну, шепчет сидящий рядом со мною рябоватый колхозник.

— Что это значит?

— Так ведь пароход-то называется «Григорий Пирогов». Родной брат Александра Степаныча. Тоже знаменитый певец был. На всю Россию гремел, а родом — от нас, рязанский...

Пожилая стряпуха осторожно черпает большой деревянной ложкой варево из ведерка, пробует и, значительно помолчав, говорит:

— В самый раз.

— Степаныч, ужинать! — кричат от костра.

...Теперь нет в живых и самого Александра Степановича Пирогова. Но часто вспоминается мне тот поздний июльский вечер в лугах на Оке, когда был я свидетелем удивительного разговора двух братьев — парохода и человека.

МЕЩЕРСКИЙ ВОЛГАРЬ

1

Сухая, охристо-желтая, с багряными пятнами осени застоялась в Касимове. В садах над Окой шумно пировали ватажки дроздов-рябинников. Небо было высоким и чистым. Похолодевшая Ока наливалась густой синевой.

Однажды утром в городке случилось невероятное: площадь возле старых торговых рядов вернулась в далекое прошлое. Над лавками появились старинные вывески. По булыжной мостовой загревели пролетки и тарантасы. Усатый городской таращил глаза на важного господина в сюртуке и цилиндре. У двери с вывеской «Колониальные товары» маячил кудрявый молодец в белом фартуке. Пробежала горничная, прошли две дамы в длинных старомодных платьях и шляпах.

А тут же, чуть поодаль, стоял грузовик с двумя электрическими прожекторами. Невысокий молодой человек, в курточке из синтетической кожи, взмахивал руками, кричал: «Внимание, приготовились... Начали!..»

Трещал киноаппарат, шли натурные съемки для будущего фильма «Рыцарь мечты».

Сценарий фильма был написан по материалам рассказов Александра Грина, и главным героем картины, рыцарем мечты, был сам Грин, писатель-романтик, бродяга, очарованный мечтой о прекрасном.

И вдруг подумалось о том, что лет семьдесят назад, по этим касимовским улицам, когда все они были еще такими, какими будут в кинокартине, проходил человек, чем-то похожий на Грина: тоже литератор, хотя и мало

известный, тоже фантазер, овеянный ветром мечты. Это был капитан речного парохода Петр Алексеевич Оленин-Волгарь.

Сейчас в Касимове лишь немногие помнят о нем. Прошло уже более сорока лет с тех пор, как он умер. Но К. Г. Паустовский в своей книге «Золотая роза» рассказывает, что в 1924 году он еще встречался с этим капитаном в редакции одной из московских газет, и называет его «человеком феерической жизни».

Судьба Оленина-Волгаря поистине незаурядна. Прадед его был президентом Петербургской Академии художеств. Дед — один из героев Бородинского сражения. Отец — кутила-помещик. Сам же Волгарь в своей биографии, написанной им незадолго до смерти, говорит о себе, что в юности мечтал стать матросом океанского корабля и поехать в Америку освобождать индейцев, угнетаемых белыми. Потом занимался химическими опытами в надежде открыть какое-то волшебное вещество. Наконец, увлекся сочинением стихов...

Да и будучи уже в зрелом возрасте, он с юношеской горячностью принимался то за одно, то за другое, оставаясь мечтателем и фантазером. Такие люди, может быть, и не свершившие ничего особенного, даже оставшиеся в неизвестности, горячностью и одержимостью своей побуждают других к подвигам и открытиям. И я подумал о том, что не безынтересно будет собрать, где возможно, уже забытые сведения и рассказать о жизни Оленина-Волгаря. Мысль эта возникла у меня еще несколько лет тому назад. И возникла она совершенно случайно.

Однажды, приехав в Касимов, я заглянул в местный музей краеведения. Он помещается в здании старой татарской мечети. В музее, как и полагается, выставлены для общего обозрения полуистлевшие кости каких-то громадных животных, кремневые наконечники стрел, глиняные черепки, съеденные ржавчиной железные копы и сабли, и бронзовые витые браслеты, найденные в окрестностях города. Были тут и предметы старого крестьянского обихода — деревянные прялки, ушаты, горшки, светец для лучины, посконные мужские рубахи и бабы паневы. В застекленных витринах красовались пестрые татарские тюбетейки, сафьяновые сапожки, бархатные златотканые душегрейки, медная и серебряная посуда касимовской знати.

Стены одной из комнат были увешены картинами самого различного содержания, главным же образом — пейзажами. Тут висели «Приокские дали», «Обрывистый берег», «Летнее утро» и «Летние сумерки». Среди этих картин живописной русской природы в глаза бросался портрет чернобородого человека в розовой пышной чалме, выгодно оттенявшей смуглую кожу его лица. На маленьком кусочке картона под портретом было написано, что это некий брамин Нам-жоги-Алан, пришедший из Индии.

— Куда пришедший? В Касимов? — спросил я у сотрудницы музея, сопровождавшей редких посетителей.

— Нет, в Петербург, — сказала она и, как бы извиняясь за брамина, не догадавшегося заехать в Касимов, добавила: — Ведь это было давно, еще в девятнадцатом веке. Тут на обороте полная надпись имеется.

На тыльной стороне портрета, действительно, имелась надпись, свидетельствующая о том, что брамин Нам-жоги-Алан из города Уддепур Индийской области Мальва, прибыл в 1816 году в Петербург для разрешения некоторых научных и философских вопросов и остановился в доме А. Н. Оленина. В этом доме он прожил около двух лет и скончался там же 29 апреля 1818 года. Портрет его написан сыном А. Н. Оленина — Петром.

— Но как же портрет оказался в Касимове?

— Должно быть, попал сюда из усадьбы Олениных, находившейся недалеко от нашего города. Но лучше всего об этом вам может рассказать научный сотрудник музея Галина Ивановна. Подойдите к ней в канцелярию.

Канцелярия, она же и рабочий кабинет Касимовского музея, помещается в низенькой, тесной, полуподвальной комнатке, загроможденной шкафами и книжными полками, среди которых приютился небольшой столик — за ним работала женщина лет сорока восьми, с приятным, немного усталым лицом, на котором лучше всего были глаза, по-татарски чуть-чуть приподнятые к вискам.

— Садко, — назвала она себя и, указав глазами на стул, сказала: — Садитесь. Что вас интересует?

Я спросил о портрете индуса и об Олениных.

— Ах, эта история! Да, я кое-что собрала об Олениных... Алексей Николаевич, в доме которого жил приезжий брамин, известен как археолог, историк и художник. С 1811 года он был директором петербургской Публич-

ной библиотеки, а потом президентом Академии художеств. Дом Олениных считался одним из блистательных в Петербурге. В нем бывали художники — Кипренский, Брюллов, поэты — Жуковский, Пушкин. Александр Сергеевич увлекался дочерью Оленина Анной Алексеевной и посвятил ей вот эти стихи:

Пустое вы сердечным ты
Она, обмолвись, заменила,
И все счастливые мечты
В душе влюбленной возбудила.
Пред ней задумчиво стою.
Свести очей с нее нет силы,
И говорю ей: как вы милы!
И мыслю: как тебя люблю!..

— Анне Алексеевне посвящено и другое стихотворение:

Я вас любил, любовь еще, быть может,
В душе моей погасла не совсем,
Но пусть она вас больше не тревожит...

— Позвольте! Во всех публикациях этих очень известных стихов нет никакого посвящения!

— И все-таки это именно так. Мало кто знает, что в альбоме Олениной была приписка, сделанная рукой самого поэта.

Я слушал Садко, а сам всё поглядывал на портрет, висевший тут же, в низенькой канцелярии, где пахло старыми книгами и отсыревшими каменными стенами почти крепостной толщины. На портрете был изображен мужчина лет сорока — сорока пяти. Красивое породистое лицо, усы, как у французского мушкетера, холеная бородка, светлые глаза с поволокой.

Перехватив мой взгляд, Садко сказала:

— Это Алексей Петрович Оленин, племянник той самой петербургской красавицы, в которую был влюблен Пушкин.

Родился Алексей Петрович в 1834 году и получил по тогдашнему времени блестящее образование, то есть «он по-французски совершенно мог изъясняться и писал, легко мазурку танцевал...» По достижении совершеннолетия Алексей Оленин был зачислен офицером Нижегородского драгунского полка, в котором некогда служил М. Ю. Лермонтов.

Полк стоял на Кавказе. Там у Оленина произошла знаменательная встреча с известным французским писателем.

Однажды, будучи начальником команды «охотников», занимавших позиции на обрывистом берегу горной реки Сулак, недалеко от Чирюрта, молодой офицер (тогда ему было 24 года) заметил, что к месту стоянки отряда приближается «оказия» — обоз путешественников, охраняемый конвоем казаков. На одной из повозок, вольготно развалившись восседал грузный господин с пышной шевелюрой. Оленин спросил у сопровождавших, кто этот путник.

— Какой-то французский генерал Юма, — объяснили ему.

Офицер догадался, что перед ним знаменитый французский романист Александр Дюма, который, как было известно, предпринял путешествие по России. На чистейшем французском языке Оленин обратился к проезжему и пригласил его к себе в гости. Дюма ответил согласием.

Позже в своих записках о путешествии в Россию, в главе «Нижегородские драгуны», Дюма подробно описал эту встречу и шумную холостяцкую пирушку на бивачной квартире русского офицера. Впрочем, в записках знаменитого романиста много неточностей и преувеличений. Например, Дюма рассказывает о своем участии в боевой стычке драгун с отрядом непокорных джигитов. На самом же деле стычки не было. Все обстояло иначе. Просто командир драгунского полка, в котором служил Алексей Оленин, князь Дундуков-Корсаков задумал показать французскому гостю опасности боевой жизни на этой дальней окраине Российской империи. Он приказал переодеть часть своих казаков в черкески и инсценировать нападение на «оказию». Был разыгран своеобразный спектакль. Дюма же принял все это за чистую монету и даже гордился, что ему повезло участвовать в настоящем бою.

После службы на Кавказе, выйдя в отставку, Алексей Оленин женился на Варваре Бакуниной, двоюродной племяннице известного идеолога анархизма М. А. Бакунина, и поселился в своем имении Истомино, недалеко от мещерского городка Касимова. Сюда была перевезена часть обстановки из Петербурга, в том числе и портрет Нам-жоги-Алана, написанный отцом Алексея Оленина.

— Вот как выглядела эта усадьба, — сказала Галипа Ивановна, передавая мне литографированный рисунок истоминского дома Олениных.

Большой каменный дом на два крыла, с цветником перед парадным входом, с тенистым парком был олицетворением одного из старинных дворянских гнезд.

— А почему, собственно, у вас возник интерес к истории семьи Олениных? — спросил я Садко.

— Дело в том, что родилась и росла я в Касимове, — сказала она. — В детстве была у меня задушевная подруга, дочка здешнего врача Пустовалова, образованного интеллигентного человека. У Пустоваловых часто бывал композитор Оленин. Он превосходно играл на рояле. Впрочем, я была тогда еще очень мала. Взрослые не позволяли детям оставаться в гостиной, когда устраивались домашние вечера, но это только усиливало наше любопытство, и мы слушали музыку, притаившись за дверью.

— А композитор из тех же Олениных?

— Сын Алексея Петровича, Александр. Он был учеником знаменитого Балакирева, собирателем русских народных песен. Издано несколько циклов песен, собранных им, — «Улица», «Хата», «Бабья доля», «Родина».

Вообще о семье Олениных можно сказать, что она была артистической, музыкальной. Младшая сестра композитора Мария Алексеевна обладала чудесным меццо-сопрано и считалась выдающейся камерной певицей, страстной пропагандисткой вокальных произведений Мусоргского. В 1908 году она организовала в Москве Дом песни. Ее концерты пользовались успехом не только в России, но и за границей. Оленины сделали немало доброго для обогащения русской культуры. Этим-то и объясняется мой интерес к истории их семьи, — заключила Садко.

В Касимове есть еще один незаурядный знаток истории местного края — Леонтий Алексеевич Кленов. Я познакомился с ним несколько лет назад. Тогда он был директором краеведческого музея. Теперь Кленову уже более семидесяти пяти лет, он вышел на пенсию, но, как говорили мне, бодр и по-прежнему увлечен своим делом. Я решил навестить старика.

Маленький деревянный домик Кленова на улице Карла Маркса внутренней своей обстановкой похож на музей: тут собраны какие-то окаменелости, медные кольца,

подвески, бусы и другие диковинки, найденные самим хозяином в его постоянных скитаниях по Мещерскому краю.

Сам Леонтий Алексеевич, сухонький, совершенно седой, но еще очень живой и подвижный старик, вывалил на стол целую грудку толстых конторских книг, исписанных его мелким бисерным почерком.

— Труд моей жизни, — сказал он и похлопал ладонью по обложке одной из книг. — Тут, дорогой мой, такое собрание, что просто ахнете. Сорок лет записываю. Зарисовки сам делал, документы собирал. Вот, извольте взглянуть, — распахнув папку, Кленов протянул мне листок бумаги старинного образца. На нем старинным же витиеватым почерком были выписаны стихи:

Что отуманилась, зоренька ясная,
Пала на землю росой,
Что призадумалась, девица красная,
Очи блеснули слезой...

Это была «Песня разбойников» из поэмы А. Ф. Вельтмана «Муромские леса», ставшая потом популярной народной песней. В ней содержались слова, имевшие непосредственное отношение к Касимову.

Едут с товарами в путь из Касимова
Муромским лесом купцы.

— Из альбома Олениных, — сказал Кленов. — Предполагаю, что записано рукой автора. И заметьте: не «задумалась», как поют, а «отуманилась» зоренька...

Заговорили об Олениных.

— А ведь у композитора был старший брат, Петр Алексеевич Оленин-Волгарь. Я лично знал его. Интереснейший человек! Вот, полюбопытствуйте — фотография.

С тусклого, выцветшего снимка на меня смотрел широколицый грузноватый человек в форменной капитанской тужурке с шевронами на рукавах.

— Моряк?

— Капитан парохода. Плавал по Волге и по Оке. Вообще-то говоря, он был литератором. Писал статьи, очерки, стихи и даже пьесы из жизни Наполеона Бонапарта. Беспокойной души человек. К тому же — бесребреник...

Тогда же я написал об этом небольшой очерк «Касимовская история», а вернувшись в Москву, начал соби-

рать материалы, связанные с литературной биографией Волгаря. Но их оказалось не так-то много. Мне удалось найти «Пасхальный нумер Оренбургской газеты» за 1899 год, где было напечатано, вероятно, одно из первых стихотворений П. Оленина-Волгаря «О, где ты, где теперь?». Потом попались два выпуска газеты «Матушка Волга». Она выходила в Нижнем Новгороде два раза в неделю. Контора и редакция ее, как сообщалось о том в конце номера, помещались в доме купца Гусева на Большой Покровке. Издателем-редактором «Матушки Волги» была М. Э. Сабинаина.

В «Матушке Волге» П. Оленин-Волгарь был представлен довольно широко. В одном номере были опубликованы его рассказ и большое стихотворение, почти поэма. Да и некоторые статьи, напечатанные без подписи, давали основание думать, что автором их был тот же Волгарь.

Судя по всему, «Матушка Волга» влачила жалкое существование...

В известном «Словаре псевдонимов» И. Ф. Масанова названы лишь некоторые из драматических сочинений Волгаря да упоминается о том, что он писал стихи.

Конечно, этих сведений слишком мало для того, чтобы даже в общих чертах составить представление о жизни писателя. Решив начать свои розыски, как говорится, «от печки», через три года я снова поехал в Касимов.

Галина Ивановна Садко в музее уже не работала. Кленов, хотя еще был жив, но уже настолько стар, что чего-нибудь добиться от него было невозможно. Он полностью утратил память и речь. И все же в подвале музея, среди вороха папок, удалось разыскать несколько книг и рукописей капитана Оленина, в том числе переписанный от руки экземпляр первой части незаконченного романа «Безлюдье», его «бортовой альбом», наконец, автобиографию.

Теперь этапы пестрой, порой сумбурной жизни Волгаря вырисовывались передо мною более или менее ясно. Вот как она представляется мне.

2

Я уже упоминал о том, что Алексей Петрович Оленин после службы на Кавказе вышел в отставку и женился на Варваре Александровне Бакуниной.

10-го марта 1866 года в Москве у них родился первенец, сын. В честь деда мальчика назвали Петром.

Вскоре семья уехала из Москвы в свое рязанское имение, расположенное в десяти верстах от уездного города Касимова.

Здесь, в Мещере, прошли детские и отроческие годы будущего капитана и литератора. Первоначальное образование он, как и младшие дети Олениных, получил под руководством матери. Варвара Александровна была женщина образованная и сама учила детей. В семье говорили по-французски и по-английски («Позже я выучился киргизскому, испанскому и итальянскому» — отмечает в своей автобиографии П. А. Оленин-Волгарь), любили музыку, книги. У Алексея Петровича была порядочная библиотека.

Старший сын рос способным, увлекающимся мальчиком, по увлечения его были слишком разнообразны и быстротечны.

Отец, Алексей Петрович, славился среди соседей широким радушием и хлебосольством. Но помещик из него получился неважный. Доходы от имения были невелики. Прожив в деревне пятнадцать лет, Алексей Петрович принял решение вернуться в Москву, на службу. Благодаря связям в столичных кругах он был назначен директором Строгановского художественно-промышленного училища.

Сыну Петру шел тогда шестнадцатый год. По приезде в Москву он поступил в реальное училище Фидлера. В доме отца часто бывали известные художники, артисты, писатели. Велись разговоры об искусстве. Молодежь увлекалась идеями народничества. Какую-то дань этому увлечению отдал и Петр Оленин.

По окончанию училища Фидлера юноша поступил в военную службу, в тот самый драгунский полк, где некогда служил его отец, но военная карьера не увлекала Петра Оленина. А в жизни отца вскоре произошли новые перемены. Привыкшему жить на широкую ногу, Алексею Петровичу не хватало казенного жалования. К тому же он убедился, что руководство художественным училищем не его призвание. В 1885 году он подал в отставку и уехал в Астрахань в качестве управляющего рыбными промыслами. Петр поехал с отцом.

Вероятно, Каспий пробудил у романтически настроен-

ного юноши любовь к морю. Он поступил рулевым на одно из рыболовецких судов, потом практиковался в качестве механика и помощника капитана.

В Астрахани молодой Оленин влюбился в прелестную девушку, дочь мирового судьи, сделал предложение и женился на ней. Было ему тогда двадцать пять лет.

Вскоре после женитьбы молодожены отправились в касимовское имение, да и засели там. Фантазия рисовала Петру Алексеевичу радужные картины: вот он, душа местного общества, деятельно и бескорыстно трудится на благо народа. Благодаря его хлопотам народ процветает, все его уважают. Служение народу — его истинное призвание...

По началу все выходило гладко: в двадцать шесть лет он становится председателем касимовской земской управы и горячо берется за дело. Тут, по-видимому, сыграли свою роль его еще юношеские увлечения идеями народничества. Но грезившееся ему трогательное единение мужиков с помещиками оказывалось иллюзорным, а земство не могло привести к народному благоденствию. Оно было лишь орудием укрепления самодержавия, как прозорливо отметил это В. И. Ленин в своей работе «Развитие капитализма в России».

Молодой председатель земской управы на практике столкнулся с сопротивлением соседей-помещиков, беззастенчивой наглостью крепнущих кулаков-мироедов и глухим недоверием крестьян. После крупной ссоры с влиятельной помещицей Баташевой он почувствовал себя как бы на безлюдье, и его опять потянуло на Волгу.

Примерно в то же время в провинциальных газетах появляются стихи и рассказы за подписью: П. Оленин-Волгарь. Но эти сочинения носили характер бескрылого романтизма, сентиментальности. Чаще всего они годились для «пасхального чтения»...

В 1901 году на Петра Алексеевича обрушилось горе: умерла жена. Теперь его уже ничто не могло удерживать в Касимове. Он уехал на Волгу и поступил помощником капитана пассажирского парохода «Петр Первый».

В Нижнем Новгороде Оленин увлекся экстравагантной актрисой М. Э. Сабининой, сделался завзятым театралом, сам участвовал в любительских спектаклях и потом загорелся сумасбродной идеей отправиться вместе с Сабининой в гастрольное турне по провинции. Кончилось

это турне довольно печально: «Вернулись по шпалам», — писал он потом в своей автобиографии.

Женитьба на Сабининой не принесла ему счастья. Союз этот продолжался недолго. И разошлись они, «как в море корабли». А вскоре Петр Алексеевич встретился с дочерью самарского адвоката, курсистской Тоней Михайловой, которая горячо полюбила бравого капитана, стала его женой и верным спутником до конца жизни.

Писал Оленин-Волгарь в ту пору довольно много, пробуя себя в разных жанрах, — очерки, рассказы, либретто для оперы, драмы и даже «психологический» роман «Как он жил».

Но первой, по-настоящему значительной вещью можно считать его сборник «На вахте», изданный в 1904 году. В реалистически написанных очерках и рассказах, составивших эту книжку, чувствовалось дыхание самой жизни, появились не выдуманные, а подлинные типы волгарей с их тяжелой судьбой и мятежным духом. Недаром сборник сразу же был конфискован царской цензурой.

Думаю, что сам автор едва ли понимал значение этой книги. Она ворвалась в его жизнь, как дыхание уже близкого революционного девятьсот пятого года...

Оленин, конечно, не был революционером. Каждое лето с начала навигации он водил пассажирские пароходы по Волге и Каме. Здоровый сорокалетний мужчина, представительной внешности, человек компанейский, приятный собеседник, он легко и быстро сближался с интересными людьми, пассажирами своего парохода. Я сужу так по «бортовому альбому», который завел тогда капитан. Этот альбом — небольшая книжечка в тисненном сафьяновом переплете — сохранился, и там можно встретить краткие отзывы разных людей — известных артистов, художников, учителей, студентов, присяжных поверенных и курсисток, писавших, что знакомство с обаятельным капитаном навсегда сохранится в их памяти.

Среди случайных знакомых Оленина-Волгаря были и такие люди, общаться с которыми по тем временам считалось опасным. Впоследствии, уж после Октябрьской революции, он написал воспоминания об одной встрече.

Случилось это в 1906 году. Оленин тогда командовал пассажирским пароходом «Рыбинск». Однажды пароход задержался в Казани. Надо было вычистить котел. Отойдя от пристани, он встал на якорь у берега. Спустили

пар. Команда приступила к работе, а капитан лег отдохнуть. Ночью его разбудил вахтенный и сообщил, что какой-то странный человек подошел к пароходу в лодке и просит пустить его к капитану.

— Пустите, — распорядился Оленин.

Незнакомца впустили. Одежда его была бедной и, как видно, с чужого плеча. На голове запеклась кровь. Когда они остались в каюте вдвоем, с глазу на глаз, незнакомец оказал, что фамилия его Петров, он черноморский матрос с крейсера «Очаков», участник революционных событий в Севастополе, что там он стрелял в адмирала, был арестован, и ему грозила виселица. Из тюрьмы удалось бежать. Он долго скрывался, но в Казани его выследили, снова схватили. Каким-то чудом он снова бежал и, не зная, где скрыться, решился на отчаянный поступок: увидев недалеко от берега пароход, подплыл к нему и вот теперь полагается на великодушные капитана...

«Сознаюсь, — вспоминает Оленин, — ни сам незнакомец, ни его странное, почти фантастическое повествование не внушало мне особого доверия. Сам я никогда ни в чем не был замешан, но слыл у полиции «красным» и поэтому опасался провокации».

И все же капитан решил помочь моряку. В свою тайну он посвятил вахтенного матроса, которого считал «революционером в душе». Беглецу сделали перевязку и поместили в отдельную каюту, под видом больного.

На следующий день «Рыбинску» предстояло отвалить из Казани в Нижний. Подойдя к пристани, капитан заметил нечто подозрительное: то там, то здесь шныряли какие-то странные субъекты. Оленин спросил у знакомого околоточного: «Что здесь происходит?» И тот по секрету сообщил: «Из тюрьмы бежал важный политический преступник, его теперь ищут...»

Из Казани отвалили благополучно. В пути перед вечером капитан зашел в каюту, где скрывался беглец. Они разговорились. Между прочим, Петров признался, что, будучи в Полтаве, он застрелил Филонова...

Об убийстве Филонова в то время много шумели. В качестве непременного члена губернского присутствия по крестьянским делам Филонов проявил особо жестокое усердие при подавлении аграрных волнений в Полтавской губернии. О его зверствах гневно писал Короленко. Неве-

домый мститель за крестьян, застреливший Филонова, скрылся. И вот, оказывается, этим мстителем был человек, сидевший перед Лениным...

— Это дело вашей совести, — прервал его капитан, — я же думаю теперь о вашем спасении.

Он сказал, что ехать на пароходе до Нижнего Петрову опасно. Полиция, наверняка будет обнюхивать каждого пассажира. Удобнее всего посадить его ночью в Великом Враге (недалеко от Нижнего).

«Так и было сделано, — пишет Оленин. — В Великом Враге я высвистал лодку и посадил в нее моего «гостя». Он исчез в сумраке ночи. Я долго ничего не знал об его дальнейшей участи, да, признаться, и позабыл о нем в суетолоке плавигации. Только много времени спустя конспиративным путем получил от него весточку из Женевы...»

Через год охранка все же узнала о встрече капитана с «очаковцем». Оленина вызвали для допроса в Московскую прокуратуру, и он думал, что уже не вернется оттуда, но дело ограничилось снятием показаний. А через некоторое время Ленину удалось уехать в Италию.

Поселившись в Неаполе, Волгарь задумал написать эпопею из жизни дворянской семьи. Материалом служили рассказы отца и личные впечатления о жизни в Истомино. Когда первая часть эпопеи — повесть «Безлюдье» — была закончена, Петр Алексеевич отважился показать ее А. М. Горькому. Это было уже в 1911 году. Горький жил в то время на Капри.

Сохранилось письмо Оленина-Волгаря к брату, композитору А. А. Ленину, где он пишет:

«...Передай Марусе* просьбу от Максима Горького приехать к нему, так как он жаждет ее услышать. Я вчера был у него на Капри целый день. Все старался устроиться в «Знании». Он ужасно обрадовался Волгарю, был необыкновенно мил и прост. Я нашел его очень интересным и интеллигентным».

Это письмо датировано 15 февраля 1911 года. Стало быть, Оленин-Волгарь был у Горького 14 февраля, оставив Алексею Максимовичу свою повесть.

Через некоторое время от Горького был получен ответ:

* Речь идет о сестре писателя, известной певице М. А. Олениной — Д. Альгейм.

«Уважаемый Петр Алексеевич, я прочитал вашу рукопись и уже передал ее К. П. Пятницкому*.

Если вам интересно знать мое впечатление, позвольте мне говорить откровенно.

Вы обладаете богатым материалом, но — в повести много такого, что давно и хорошо знакомо русскому читателю и что очень замедляет ход рассказа. Архитектура повести, мне кажется, нарушена описанием рыбных промыслов. Этот эпизод, будучи интересен сам по себе, поставлен вами не на месте и пропадает, разрушая внимание читателя.

Вы ввели его ради характеристики Дмитрия, но Дмитрию уделили очень мало места и перегрузили описательную часть.

Думаю, что «Безлюдье» — основную тему повести — не следовало разрывать, перепосая действие в иную среду, да еще столь резко отличную, — тем более не нужно, что ведь Дм. является на сцену в самом конце повести. Основной, — или во всяком случае преобладающий тон отношения помещиков к «народу» у вас добродушный, думаю, что читатель усумнится в этом.

К недостаткам следует отнести и тот факт, что вы берете дворян преимущественно в их делах и отношениях друг к другу и стусевываете их отношение к деревне, мужику. Эпоха, когда именно развивается действие повести, не ясна.

Вот какие соображения вызывала у меня ваша работа. Может быть, я неверно сужу, но — таково впечатление.

Желаю всего лучшего.

А. Пешков».

Вскоре пришло письмо и от Пятницкого. Возвращая Оленину-Волгарю рукопись «Безлюдье», Пятницкий отмечал, что в повести масса любопытных типов, чувствуется, что автор прекрасно знает среду, которую описывает, и советовал довести задуманную эпопею до конца. Но Петра Алексеевича в то время захватила идея найти соединение бассейнов Волги и Северной Двины и таким образом открыть кратчайший путь из Белого моря в Каспийское. Он возвращается в Россию и представляет в Общество содействия русскому торговому судоходству обширный

* Редактор издательства «Знание».

доклад. Проект признали интересным, но в средствах на практическое осуществление его Ленину было отказано.

И тут начинается новый этап его деятельности. При содействии своего родственника П. С. Оленина, бывшего режиссером театра Зимина, Волгарь поступает в этот театр заведовать литературно-издательской частью. Он сочиняет проспекты, статьи, а сойдясь с артистической средой, опять начинает писать либретто и пьесы, причем на самые неожиданные темы — то из жизни Наполеона Бонапарта, то драму «Сын и умирающая мать», то пьесу-трилогию «Душа, тело и платье». Он также инсценировал для театра повесть Л. Н. Толстого «Казак», главный герой которой, юнкер Дмитрий Ленин, как он полагал, «списан» с его отца, в молодости служившего на Кавказе. Некоторые сочинения Оленина-Волгаря, например его пьеса-хроника «Севастополь», ставились на сценах. Альянс с театром продолжался до 1917 года.

После Февральской революции Ленин-Волгарь снова уехал в Касимов и начал издавать там газету. В ней он печатал статьи, в которых приветствовал «зарю свободы, братства и просвещения», но четкой программы газета не имела и вскоре прекратила свое существование.

В первые годы Советской власти Оленина-Волгаря потянуло опять на реку. Он получил назначение капитаном окского парохода «Волна».

Реки он знал и любил. Лодии Волги и Оки были ему знакомы так хорошо, что он мог читать их с закрытыми глазами, а путеводитель по Каме и Вятке составил сам. Он опять загорелся идеей открытия кратчайшего пути из Белого моря в Каспий, и в 1921 году, когда Народным комиссаром путей сообщения молодой Советской республики был назначен Феликс Эдмундович Дзержинский, Ленин-Волгарь обратился к нему с просьбой помочь в осуществлении этой идеи — разрешить самому открыть новый путь.

Разрешение было получено. И вот весной 1922 года на маленьком буксирном пароходишке старый капитан прошел по реке Вятке в почти неизвестную Молому, которую считал главной перемычкой между бассейнами Волги и Северной Двины. По Маломе он добрался до реки Юг, а по Югу вышел на Сухону к Великому Устюгу. Там уже открывался путь по Северной Двине в Белое море.

Этот путь Ленин-Волгарь прошел по высокой весен-

ней воде. В летнюю пору мелководные малые реки несут дождь.

— Не беда, — говорил капитан, одержимый идеей открытия. — Я знаю, как углубить эти реки, чтобы сделать новый водный путь доступным для всех судов.

Но перед Советской Россией в ту пору стояли более неотложные задачи. В первую очередь надо было восстанавливать подорванное разрухой хозяйство, дать людям хлеб, оживить заводы и фабрики. Углублением рек заниматься не стали.

В 1924 году Петр Алексеевич получил назначение на должность инспектора-ревизора в Управлении Московско-Окского пароходства, поселился в Москве и начал активно сотрудничать в газетах и журналах. Писал он преимущественно о реках России. Теперь об этих его статьях почти никто уже и не помнит, но если собрать их, то, вероятно, получилась бы очень интересная книга.

Но своей канцелярской службой в Управлении пароходства капитан тяготился. Его тянуло опять на реку, и весной 1925 года он вместе со своим старым другом матросом Макаровым отправляется в экспедицию по обследованию бассейна рек Цна и Мокша. В экспедицию он взял с собою и своего младшего сына, подростка Олега.

Результатом экспедиции было открытие на Мокше богатых залежей очень ценного мореного дуба. Об этой находке много писалось в газетах...

Умер Оленин-Волгарь в Москве 13 апреля 1925 года шестидесяти лет от роду.

3

У него было четверо детей. Двое — дочь Нина и сын Евгений — от первой жены и двое же — Марина и Олег — от Антонины Петровны Михайловой. В Касимове мне сказали, что живут они где-то в Москве...

Узнав через Московское справочное бюро адрес и телефон Нины Петровны Олениной, я позвонил ей и получил приглашение:

— Приходите, я ведь на пенсии и все время дома, по лучше — во второй половине дня.

И вот я иду на Французский вал, дом четырнадцать, и пытаюсь представить себе, как выглядит двоюродная правнучка той блистательной пестербургской красавицы, в которую некогда был влюблен Пушкин...

Старая женщина в темном заношенном халате встречает меня в коридоре большой коммунальной квартиры.

— Проходите, пожалуйста. Вот сюда. Тут общежитие, но у меня в нем есть свой уголок.

Совсем маленький «уголок» отгорожен от большой комнаты старой классной доской и ветхой занавесочкой. Здесь едва умещается узкая железная кровать, маленький столик и шкаф. Одно окошко.

— Так вы хотите писать о папе? — спрашивает хозяйка. — У меня сохранились лишь кое-какие справки о его пароходной службе, несколько фотографий и рукописей. Да вот еще целый чемодан писем. Но это осталось от бабушки Бакуниной... А о последних годах жизни папы лучше помнит Марина, моя младшая сестра. Она сейчас служит осветителем в Малом театре, я ей сказала, что вы будете у меня, и Марина обещала зайти.

В коридоре раздался звонок.

— Ну вот и она.

Нина Петровна пошла открывать дверь и вернулась с Мариной. В чертах лиц у сестер мало общего. Нина Петровна — широкоскулая, с серыми, как бы навывкат глазами — в отца. Марина — темноглазая, с крутыми бровями — в мать.

— Она, Марина-то, с папой была на Капри у Горького. Ее там катали на маленьком ослике. Правда, Мариночка?

— Так мама потом рассказывала, сама не помню, еще слишком мала была, — с улыбкой сказала Марина.

— А вот я тогда не поехала к Горькому. Закапризничала: почему это мы к нему, а не он к нам?.. После жалела.

Сестры пустились в воспоминания. Из шкафа достали альбом с газетными вырезками, рукописи, фотографии деда и бабушки Лениных и самого Ленина-Волгаря. Вот он еще юноша, в форменной шинели и кепочке Фидлеровского училища, а тут в капитанской тужурке. А вот в Неаполе, с женой Антониной Петровной...

Перебирая рукописи, Нина Петровна говорит:

— Вот любимое папино стихотворение «Вахтенному», — и, приблизив страницу к глазам, начинает читать:

Кто гражданин в своей отчизне
И высший долг свой сознает,
Тот никогда на вахте жизни
Не устает.

Пусть ночь темна, пусть буря стонет
И ветер рвет со всех сторон,
Пусть властно вахтенного клонит
Свинцовый сон.
Но если долгом гражданина
Он беззаветно горд и полн,
То нипочем ему пучина
Ревущих волн!
Стоит он смелый, безответный,
Забыв про отдыха черед.
И помнит лозунг лишь заветный:
Смотреть вперед!

— Когда же это было написано?

— Да, вероятно, уже в последние годы жизни.

— Отец очень любил это слово — гражданин. Помню, как он говорил моему младшему брату: «Расти и будь всегда гражданином», — вспоминает Марина.

— К детям папа был очень внимателен, — сказала старшая. — Специально для нас он издавал семейный рукописный журнал «Мой мирок».

Одну тетрадку этого журнала, посвященную своему младшему сыну Олегу, я уже видел в архиве Касимовского музея. С грустноватой усмешкой Петр Алексеевич рассказывал в «Моем мирке» о своих надеждах, поисках и неудачах.

— А что — Олег?

— В сорок первом году, когда началась война, он вступил добровольцем в Московское ополчение и погиб в одном из первых боев под Медынью, — ответила мне Марина.

— Долг гражданина он выполнил до конца, — добавила Нина Петровна и, помолчав, продолжала: — А ведь я тоже была на фронте, только не в эту войну, а еще в гражданскую. Молодая была, здоровая, ну и записалась сестрой милосердия в Красную Армию. Случалось бывать в боях. Под Симбирском попала в плен к белым. Стали меня допрашивать. Офицер говорит: «Как это вы, потомственная дворянка, оказались в рядах большевистской сволочи? За это следовало бы расстрелять, но мы пощадим вас. Будете вместе с нами бороться за спасение родины». А я ему отвечаю: «Я как раз и вступила в Красную Армию, чтобы бороться за спасение родины от контрреволюции». «Тогда получишь пулю», — сказал офицер. Отвели меня в тюрьму, где находились несколько десятков других пленных красноармейцев, и мы уже приготовились к смерти. Но в это

время наши ударили на Симбирск, и белые не успели расстрелять нас.

— Отец знал об этом?

— Он узнал после. Очень расчувствовался, обнял меня и сказал: «Спасибо, в роду Олениных изменников не было и не будет!»

Сестры еще долго рассказывали об отце и о своей жизни, а на прощание Нина Петровна обещала порыться в своем домашнем архиве и, если найдется что-нибудь интересное, переслать мне.

Недели через три я получил по почте пакет. В нем была рукопись неопубликованного рассказа Оленина-Волгара «Очаковец» с припиской автора, сделанной, вероятно, позднее:

«Перечитав этот рассказ и перебрав в памяти давние события, потускневшие от лет, я нахожу, что изложил их верно. Важна не та роль, которую совершенно неожиданно отвела мне судьба в этом событии. Очень многие поступили бы так же. Важно, что этот эпизод характеризует отношение той части интеллигенции, которая, подобно мне, держалась далеко от активной политики, отношение этой интеллигенции к борцам против монархического и бюрократического строя...»

Кроме рукописи рассказа «Очаковец» Нина Петровна переслала мне копию письма Л. Н. Толстого к ее отцу и заметки самого Оленина-Волгара, объясняющие историю этого письма.

Письмо от Толстого, судя по штемпелю на конверте, было получено в 1889 году. В ту пору Оленин жил в глухом касимовском захолустье. «Думая о темной полунеграмотной родине, о том зле, которое я видел вокруг себя, — вспоминает он в своих заметках, — я додумался до идеи издавать журнал, который был бы праведным зеркалом всего нашего захолустья. Для того, чтобы журнал «пошел», я решил заручиться бесплатным сотрудничеством лучших наших писателей и написал некоторым из них письма, излагающие мою идею». Было написано такое письмо и к Льву Николаевичу Толстому.

Вот что ответил Оленину знаменитый писатель: *

«Петр Александрович!

* В этом письме мое отчество Л. Н. изменил на «Александровича» — дело в том, что я в своем письме сообщал его сокращенно: «Ал.» — прим. П. Оленина — В. П.

Журнал для крестьян очень хорошее дело. Здесь в Москве Сытин купил фирму журнала (никому не известного) «Сотрудник» и просил меня помочь ему. Я составил себе в голове ясную программу этого журнала и даже стал готовить материал. Он станет выходить с 17 июня. Я делаю, что могу, но боюсь, что журнал не будет, чем должен и мог бы быть, потому что Сытин — издатель заинтересованный преимущественно материальной стороной. Нужен бескорыстный труд.

Если Вы затеете свой журнал, я буду помогать ему, сколько могу, но обещать писать вперед не могу, и поэтому никогда никому не обещал вперед. Имя же мое таково, что если оно и привлечет подписчиков, оно повредит журналу перед цензурой. Да и нехорошо заманивать подписчиков. Будет хорош журнал, будут и подписчики. Так давайте постараемся сделать журнал как можно лучше; и в этом я очень рад буду, насколько могу помогать вам.

Желаю Вам успеха. Главное — хорошему делу.*

Л. Толстой».

На ходатайство Оленина о разрешении издавать в Касимове журнал «Ока» была наложена министерская резолюция: «Просьбу оставить без последствий»...

По этому поводу Оленин-Волгарь с горечью замечает: «Многое не удавалось мне в жизни. Многие мои замыслы так и остались неосуществленными. Неудачник — вот моя лучшая характеристика...»

Под этими заметками поставлена дата: 12 апреля 1925 года. А 13-го апреля Петр Алексеевич Оленин-Волгарь умер.

Да, это верно — многие замыслы писателя и капитана Оленина-Волгаря так и остались неосуществленными. Но можно ли назвать его неудачником? Этого человека, одержимого стремлением к добру, к открытиям. Даже смерть пришла к нему в миг вдохновения. Вот как он умирал.

В начале 1926 года старый капитан обратился к врачу по поводу простуды. Его положили в районную лечебницу, а потом перевели в Павловскую больницу. К весне он стал поправляться. Лежа в общей палате, раз-

* Письмо находится в московском музее Л. Н. Толстого.

влекал соседей по несчастью чтением стихов, помнил которых множество.

13-го апреля он сказал: «Хотите, я прочитаю вам последний монолог Бориса Годунова из трагедии Пушкина?» И, выступив на середину палаты, начал:

«...Умираю;

Обнимемся, прощай, мой сын...»

Читал он вдохновенно, воистину переживая трагедию умирающего Бориса. И когда произнес последние слова этого монолога: «Простите ж мне соблазны и грехи и вольные и тайные обиды...», — он вдруг, как и полагалось по ходу событий, упал.

Соседи по больничной палате стали ему аплодировать. А он не поднимался. Когда к нему подошли, Волгарь-Оленин был уже мертв.

Похоронили его на Дорогомиловском кладбище.

В Касимовском музее я видел печальный документ: подписной лист пожертвований от служащих Управления Московско-Окского пароходства на похороны капитана П. А. Оленина. И вспомнились мне слова старого касимовского краеведа Кленова: «Бессребреник». И слова Паустовского: «Это был строгий, добрый и беспокойный человек, считавший, что все профессии одинаково почетны, потому что служат делу народа и дают каждому возможность проявить себя хорошим человеком на этой хорошей земле».

1968

СИНЕБОРЬЕ

Давно, уже много лет, живу в городе. Уклад и порядок городской жизни стал мне привычным и, кажется, необходимым. И высокие каменные дома, и асфальт тротуаров, и огни светофоров на улицах, и метро, и троллейбусы, и многое другое, что неотделимо от города, стало также неотделимым и от моего быта, привычек и представлений. Но иногда случается так, что проснешься вдруг среди ночи в своей городской квартире и услышишь, а может, и не услышишь, только почувствуешь, как плещутся о камень московских застав волны зеленого моря, несущие запах хвои и теплой земли. И тут же припомнишь знакомую черемуху, склонившуюся над мало кому известной мещерской речкой Стружанью. Припомнишь с такой пронзительной ясностью, что почувствуешь холодновато-горький запах цветов и увидишь всю ее от нижних, кем-то грубо обломанных веток до самой макушки, где цветы вроде уже и не белые, а слегка позолоченные сиянием майского дня.

Да и не только саму черемуху, но и травянистую полянку возле нее, и желтые чашечки первых купальниц, и пока еще по-всесеннему нежно-зеленые лезвия антра, поднявшиеся из темной воды.

И так же явственно услышишь кукушку в бархатной чаще соседнего ельника, бессознательно, по привычке прошепчешь: «Кукушка, кукушка, сколько лет жить мне?» — и с замирающим сердцем будешь внимать ее вещему счету.

Потом придет день, начинающийся, как обычно, утренним голосом радио, нарастающим шумом улицы, све-

жей газетой, отзвуком сердцебиения мира, в котором противоборствуют горе и радости. Он захватит, затормошит постоянными, как вечность, заботами, захлестнет суетой и заставит забыть ночное видение. Но где-то, может быть, в самой глубине души освежающим родничком будет пробиваться: «А у меня есть знакомая черемуха над Стружанью». И от этого самый день становится светлее и чище...

С давних пор влекло меня к еще одному, не открытому и не виданному мной родничку — Синеборью.

Оно звенело во мне песней зяблика, отзывалось голосом черноголовой славки и посвистом пиволги, шумело высокими шапками бронзовых сосен и вкрадчиво шелестело листвою берез. В нем мне чудились волны Зеленого моря.

Знал я, что Синеборье расположено в Муромских древних лесах, был много наслышан о самобытной его красоте и каждое лето загадывал побывать в том краю.

2

В знойный июльский полдень стояли мы с Сергеем Васильевичем Лариным, владимирским писателем и охотником, на гребне городского старинного вала. Прямо перед нами, за Клязьмой, бескрайно синели Мещерские и Муромские леса.

— Вот так и поедешь по этой дороге на Судогду. А от Судогды бери влево, на Чамерево. Там оно и есть — Синеборье, — папутствовал Ларин.

Он и сам бы поехал со мной, да дела не пускают. Сергей Васильевич на должности: работает заместителем редактора областной газеты. Мы с ним почти ровесники, обоим за пятьдесят, но за последнее время он погрузнел, появилась отдышка.

— Таких сел, как Чамерево, у нас в области больше нет. Единственное в своем роде, — говорит он. — Впрочем, не буду рассказывать, своими глазами увидишь...

И вот я уже еду в желанное Синеборье. Дорогу с обеих сторон обступают старые березы, а к самому полотну ее выбежали белые ромашки, пунцовые звездочки дикой гвоздики, розовые свечки кипрея.

Перемахнув мосток через речку Сойму, не доезжая до Судогды, сворачиваем налево. Бывалый шофер объясняет:

— Мы тут по летничку на Лаврово выскочим. Километров десять выгадать можно.

Едва приметный, мало наезженный летничек выводит нас к каменке. Мощенная булыжником, она окаймлена высокими лиственницами и напоминает аллею старого парка. За лиственницами — чистый сосновый бор. Сосны одна к одной — высоки, прямоствольны. Стоят они в линейном порядке, как гренадерский полк на парадном смотре.

— Сажены бор-то?

— Сажены, — отвечает водитель. — Это все были дачи помещика Храповицкого. Но за порядком следил управляющий, немец Тюрмер. Ученый лесовод. Этот много полезного сделал. А сам-то Храповицкий в Питере жил и из здешних лесов только капиталы выкачивал да на трюфелях проедал. Когда революция произошла, он за границу подался, во Францию. Там и помер.

— Жена у него была совсем глупая, — добавляет водитель.

— Что так?

— Ну как же: в тридцатых годах прислала она здешним колхозникам письмо из Франции. Пишет, что барин, мол, помер, оставил ее без денег, и требует, чтобы мужики высылали ей на пропитание. А я, дескать, за это землю и лес обратно не буду требовать.

— А колхозники?

— Что — колхозники, прочли письмо, посмеялись и написали ей: дура, мол, ты бывшая барыня. Землю и лес у нас обратно никто не возьмет. Вечно владеть будем.

Из лесного массива каменка выбежала в поля, окаймленные рощами, поднялась на взлобок.

— А вот и Чамерево.

Село и впрямь выглядело совсем необычно: на горке в окружении сосен и старых берез стояли крепкие бревенчатые дома сплошь с вывесками: «Участковая больница», «Сельский совет», «Школа», «Правление колхоза «Красное Синеворье», «Ветеринарный пункт», «Библиотека». И еще — два магазина, хлебопекарня, клуб, коптира сельпо. Только немного поодаль, возле старой каменной церкви, ютились три домика, когда-то принадлежавшие церковнослужителям. Но церковь давно уж закрыта, ее служителей и след простыл, а в домиках живут теперь сторожа-пенсионеры.

В сельском Совете я застал председателя — Федора Леонтьевича Антонова, и директора школы. Разговор у них шел об олифе, белилах, сурике.

— То строимся, то ремонтируем, — пояснил председатель. — Вот недавно новый дом для больницы поставили, а теперь пристройку к школе заканчиваем. Вы первый раз здесь? Село необычное? Все говорят так. В Чамере-ве-то у нас только деловой центр, а население живет в окружающих деревнях. Они рядом — Михалево, Рамешки, Бокуша, Поддол, Попеленки, Слащево. Ближняя отсю-да — Михалево — метров чтыреста, а и до самой дальней пяти километров не будет.

Директор школы Иван Васильевич — географ. Он уточняет:

— Это только Малое Синеборье. Оно расположено по водоразделу между Соймой и Судогдой. Большое же Си-неборье, охватывающее боровые леса, простирается даль-ше. Чамерево стоит на песчаном холме, изобилующем камнями моренного отложения. Отсюда открывается чу-десная панорама всей местности. Пойдемте на улицу, я вам покажу.

— Погоди, — останавливает председатель и, обраца-ясь ко мне, спрашивает: — С жильем устроились?

Нет, о ночлеге я еще не подумал.

— Это у нас не проблема. Устроитесь.

С директором школы мы выходим на улицу. Прежде всего он хочет показать свою школу. Там ремонт. В од-ном отделений красят пол, в другом — конопатят новые стены.

Иван Васильевич показывает, как будут расположе-ны классы, ведет в другое здание, где предполагается от-крыть интернат.

Потом мы выходим на самый гребень холма, к старой церкви. Отсюда видно и темный сосновый бор, и пойму реки. У самой воды она заросла кугушником и осокой, а дальше — выкошена, и там, над покосом, поднимаются сизые шапки свежих стогов.

— А еще я вам покажу одно диво, — обещает Иван Васильевич и предлагает спуститься вниз.

Спускаемся по плотно выбитой тропочке, и у самого подножья холма вдруг открывается родник, заключенный в четырехугольное гнездышко сруба. Вода в нем хру-стально чиста, и видно, как на дне сруба пульсируют

перламутровые песчинки. Из-под нижней колоды вытекает небольшой ручеек.

— Живая вода, — говорит Иван Васильевич. — Этот родничок даже зимою не замерзает, а кто попьет из него, тот уж непременно душой к Синеборью привяжется. Попробуйте-ка, на вкус-то какая.

Зачерпываю ладонью холодную воду и пью.

3

Я устроился в Рамешках, у Сергевны.

Высокая, седая, но еще крепкая, как береза, она сказала:

— Живи. Все равно изба-то пустая. Одна я осталась, с кошкой. Старик давно уже помер, дочь в Судогде, у сына свой дом, а второй сын с войны не вернулся. Гляди-кося, какой был.

Она показывает портрет черноглазого мальчика.

— Неужто такой на войну ушел?

— Нет, двадцать третий год ему был, как призвали. А карточка-то у меня лишь такая осталась. Да ведь для матери какой хошь будь — все дитятко.

В избе у Сергевны чисто, пахнет сухими травами. Окна весь день открыты. Ветер шевелит и раздувает ситцевые занавески.

Справа к избе примыкает сад. Вдоль изгороди густо разросся терновник, за ним яблони. На ветках грузно висят плоды, еще не тронутые румянцем.

Сергевну часто, по несколько раз в день, навещает внук, четырехлетний мальчик Митя, в зеленоватой клетчатой рубашонке и в коротких вельветовых штанишках. У нас с ним установились дружеские отношения. Митя открыл мне тайну: маленький шалаш на задах, за бабушкиной избой. Он построен из веток тальника и стеблей высокого конского щавеля. В шалаше собраны драгоценности — глиняная свистулька, велосипедный звонок и разноцветные осколки фарфоровых чашек. Есть даже такой, на котором полностью сохранился голубенький цветок незабудки.

В полдень мы ходили с Митей на старицу Соймы. Крутой берег ее зарос мелкой кудрявой травкою-поспорышем, а дно песчаное, чистое. Удобно купаться. Когда я скинул брюки, рубашку и остался только в трусах, Ми-

тя заметил на левом предплечии у меня коричневое пятнышко величиной с боб.

— Это почему? — спросил он.

— Так, родимое пятно.

Глаза у мальчика округлились, наполнились страхом.

— Значит, ты пьяница?

Вопрос смутил меня своей неожиданностью.

— Откуда ты взял?

— У нас в деревне есть Лёха-пьяница. Он со всеми ругается, а зимой бегал босиком по деревне. Один раз пришел к нам учитель, и они с папой стали говорить про Лёху. И Иван Васильевич сказал:

«Дают еще себя знать эти проклятые родимые пятна».

— У меня оно не проклятое, — успокоил я Митю.

— Это хорошо, — сказал он.

Когда вернулись домой, Сергевна сидела на кухне и выбирала малину. Я прошел в горницу, а Митя остался с бабушкой. Они о чем-то шептались. Потом Сергевна сказала:

— Будя болтать-то. А у тебя вон на спинке тоже есть пятнушко.

...Синеборье славится искусными плотниками, поэтому избы в здешних деревнях, как на подбор, аккуратны, окна высокие с резными наличниками. Почти перед каждой избой — скамеечка.

В золотой предзакатный час, нахлопотавшись по дому и в огороде, Сергевна говорит:

— Пойду погуляю на лавочке.

Выходит, садится на скамеечку. К ней присоединяется кто-нибудь из соседок-ровесниц. Они сидят, разговаривают, по-ихнему — «гуляют».

Перед домом паискосок от Сергевниного на скамеечке «гуляет» крижистый старик. Большой, хрящеватый нос его загнут крючком. В лохматых бровях седина. Это Андрей Павлов, бывший председатель сельского Совета, а теперь по старости лет — пенсионер.

Однажды он позвал меня, подвинулся, предложил:

— Погуляйте со мной.

Я сел, закурили.

— В новой больнице были ай нет? — спросил Андрей Павлов.

— Заходил.

— На потолок обратили внимание?

— А что?

— Низковат. Я ведь говорил им: в больнице потолки полагаются выше делать, чтобы кубатура была. А они не доглядели. В пекарню еще наведайтесь. И там порядку не стало. Молод нынешний-то, опыту нет. Это я вам говорю как коммунист — коммунисту. Заботы не проявляют.

— Кто?

— Федор-то. Молод еще.

Нынешнему председателю Совета Федору Леонтьевичу лет сорок пят. Все отзываются о нем как об энергичном, толковом работнике. И рекомендовал-то его сам Андрей Павлов. Но теперь старику кажется, что новый — молод, неопытен и что вообще с тех пор, как сам он, Андрей Павлов, ушел на пенсию, дела пошли хуже: вот, высоту потолка в больнице не предусмотрели, в пекарне порядка нет...

— Бывало, ночей не спишь, все думаешь, как то, как это решить. А нынешний? Он даже в спектаклях участвует. Зимой постановку делали, и, понимаете, — на сцене роль представлял.

— Что ж тут плохого?

Андрей Павлов удивленно глядит на меня, долго, тяжело думает и отвечает:

— Председателю разыгрывать неудобно.

Мы курим, молчим, потом старик принимает решение:

— Дождя давно не было, пойду капусту полью... А в пекарню-то вы как-нибудь загляните. Напишите, не напишете — ваше дело, а они все-таки вывод сделают.

4

В Чамереве я неожиданно встретил знакомых. Это были рабочие из Гусь-Хрустального. Четырнадцать человек. Завод послал их сюда на две недели помочь колхозу «Красное Синеборье» управиться с сенокосом.

Я давно уже не бывал в Гусь-Хрустальном. Там теперь много нового. Строится большой экспериментальный завод. Он будет филиалом Всесоюзного Института стекла. Начальником строительства назначили Джима Клега. Я знал его, когда он был еще мальчиком. На старом хрустальном заводе тоже идет реконструкция.

— Приезжай, там есть, на что поглядеть.

Я в свою очередь спросил у них:

— Здесь вам правится? Не правда ли, сказочный уголок? Смотрите, какой чудесный вид открывается с этой горки.

— Красиво, — ответил мне высокий худощавый алмазчик. — Только, видишь ли, пейзажем-то сыт ведь не будешь. Для этого требуются более материальные вещи, скажем — мясо, хлеб, молоко. А по этой части в колхозе не очень благополучно. С производственным планом он не справляется, просит помощи. И вот присылают нас. Мы косим, мечем сено в стога. Но много ли поработаем? Ведь по профессии я не косец, а мастер алмазной грани. Хрусталь шлифовать — пожалуйста, а косу как следует отбить не могу.

Колхоз платит рабочим по установленным расценкам и нормам, но весь этот заработок уходит у них на харчи. Правда, на заводе за ними сохраняется пятьдесят процентов оклада.

— Но ведь это — нам утешение, а государству? — сказал алмазчик. — Во-первых, пятьдесят процентов оклада идет нам ни за что ни про что, а во-вторых, — колхозники привыкают к тому, что кто-то приедет и будет им помогать. Ведь это не первый случай, а из года в год повторяется. Вот как раздумаешься об этом, так и пейзаж потускнеет.

— В чем же, по-вашему, причина недостатков в колхозе?

— А их, видно, много, причин-то. По части агрономии и зоотехники я, конечно, не специалист и рекомендаций дать не сумею, а вот по части организации скажу, порядка здесь недостаточно. Управленческий аппарат излишне раздут, производственная дисциплина хромает. Ведь как иной раз получается: мы — на покос, а некоторые колхозники — в лес по ягоды... Председатель — человек приезжий, из Судогды. До сих пор на два дома живет. Я как-то поинтересовался: сколько, мол, сельхозугодий-то у колхоза. А он отвечает: «На память сказать не могу, надо по книгам свериться». Это что же — хозяин? Вот, думаем с колхозными коммунистами поговорить. Надо решительно поправлять дело... А так — ничего. Места здесь очень красивые, — заключил свои суждения мастер алмазной грани.

Душа Синеборья — лес. В самом названии этой местности колоколами гудят высокие сосны.

Я тут познакомился с одним лесником. Живет он в деревне Бокуше. Фамилия — Медведев. Александр Кузьмич. Высокий, темнорусый мужчина лет тридцати.

Однажды сидели мы с ним на берегу Судогды, и я вслух восхищался таинственной, как казалось мне, прелестью лесной чащи, темневшей за солнечной лентой реки.

— Это еще не лес, а так себе, чернолесье, — остановил мои восторги лесник. — Вот если бы заглянули в Удел (есть такое урочище), то там сплошь боровые сосны. Им уж лет по двести, а они могучие, крепкие. Обушком топора по стволу легонько ударишь — как ведь отзывается. Высота — тридцать пять метров. Одно такое дерево до двенадцати кубов деловой древесины дать может.

— Поди и рубить-то их жалко?

— А здешние леса и не подлежат массовой вырубке. Они водоохранное значение имеют. Выруби — реки иссякнут и земля высохнет. Наше дело теперь беречь и облагораживать лес. Дерево срубили — другое сажай.

— Да пока еще они вырастут...

Пока сосна до полной спелости вырастет, восемьдесят лет надо ждать. Одной человеческой жизни не хватит. Тут эстафета поколений нужна, преемственность заботы.

Дело свое Медведев любит самозабвенно. С упоением рассказывал он мне о новых посадках сосны и сибирского кедра, о борьбе с огнем и лесными вредителями, о ягодном и грибном изобилии Синеборских лесов.

Я спросил у него:

— А охота здесь какова?

— По боровой дичи у нас самые охотничьи места, — сказал он, — только дичи-то год от года меньше становится.

Что так?

— Енота в наши края завезли. Он расплодился, как бедствие. Хуже волка. Боровая-то дичь, как известно, гнездится по низу, а енот дуrom истребляет яйца, птенцов да взрослую птицу. Но в конце-то концов не енот, а сами же мы виноваты: мало внимания уделяем природ-

ным богатствам и распоряжаемся ими порой неразумно. Ведь козла в огород на капустные грядки даже круглый дурак не выпустит. А тут? Валяй, разводи енота!

— А сколько лет к лесам относились по-варварски, — продолжал он с горечью и возмущением. — Возьмите хоть тот же Муромский лес. В песнях о нем поется, в былинах поминали его. А знаете ли, что под самым-то Муромом леса вовсе уже не осталось. Голое место...

Мы долго еще говорили о печалях и радостях, связанных с лесной работой Медведева. Между прочим, узнал я о том, что мой новый знакомый учится на заочном отделении лесного техникума и через год ему уже предстоит защита диплома.

Беседовать с ним было интересно не только потому, что Медведев отлично знал свое дело, но и потому, что в рассказах его открывалась светлая, искренняя любовь к природе родного края.

...В тот день, возвращаясь из Бокуши в Рамешки, на тропинке, капризно петлявшей по частому молодому березнячку, я встретил черноглазую девочку лет тринадцати, в легком ситцевом платьице, с толстой и, видно, тяжелой сумкой через плечо. Она отступила с тропинки, степенно, как взрослая, поздоровалась. Я ответил:

— Здравствуй, красавица.

И мы разошлись.

Дома же, когда сказал, что иду из Бокуши, Сергевна спросила:

— Светку не встретил ли?

— Какую Светку?

— Внучку мою, сестренку Митину. Она в Бокушу с книжками побегала. «Бабушка, говорит, я — книгоноша». Это, видишь ли, чамеревская библиотечка Мария Григорьевна дает им книжки, а они по деревням несут, кому требуются. Зимой и мне приносили. Я толстые все беру и читаю исподвольки. Ползимы «Тихий Дон» читала, а еще ползимы — про Степана Разина. Ну, я-то читаю только зимой, а есть которые и летом время находят. Вот Светка и бегаёт. На собрании, слышко, ее хвалили за это. Она хоть и внучка мне, а все равно скажу: девчоночка славная, без дела не усидит. То на покос подгрести ходила, то вот: «Я — книгоноша»...

Сноха Сергевны работает старшей дежурной сестрой в Чамеревской больнице, поэтому Сергевна пребывает в курсе всех новостей, связанных с медицинским обслуживанием Синеборья. Именно от нее я узнал, что главный и единственный врач Анна Александровна сейчас в отпуске и что заменяет ее фельдшер Любовь Васильевна. Сергевна сообщила мне даже такую подробность: в следующую субботу исполняется ровно пять лет, как Любовь Васильевна после окончания медицинского техникума впервые приехала в Чамерево.

— Родом-то она муромская. Сюда приехала вовсе молоденькой. Все — Люба да Люба. А на работе оказалась такой деловой да внимательной, что Любовь Васильевной стали ее называть. Когда главный врач уедет куда или в отпуск уйдет, первая замена — Любовь Васильевна. И ведь справляется. Тут вот недавно привезли к ним в больницу очень тяжелого. Сноха говорила — инфаркт. Анны-то Александровны не было. Ну, все и переполошились: как быть? Не дай бог смертного случая. А Любовь Васильевна строгая сделалась и только командует: «В отдельную палату, камфору, шприц...»

Сергевна даже в лицах представила, как решительно распоряжалась тогда фельдшерица и как расторопны были дежурные сестры.

— Полтора суток из палаты не выходила, сама извела, а человека к жизни вернула...

Вчера стояли мы с директором школы Иваном Васильевичем возле пристройки и разговаривали о том, успеют ли отделать ее к первому сентября и не придется ли начинать учебный год в старом здании. Дело оставалось за тем, чтобы вставить оконные рамы, навесить двери и закончить внутреннюю отделку.

Ивану Васильевичу хотелось, чтобы пристройка была закончена в срок.

Мимо по улице шла молодая, очень стройная женщина в белой, слегка накрахмаленной косынке. Походка у нее была легкой и плавной. В Дагестане я видел горянок с такой походкой. Они несут на плече кувшин, до краев наполненный свежей водой, и не расплещут ни капельки.

Вот так же прямо и плавно шла эта женщина. В правой руке у нее был маленький дерматиновый саквояжик.

Кивком головы она поздоровалась с Иваном Васильевичем.

— Кто это? — спросил я.

— Наш фельдшер, — ответил директор. Мы оба долго, молча смотрели, как шла она, будто плыла вдоль зеленой солнечной улицы. И оба сожалеюще вздохнули, когда белая косынка ее уже скрылась за поворотом.

Вечером я сказал Сергеевне, что видел Любовь Васильевну.

— Наверно, к больному ходила. Кто-нибудь ближний недужится. В дальние-то деревни у нас на «неотложной помощи» выезжают. Видел небось голубой москвичок?

И опять заключила:

— Сердечная. Жалко, если уедет от нас.

— Почему же уедет?

— Он не едет сюда.

— Кто это — он?

— Ну, этот самый. По-старому, что ли, — жених. Здесь-то, как замечаем, никого у ней нет. А девушка интересная, что лицом, что фигурой. Стало быть, где-то он есть. Что же делать-то — к нему надо ехать.

— А может, это только ваши предположения?

— А да ведь я ничего такого и не сказала. Ей, небось, и самой от Анны Александровны уезжать не захочется. Анну Александровну-то у нас ой как уважают. Эта уж на всю округу известная докторша. К ней и из города приезжают советоваться. Но, милый ты мой, своего-то счастья каждому хочется.

7

Вернувшись во Владимир, я снова встретился с Лариным и стал рассказывать ему о своей поездке.

— Значит, ты был только в Чамеревской округе. А ведь Синьборье гораздо обширнее. Там одного леса более ста тысяч гектаров. И город Судогда, он тоже, по-моему, не к Мещере, а скорей, к Синьборью относится. А ты был только у одного родничка...

Ну что ж, мне пока и этого хватит. Вот когда-нибудь зимней ночью, будто от толчка, проснусь я в своей мос-

ковской квартире, услышу, как шумят и плещутся волны Зеленого моря, и явственно представлю себе родничок, заключенный в четырехугольнике замшелого сруба. Увижу живую игру песчинок на дне его, и ручеек, выбегающий из-под бревенчатой кладки, и маленькую черногрудую трясогузку, что бежит через этот, не приметный почти ручеек на своих голенастых, тоненьких ножках, и вся трепещет, дрожит, будто внутри у нее пружинка. Увижу задумчивый бор. И долго будет в душе откликаться радостным светом:

— А у меня есть знакомый родничок в Синеборье!

1964

ТЕЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ

Северная граница лесной Мещеры проходит по реке Клязьме. И вот тут, на этой границе, но не на Мещерской, а на Опольной ее стороне, то есть на левом берегу Клязьмы высоко стоит наш древний город Владимир.

Во Владимир впервые попал я двенадцатилетним мальчиком, летом 1919 года. Я еще учился в начальной школе и только что перешел в пятый класс. Тогда-то наша учительница, добрейшая Александра Матвеевна, и задумала показать нам Владимир. Деньги на экскурсию выдал Совет. Собственно говоря, деньги-то нам и не требовались: проезд по узкоколейной железной дороге был совершенно бесплатным, а хлеб и воблу по продовольственным карточкам выдавали также без денег. То было время «военного коммунизма»...

Поезд пришел во Владимир ночью. Со станции нас повели куда-то в гору и поместили на ночлег в одной из городских школ. Спали мы прямо на партах.

Ранним утром нас разбудили какие-то странные звуки. Казалось, что совсем рядом железные капли падали на каменную плиту. Звуки эти то удалялись и становились глуше, то приближались опять и явственно слышалось: цок-цок-цок...

Все бросились к окнам. Мимо школы по улице ехали телеги, и лошади цокали подковами о булыжную мостовую.

У себя дома по утрам мы привыкли слышать фабричный гудок, пронзительный свист «кукушки» — обшарпанного паровозика заводской железной дороги, мычанье коров. Иногда скрипели немазанными осями подводы. Но лошади

неслышно ступали копытами в мягкую пыль немощеных дорог.

— Гляди-ко, здесь даже на улицах каменный пол. Вот здорово! — изумленно сказал мой дружок Сашуня Шувалов.

— А что ты хочешь — губерния! — значительно откликнулся первый ученик нашего класса, или, как бы теперь сказали, круглый отличник Костя Буистов...

Через несколько лет после этого мне довольно долго довелось жить во Владимире и даже на его главной улице. Но первые впечатления о ней связаны все-таки с цоканьем подков и грохотом телег. Именно этими звуками вошло в мою память утро губернского города.

С течением времени лошади стали редкостью и во Владимире. Там появились автомашины, автобусы. И мальчишек, которым случится приехать туда на экскурсию или по какому-нибудь другому поводу, теперь разбудят уже иные звуки.

Время течет, и жизнь изменяется. Эти перемены нагляднее всего предстают передо мною в образе Главной улицы.

Почти все губернские города дореволюционной России были схожи между собой и чем-то напоминали друг друга. В каждом из них была своя главная улица, называвшаяся либо Большой Московской, либо Большой Дворянской. Центр отмечался торговыми рядами или гостиним двором, пятиглавым собором с высокой колокольней, казенными фасадами присутственных мест. Почти в каждом городе имелось также свое Заречье или какое-нибудь Заовражье, а на одной из окраин непременно ютилась слободка, именуемая Шемиловкой.

Все это было и во Владимире-на-Клязьме. Осевая линия главной улицы Владимира проходит вдоль Московской дороги, той самой каторжной Владимирки, по которой гнали ссыльных в Сибирь.

В серых арестантских бушлатах, звеня кандалами, тяжело брели они в далекую даль. Скупые цифры официальной статистики говорят, что, например, в середине прошлого века одних только ссыльных «политиков» ежегодно проходило по Владимирке более десяти тысяч человек. В память об этих самоотверженных и пылких борцах за освобождение народа старую Владимирскую доро-

гу, что брала начало в Москве от Рогожской заставы, теперь называли Шоссе энтузиастов.

Главная улица Владимира начиналась со Студеной горы, расположенной на сто девяностой версте от столицы. Чуть-чуть в стороне от этого места башнями возвышался тюремный замок. С горы полого спускалась Дворянская улица. Продолжение ее называлось Большой, потом она переходила в Нижегородскую, а у Нижегородской заставы была пересыльная каторжная тюрьма и за нею — кладбище. Следовательно, город начинался тюрьмой и кончался опять тюрьмою и кладбищем...

Но на той же главной улице памятником истории стояли древние Золотые ворота. Через них (подумать только!) не раз проезжал со своей дружиной Александр Ярославич Невский, князь, деяниями которого и поныне гордится Русь.

В более позднее время на Большой улице жил высланный из Москвы за «смелое и опасное вольнодумство» тогда еще совсем молодой Александр Иванович Герцен. С тех пор как он жил здесь, прошло сто двадцать пять лет. Если соотносить это с временами Невского, то надо было бы сказать: всего сто двадцать пять, но в соотношении с нашими днями правильнее будет сказать: уже сто двадцать пять лет, — такой удивительно далекой представляется нам теперь молодость Герцена.

Герцен приехал во Владимир зимой, в первый день нового, 1838 года, и остановился в единственной гостинице вблизи торговых рядов. Впоследствии в своей знаменитой книге «Былое и думы» он отметил, что эта гостиница очень верно изображена В. А. Сологубом в повести «Тарантас».

Неуютная, грязная, густо заселенная клопами и тараканами, владимирская гостиница все же стремилась подражать петербургским. Потолки в «нумерах» ее были расписаны амурами и цветами, тараканы жили за зеркалами в рамках из красного дерева. На кухне готовили «изысканные» блюда. В меню, написанном на лоскутке серой бумаги, захватанной сальными пальцами половых, значилось: «суп-липотаж», «курица с рысью», что следовало понимать как курица с рисом, и даже «желе с апельсинов». Проживали в гостинице преимущественно заезжие помещики и офицеры. Купцы останавливались на постоялых дворах.

Герцен вскоре же съехал отсюда и поселился в частном доме по соседству с Золотыми воротами.

Ссылному надлежало служить в губернской канцелярии, чтобы быть на глазах у начальства. Губернатор Курта поручил ему редактирование неофициального прибавления к «Губернским ведомостям».

Ежедневный путь Герцена от дома до присутствия, где составлялись «Ведомости», проходил по главной улице. Она была как бы вывеской города, население которого состояло из чиновников. За прилавками Гостиного двора сутились сидельцы. Пахло шорным товаром, селедкой и мылом. Среди прочих была здесь и книжная лавочка, в которой продавались «Новейшие сонники», сочинения Поль-де-Кока, «Правила игры в преферанс», «Виды Царьграда» и повести вроде «Пещеры разбойников» и «Кровавого привидения»...

Справа и слева, прямо над улицей и из-за домов, поднимались засиженные галками разноцветные луковичы церковных куполов. По гребню холма над Клязьмой белело тяжелое здание губернской палаты, кишевшее чиновным людом, как тараканами. Насупротив палаты красовалась колоннада Дворянского собрания. Тут же неподалеку был губернаторский дом, жандармское управление, за ним поднимались крепостные стены монастыря.

Живой, общительный по натуре, Герцен сблизился кое с кем из владимирской молодежи, попытался устраивать чтение, хлопотал о библиотеке. Но за него стали поглядывать косо. За глаза называли вольнодумцем и возмутителем.

Жизнь городка была тусклой. По вечерам даже главная улица становилась похожей на пустынное кладбище. Редко-редко где подслеповато мигали керосиновые фонари. Шаги случайного прохожго вызвали подозрение у городского солдата. Раздавался окрик:

— Кто идет?

В ответ слышалось:

— Обыватель.

И снова, как бы затаившись, затихала главная улица...

Время владимирской ссылки в жизни Герцена совпало со светлой порой женитьбы и пылкой влюбленности. В этом состоянии мир кажется человеку прекрасным. Впоследствии он писал, что здесь для него «начался новый отдел

жизни... отдел чистый, ясный, молодой, серьезный, отшельнический и проникнутый любовью».

С главной улицы, из небольшой квартирki у Золотых ворот, он с молодой женой переехал на Лыбедь на окраину города, сняв дом у какой-то старой княгини. Там были вишневые сады, тянулись зеленые Мурашкины огороды. Александр Иванович радовался семейному счастью.

И все-таки с каким восторгом в 1840 году вырвался он наконец из Владимира!

Два года прожил во Владимире Герцен. Но если бы он прожил там не два, а двенадцать или сорок лет, все равно уж очень заметных перемен он не увидел бы.

Их почти не было. В конце XIX века, как и в начале его, город оставался чиновным, поповским и мелкокупеческим. В 1898 году во Владимире числилось около 30 промышленных заведений, а рабочих во всех этих заведениях было 270 человек. Самым крупным считался «завод», производивший церковные свечи...

В XX век Россия входила, беременная революцией. Создавалась Российская социал-демократическая рабочая партия. В уездах, заводских поселках, на фабриках вспыхивали волнения и стачки. Возникали подпольные кружки и союзы.

Однажды во Владимир привезли арестованного в Шую большевистского агитатора Арсения. С вокзала под усиленным конвоем провели его в каторжную тюрьму и посадили в одиночную камеру. Потом судили и приговорили к смертной казни через повешение. В камере смертников, ожидая казни, Арсений штудировал учебник английского языка и историю походов Чингис-хана, Суворова, Наполеона.

— Зачем это, ведь вас не сегодня-завтра повесят? — спросил у него озадаченный надзиратель.

— Революционеры бессмертны, как бессмертно дело освобождения трудящихся! — ответил узник.

Подлинное имя и фамилия этого человека — Михаил Васильевич Фрунзе. Смертная казнь ему будет заменена каторгой. После революции он еще станет полководцем Вооруженных Сил молодой Советской республики. В память о нем часть главной улицы, пазывавшаяся Нижегородской, теперь называется улицей Фрунзе...

Коренные перемены в жизни губернского города и на его главной улице зримо начались только после Великой

Октябрьской революции. Позакрывались монастыри. Как стая ворон, снялись и разлетелись куда-то монахи. Вместо гимназий была создана единая трудовая школа. Кухарки-ны дети получили право учиться. В здании духовной семинарии открылись курсы командиров Красной Армии, а в здании епархиального училища — рабфак. Дворянское собрание стало рабочим клубом. Восторженный молодой Александр Безыменский читал здесь ребятам из паровозного депо свою «Комсомолию».

За Нижегородской заставой начала строиться первая фабрика. Потом рядом с ней — заводы «Автоприбор» и «Химпластмасс». К середине тридцатых годов во Владимире было уже семь тысяч рабочих.

Так и жил да был губернский городок —
Незаметен, неприметен и убог.
Монастырские подворья, да тюрьма,
Да по пятницам базаров кутерьма.
От старинных Золотых его ворот —
К кривобоким переулкам поворот.
Там ни радости, ни света, ни тепла,
Только треплют языком колокола.
Он от скуки и от страха нелюдим.
Он чужой мне,

Он далек

и нелюбим...

2

Реку жизни невозможно остановить никакими плотинами. Она пробьется сначала хотя бы малыми струйками, потом размоет завалы и в конце концов хлынет неудержимо могучей волной.

Во второй половине прошлого века Россия услышала набатный «Колокол» Герцена. Пламенный революционер-демократ из своего чужбинного далека обращался к родному народу:

«...О, если б слова мои могли дойти до тебя, труженик и страдалец земли русской!.. Если б до тебя дошел мой голос, как я научил бы тебя презирать твоих духовных пастырей, поставленных над тобой петербургским синодом и немецким парнем. Ты их не знаешь, ты обманут их облачением, ты смущен их евангельским словом, — пора их вывести на свежую воду! Ты ненавидишь помещика, ненавидишь подъячего, боишься их — и совершенно прав; но веришь еще в царя и в архиерея... Не верь им!..»

Ленин скажет потом, что революционную агитацию Герцена «подхватили, расширили, укрепили, закалили революционеры-разночинцы, начиная с Чернышевского и кончая героями «Народной воли». Шире стал круг борцов, ближе их связь с народом. «Молодые штурманы будущей бури» — звал их Герцен. Но это еще не была сама буря. Буря, это — движение самих масс...»

Город обывателей становился городом созидателей.

Конечно, эти перемены совершались не по мановению волшебной палочки. Они требовали много сил и организаторской воли. Мне памятно это время. В двадцатых годах я, семнадцатилетний слесарек из Гусь-Хрустального, приехал во Владимир учиться на рабфак, как приезжали молодые рабочие из разных уездов губернии: кто на рабфак, кто в совпартшколу, кто в техникум...

Я помню коммунистические субботники на первых владимирских стройках, и «Синюю блузу» в бывшем Дворянском собрании, и комсомольские карнавалы в Липках, на главной улице. Но помню я и старого художника Дмитрия Рохлина. Он был добродушным человеком и, кажется, неплохим живописцем. Но однажды, когда я спросил его, почему он пишет только березки и тихие закаты над Клязьмой, а не людей, художник, кисло усмехнувшись, ответил:

— Видите ли, голубчик, от людей потом пахнет.

Этот художник давно уже умер. Он не увидел, как пахнущие трудовым потом люди преобразили облик старого города.

3

Я люблю приезжать сюда во всякое время года, и каждый раз мне любо пройти (именно пройти, а не проехать) по главной улице, чтобы снова увидеть и ощутить радость преображения.

Мой путь начинался с Ямской слободы, где автомобильная дорога Москва—Горький вливается в город. Прежде в этой слободке стояли кособокие избы владимирских ямщиков. Это был пригород. Теперь справа и слева Ямской улицы поднимаются большие каменные дома. Отсюда же начинаются маршруты городского троллейбуса.

Новая гостиница «Заря» сияет застекленными вестибюлями. От нее к Студеной горе идет зеленая улица Пуш-

кина, а дальше к Золотым воротам — Московская. Когда-то и она была сплошь застроена деревянными особнячками с тихими двориками и называлась Дворянской. Глаз сразу выхватывает приметы ее обновления. Вот справа нарядно сверкает зеркальными витринами новый универмаг, рядом большой стадион «Торпедо», налево, чуть-чуть в стороне, многоэтажный Дом партийного просвещения с лекционными залами, библиотекой, кабинетами для учебных занятий, на углу Летне-Перевозенской строится здание театра.

Я подхожу к Золотым воротам, увенчанным каской купола. Отсюда начинается центральная часть главной улицы — улица Третьего Интернационала. В самом начале ее, напротив ворот, находится педагогический институт, а неподалеку, но уже на другой стороне, дом с мемориальной табличкой: «Здесь жил А. И. Герцен»...

На этой же улице я еще встречу мемориальные доски с именами писателя Златовратского и выдающегося физика Столетова — владимирцев, внесших немалый вклад в сокровищницу отечественной культуры. Благодарные потомки не забывают светлый подвиг их жизни.

Перед раскинувшимся над Клязьмой по гребню древнего вала городским парком имени Пушкина и кудрявыми «Липками» поднялся граненый обелиск в память 850-летия Владимира. Это и ныне центр города. Но многовековые памятники истории, к которым прикасались волшебные руки Андрея Рублева и Даниила Черного, согласно соседствуют теперь с новыми зданиями.

Я иду дальше, мимо планетария и народной библиотеки имени Герцена, мимо гостиницы «Владимир» на обновленную улицу Фрунзе. В конце ее была Нижегородская застава, кладбище, и на этом кончался город. Теперь за старой заставой поднялись массивы новых домов, кварталы заводов «Автоприбор», химического, теплоэлектроцентрали. Недавно здесь же возник Научно-исследовательский институт синтетических смол, где разрабатываются методы получения материалов, каких еще не знала природа: новых синтетических волокон, искусственной кожи и еще бог знает чего.

Мне рассказывали, что из тысячи двухсот сотрудников этого института семьсот человек имеют высшее и специальное среднее образование. И абсолютное большинство их — совсем молодые люди...

Я очень люблю бывать здесь в самом начале дня, когда троллейбусы и автобусы со всех концов подвозят сюда рабочих, и шумным, густым потоком вливаются они в заводские ворота. Ведь это и есть живое лицо обновленного города!

Но если проследить за движением в центре Владимира, то можно увидеть, что главная часть людского потока направляется не в конец улицы Фрунзе, а за речку Лыбедь, где на пустыре поднялся совершенно новый район с большими заводами — тракторным, электромоторным, электромеханическим, со своими нарядными и просторными улицами, магазинами, Домами культуры и скверами. И я уж не знаю, какую улицу надо считать теперь главной — прежнюю ли, на которой стоят Золотые ворота, или Октябрьский проспект за Лыбедью, или новую улицу Мира?

Все они любы и дороги мне.

Я вспоминаю старый, чужой мне Владимир и думаю:

«Я теперь другому городу родня,
Есть совсем другой Владимир у меня.
Тот, в котором выпускают трактора,
Тот, в котором много света и добра.
Тот, что улицы просторно распахнул,
Аж за Клязьму с крута берега шагнул.
Приезжайте во Владимир поглядеть,
Как он начал хорошеть и молодеть!»

4

Впрочем, я испытываю не только чувство восторженной радости, но и чувство озабоченности. У Владимира, каким я запомнил его в юности, была своя неповторимая красота, своя гордость — вишневые сады. Особенно нарядны и праздничны были они в весеннюю пору цветения. Казалось, будто серебристое облако легко и нежно упало на склоны холмов; казалось, лебеди белым пухом осыпали вишеник, а над цветущими деревцами, с рассвета до заката, — золотое гудение пчел...

Это было прекрасно!

В размахе стройки многие из этих садов погибли. Их вырубали и строили каменные дома. Город шагнул далеко за окраины, опять-таки подминая сады...

А нельзя ли подумать о том, чтобы улицы перемежались с садами, чтобы радостная красота их сияла для новых хозяев города — создателей, тружеников?

Красота — одна из счастливых радостей коммунизма. Мне хочется, чтобы новый индустриальный Владимир сохранил бы для будущего красоту вишневых садов. Пусть распахнутся они по холмам над весеннею Клязьмой, пусть опояшут заводские районы своим серебряным поясом. Об этом надо думать уже сегодня, и в первую очередь молодым владимирцам, наследникам и хозяевам будущего.

Пусть главная улица начнется вишневым садом и, прозвенев стеклом и бетоном, снова вольется в сад.

Вероятно, я не сумел передать здесь и сотой доли того, что хотел и что можно было бы рассказать о Владимире и о его главной улице. Люди, судьба которых так же, как и моя, в какой-то мере связана с этим городом, могли бы в чем-то поправить и дополнить меня. Конечно, могли бы!.. Но ведь колодец жизни нельзя осушить до дна, хотя бы мы все прильнули к нему жаждущими губами. Сладкой свежести его достанет на каждого.

1964

ДОРОГА В СУЗДАЛЬ

1

Быстрота современных способов передвижения все больше и больше лишает нас чувства дороги, то есть всего того, что обыкновенно связывалось с понятием путешествия.

Для путешествующего человека было привычным оглянуться вокруг, подумать, даже остановиться перед чем-то, поразившим воображение. Да и просто, в силу естественных обстоятельств, нередко приходилось ему задерживаться в пути.

Представьте себе, как ехал А. Н. Радищев из Петербурга в Москву. На почтовых, в кибитке. Как долго тянулась эта дорога — то ось у кибитки сломается, то лошадей на станции не окажется, то еще какая-нибудь задержка. И какие картины жизни возникали тут перед ним, какие раздумья вызвали они у путника!

«Я взглянул окрест меня — душа моя страданиями человечества уязвлена стала», — писал он потом в своей знаменитой книге «Путешествие из Петербурга в Москву».

Эта книга была написана сто семьдесят лет тому назад.

Ну, а если сейчас вам потребовалось съездить из Москвы в Ленинград? Торопливо собравшись, вы мчитесь на аэродром, занимаете место в самолете, и через час уже в Ленинграде. Какая же это дорога?..

Обратимся еще к одному примеру. В 1890 году

А. П. Чехов совершил путешествие на Сахалин. Он выехал из Москвы 21 апреля и через восемьдесят суток, 10 июля, прибыл на остров. Представляете, сколько всего наглядился он в этой дальней дороге.

А при нынешних средствах передвижения? На днях я встретил знакомого и говорю ему:

— Целую неделю не видел вас.

— На Сахалине был, — отвечает он.

— Давно ли оттуда?

— Сегодня утром.

— И какова дорога?

— Отличная. Все время над облаками летели.

Вот уже и получается так, что в коротком путешествии, когда можно обойтись без самолета, увидишь гораздо больше, чем пролетая тысячи километров над облаками.

Поездка из Москвы в Суздаль на автомобиле занимает три с половиной часа. Такая дорога тоже промелькнет, как короткий сон. Но мне она знакома давно. Особенно в своем последнем этапе, то есть после Владимира. Тут я не только ездил, но в молодые годы не однажды ходил пешком и сейчас вижу всю ее до мельчайших подробностей. Она в моем представлении понятие не только географическое...

Выйдя за Нижегородскую заставу Владимира и миновав мостишко через речку Ирпень, надо подняться в гору, к Доброму селу, а в середине его повернуть переулком налево, и тут уже дорога примехонько доведет до самого Суздаля.

Бежит она по всхолмленным, почти безлесным просторам Ополя, а справа и слева от нее, то притаившись в ложбинке, то смело выскочив на пригорок, раскинулись деревни и села, оплетенные венками садов.

Я помню, как однажды шел тут весенней ночью. Цветущие вишни неясно белели над темными, еще влажными пашнями, а в придорожной посадке самозабвенно пел соловей. Он то булькал, журчал и переливался тихим ручьем, то вдруг подымался отчаянным свистом так высоко, что в небе вздрагивали голубые колючие звезды.

Случалось мне ходить здесь и летней порой, когда все Ополе, насколько охватит глаз, представляется сизовато-желтеющим морем, по которому в знойном, как бы струящемся воздухе белыми кораблями плывут колокольни

церквей. В ложбинке, у истомленного родника, отдыхает пестрое стадо. Коровы лениво отмахиваются хвостами от злых слепней. На узкой меже у дороги горстями рассыпано золото дикой рябинки да кое-где пунцово пламенеют малярные кисти татарника.

Даже в осенней дороге есть своя привлекательность. Хлеб уже убран, рыжие поля будто застланы мокрой рогожей, и вишни в садах стряхнули с ветвей своих пожухлые листья. Только рябины густо краснеют спелыми гроздьями ягод, а над ними шумно пируют дрозды. С огородов тянет дымком, вкусно пахнет печеной картошкой. А по шоссе лихо мчатся машины, доверху нагруженные серебром белокочанной капусты.

Насквозь проберет тебя сырой пронзительный ветер, а доберешься до Суздаля, напьешься горячего чаю с сухой малиной и будто распаришь озябшую душу...

Но дорога не только созерцание и ощущение того, что встречается путнику. Это еще и раздумья о непрестанно возникающих «почему» и «как».

Темноцветные, богатые почвы суздальской стороны удивительно похожи на черноземы Украины. А вот какими причинами обусловлено появление целого клина такой плодородной земли среди бедных суглинков, песков и торфяников Среднерусской равнины — кто знает? Может, это какой-то каприз движенья великого ледника?..

Но люди уже давно облюбовали для себя благодатные земли Ополя. Археологи находят под Суздалем следы первобытных человеческих поселений четырехтысячелетней давности. Наука еще не может объяснить, какого рода и племени были и люди, жившие здесь в ту далекую пору. От них остались только немые могильники, кремневые топоры и наконечники копий, да и названия рек и урочищ: «Сунгарь», «Суромна», и может быть, даже самое главное — «Суждаль».

А вот под Владимиром, сразу за речкой Ирпень, простирается долина, которую называли Яриловой. И тут историки точно могут сказать, что у славянских племен, еще не ведавших христианства, но уже прикоснувшихся к земледелию, был бог плодородья, любви и солнца Ярило. И весной, когда в небе играл и ярился светлый Ярило, эти люди славянского племени, засеяв поля, сходились на солнечную долину для праздничных игрищ и смелых любовных встреч. После того на Красной горке, где и

доныне стоит село Красное, справлялись свадьбы, родились семья с семьей и род с родом.

Так говорят легенды. В летописях, то есть в документальных источниках, первое упоминание о суздальских землях относится к началу XI века, когда пришел сюда со своей дружиной киевский князь Ярослав Мудрый, овладевший Ополем со всеми пашнями его, весями и людьми.

Крепко утвердил себя на Суздальщине внук его Владимир Мономах, построивший на Клязьме новый город Владимир, а еще более сын Мономаха Юрий, прозванный Долгоруким.

Этот Юрий Владимирович Долгорукий положил начало Москве.

Недавно я слышал, как один сердитый молодой человек говорил с подчеркнутым пренебрежением: «Нашлись же дураки, что поставили против Моссовета памятник князю-пьянице!»

Был ли Долгорукий пьяницей? Не знаю. Во всяком случае бражничество не было главной чертой его характера. История свидетельствует о том, что князь Юрий был храбрым воином и прозорливым дипломатом. Он умел разговаривать и с половцами, и с германцами, и с греками, и с ясами, владевшими землями Соверного Кавказа.

Конечно, не каждому князю честь. Но и хула — не каждому князю.

2

Владимир Мономах проторил дорогу из земли Киевской в землю Суздальскую. Юрий начал здесь строить храмы, крепости и города. Он сделал Суздаль центром обширного княжества северо-восточной Руси.

Юрий был еще отроком, когда отец, заботившийся о союзе с воинственными соседями-кочевниками, женил его на дочери половецкого хана. Потом у Долгорукого были другие жены, в том числе греческая принцесса. У него было одиннадцать сыновей.

Жил Юрий долго. И уже на склоне лет, приструнив многочисленную родню — братьев, дядьев и племянников, прибрал он к рукам своим великокняжеский Киев и поселился там, но не потому, что Киев больше был ему по душе, а потому, что это было традиционное место стар-

шего из князей русских. Рядом с собою, в Вышгороде, поставил он сына Андрея, рожденного от половчанки, а любимую Владимиро-Суздальскую землю препоручил младшим — Михаилу и Всеволоду. Однако после смерти отца Андрей вернулся в северо-восточную Русь, которая была его родиной, и стал княжить во Владимире, а потом построил для себя замок на берегу Нерли в Боголюбове.

Как и отец, Андрей немало потрудился для возвышения этого края. Он привлекал во Владимир умельцев, искусных строителей, плотников, кузнецов, чеканщиков, камнетесов. Перевез сюда из Киева и Вышгорода книги и свитки древних рукописей, которые почитал великим богатством.

Отважный воитель, опытный и счастливый в боях, Андрей совершил походы на Волгу, расширяя пределы своего княжества. В его Боголюбовский замок приезжали послы из многих далеких стран. Грузинский историк писал, что Андрею повинуются триста царей на Руси и в сопредельных владениях.

Но возвышение и укрепление власти Андрея вызывало тревогу среди бояр, и они, трепетавшие перед ним, замышляли убить великого князя. Во главе этого заговора были родственники жены Андрея Кучковичи. Ночью 29-го июня 1174 года, воспользовавшись тем, что княжеская дружина была отпущена, заговорщики проникли в замок, убили Андрея и разграбили двор его.

Сын Боголюбского Георгий в то время находился на севере, в Новгороде. Андрей послал его туда княжить, чтобы иметь свой глаз в богатом, но беспокойном уделе. Видимо, Георгий, опиравшийся на отцовскую силу, был крут с новгородцами, потому что, едва прослышав о боголюбской трагедии, новгородцы прогнали его.

Пока весть о гибели великого князя дошла до младших братьев Андрея, которые жили в Чернигове, в суздальской земле творилась страшная неурядица. Но вот пришли сюда Михаил и Всеволод Юрьевичи, а с ними и сын Андрея Георгий. По старшинству великим князем Владимирским стал Михаил, а Всеволод утвердился в Суздале. Однако Михаил княжил недолго. Через полтора года он умер.

Властителем северо-восточного княжества сделался Всеволод. Ему не хотелось держать возле себя Андреева сына, и Всеволод женил племянника на знаменитой гру-

зинской царице Тамаре. Жизнь Георгия в Грузии, полная приключений, могла бы стать сюжетом увлекательного романа. Но речь не о нем, а о Всеволоде, получившем прозвище — Большое гнездо.

Почему — Большое гнездо? Вероятнее всего потому, что Суздаль при нем превратился в большое гнездо могучего славянского государства. Отсюда указывал он удельным князьям, кому в каком городе править. Влияние его простиралось на Киев и Новгород, на Волынь и Галицию. С волей его вынуждены были считаться короли Польши и Венгрии и даже сам император так называемой священной Римской империи Фридрих Барбаросса.

Великий Всеволод так могуч, говорит о нем автор «Слова о полку Игореве», что может он Волгу веслами раскропить и Дон шеломами вычерпать.

Но Всеволод Большое гнездо прославился не только отвагой воинской, а и неустанной заботой о строительстве и украшении земли Суздальской. При нем во Владимире был расширен Успенский собор, воздвигнутый еще старшим братом Андреем, построен великолепный белокаменный Дмитровский собор — одно из чудес древнерусского зодчества. Большое строительство развернулось и в Суздале. Это было время подлинного расцвета ремесла и художества. В записках папского посла, приезжавшего в Суздаль, есть упоминание о том, что такого собрания книг и рукописей, каким владеет князь Всеволод, нет ни у кого из государей Европы. Сам Всеволод был сведущ в письме и чтении не только славянских книг, но и греческих и латинских.

Большого подъема при Всеволоде достигло и земледелие. Тучные земли Ополя снабжали хлебом северные волости — Новгород, Псков, Кострому, Белоозеро. За хлебом в Суздаль приезжали даже скандинавские гости...

Всеволод княжил в Суздале тридцать семь лет. У него было шесть сыновей. После смерти отца между ними начались распри, ослабившие Владимиро-Суздальскую державу. Наследники Всеволода были мельче его. По отваге и государственному уму только внук Всеволода Александр Ярославович Невский стал достойным продолжателем традиций славного деда. Но время княженья Невского было уже другим. На Русь из Заволжских степей обрушились татарские орды. В 1238 году хан Батый пожег и разграбил города земли Суздальской. В огне

безвозвратно погибли многие культурные ценности, заботливо собранные Андреем Боголюбским и Всеволодом Большое гнездо. Погибла и знаменитая княжеская библиотека.

После татарского нашествия Владимиро-Суздальское княжество уступает первенство новому центру русской государственности — Москве. При московских князьях Суздаль становится церковным городом. Здесь строятся монастыри, впрочем, более похожие на крепости. Монастыри владеют лугами и пашнями, рыбными ловлями и ремесленными слободами. В то же время монастыри были местом ссылки опальных княжеских и боярских родов.

В начале семнадцатого века монастырский Суздаль был снова сожжен и разграблен польским воеводой Лисовским, пришедшим на Русь с Лжедмитрием, но снова отстроился. Пережил он и моровую язву, истребившую половину всех жителей. И еще не однажды горел и опять возрождался...

Но история торила новые пути-дороги. Новые шумные центры возникали на русской земле, а древний Суздаль постепенно переходил на положение провинции. К началу нашего века он уже совсем обветшал. Да и после революции, когда монастыри его были закрыты, жизнь здесь не была ключом. Мне как-то попались любопытные данные о количестве жителей Суздаля. В 1913 году их было около десяти тысяч и в 1963 — столько же. Стало быть, о динамике роста и говорить не приходится. В этом отношении многие совершенно новые города и даже рабочие поселки той же Владимирской области стремительно обгоняли его.

В Суздале жил старый поэт-самоучка И. А. Назаров. Я частенько бывал у него. Приедешь, спросишь: «Как живет, Иван Абрамович?» «Тихо живется», — ответит он. И в самом деле, этот городок поражал приезжего человека своей тишиной. Ветхие, приземистые домишки словно бы выросли в землю, за оградами палисадников тускло цвела сирень. Под окнами в теплой пыли копошились куры.

Более или менее оживленной была только главная улица, замощенная серым булыжником. И все же тихий городок привлекал внимание историков, художников, архитекторов, которые приезжали туда взглянуть на сохранившиеся памятники старинного русского зодчества. Так что дорога в Суздаль не зарастала.

В 1930 году эта дорога привела сюда Алексея Дмитриевича Варганова, только что окончившего Институт истории искусств. Он был назначен директором историко-краеведческого музея.

Суздальский музей помещался в каменных архиерейских палатах. Там собраны изъятые у монастырей старинные рукописные книги и грамоты, редкостные иконы, образцы древней утвари и оружия, произведения мастеров чеканщиков, разчиков по камню и дереву, гончаров, владевших секретом разноцветной глазури, и много других вещей, помогающих людям заглянуть в далекое прошлое здешнего края. Но по существу говоря, музей — весь Суздаль. Все его сорок с лишним церквей, его крепостные валы и даже его тихие улицы, на которых под покровом вековых наслоений вдруг обнаруживаются зримые следы некогда бурной жизни.

Тридцать лет, прожитые Варгановым в Суздале, были тридцатью годами упорных поисков и открытий. То под слоем штукатурки на внутренних стенах Рождественского собора находил он краски древнейшей росписи, то по обломку известняковой плиты восстанавливал узор, нанесенный рукой вдохновенного камнетесца, то открывал лежавшую под землей гончарную печь, то в дальнем углу монастырского кладбища обнаруживал могилу, раскопки которой проливали свет на загадочную историю прошлого...

Открывая Суздаль для себя, Варганов открывал его для современников. Не только о князьях и воеводах, чьи имена сохранили нам монастырские летописи, но и о многих суздальских иконописцах, чеканщиках, каменщиках давно минувшего времени Алексей Дмитриевич рассказывал так, будто только что виделся с ними...

Значение открытий Варганова теперь уже общепризнано. Выдающийся советский историк Н. Н. Воронин писал: «Наши знания о древнем Суздале и его памятниках за последние десятилетия необычайно расширились. Главный вклад в изучение Суздаля сделал директор Суздальского музея А. Д. Варганов».

Бывая в Суздале, я несколько раз встречался с Алексеем Дмитриевичем, и меня всегда восхищала его увлеченность делом. Этой увлеченностью он заражал и других.

Благодаря его хлопотам в Суздале широко развернулись реставрационные работы. Руками уже нынешних мастеров-каменщиков восстанавливаются полуразрушенные памятники древней архитектуры, которыми знаменит этот город.

За последние годы интерес к Суздалью вырос необыкновенно. Поглядеть на него приезжают люди со всех концов страны и из заграницы. И вот возникла мысль о превращении Суздаля в музей-заповедник и центр туризма.

Уже разработан специалистами и утвержден Советом Министров СССР генеральный план полной реконструкции Суздаля. План этот предусматривает реставрацию памятников древней архитектуры и сооружение новых зданий: гостиниц, мотелей, кемпингов, в которых одновременно могли бы разместиться более двух тысяч туристов. Будут построены также рестораны, почта и телеграф, новая телефонная станция, кино-концертный зал, магазины и прочие заведения для культурно-бытового обслуживания приезжих и постоянных жителей города-заповедника.

Осуществление этого генерального плана потребует больших денег. Но затраты окупятся. Ведь туризм — одна из выгоднейших отраслей экономики. Это уже проверено на практике многих зарубежных стран.

4

Лет десять тому назад мне довелось побывать в одном американском городке, существующем для туристов. Он называется Вирджиния-сити, а расположен в горах Невады. Рекламные проспекты и придорожные плакаты называют его «городом-призраком». Вот история этого «призрака».

Как известно, в середине прошлого века Калифорнию охватила «желтая лихорадка». В горах нашли золото, и к нему потянулись искатели счастья и приключений. Первые прииски возникли в Сакраменто. В 1860 году залежи золота и серебра были обнаружены и на восточных отрогах Сьерры-Невады. На месте одного из серебряных рудников возник и быстро стал расти городок Вирджиния-сити. Через два года здесь было уже двадцать пять тысяч жителей. Городок богател. Открывались салуны, кабаки, увеселительные заведения с девицами, прилетевшими сюда, как бабочки на огонь. Открылась опера. Начала из-

даваться газета «Территориал Энтерпрайз», в которой работал молодой журналист Клеменс, впоследствии ставший знаменитым писателем Марком Твенем...

Рассказывают, что на приисках Вирджинии-сити было добыто серебра и золота более чем на миллиард долларов. Многие искатели стали миллионерами. Но прииски истощались, старатели уходили на новые, еще не тронутые места, жизнь в городке замирала. К середине восьмидесятых годов он вовсе опустел и заглох.

В тридцатых годах нашего века сюда заехал некий Люшес Биби, репортер нью-йоркской газеты. Он сообразил, что если подновить городок, подпустить розового туманца романтики золотоискательства да организовать рекламу, то на этих развалинах можно «делать деньги». В компаньоны себе он взял наследника одного из сан-францисских миллионеров. По дешевке они купили городок, открыли там салуны, гостиницы, рестораны и возобновили издание газеты «Территориал Энтерпрайз», которая начала рекламировать «город-призрак». Туда потянулись любопытствующие туристы, а в карманы предпримчивых компаньонов потекло золото. Нынче бывший репортер Биби ходит в миллионерах...

Нас, небольшую группу советских журналистов, путешествовавших по США, пригласил в Вирджинию знакомый Люшеса Биби, тоже бывший репортер Фрэнк Клокхун.

У въезда в город красовался плакат, рассказывающий о том, что «в зените своего развития Вирджиния славилась множеством прекрасных вещей. Тут было четыре банка, двадцать прачечных, пятьдесят галантерейных магазинов, пять церквей, шесть пивоваренных заводов, сто десять салунов...»

Сейчас улицы производят впечатление декораций, построенных для съемок киноевчика. Деревянный дом с желтой вывеской — «Отель серебряного доллара», табачная лавка с традиционной деревянной фигурой индейца у двери, двухэтажное здание «Хауз Опера», извозчичья биржа; салун, то есть ресторация.

Из дома с вывеской «Территориал Энтерпрайз» на встречу нам вышел высокий джентльмен в сером клетчатом пиджаке и в черной широкополой шляпе. Это и был мистер Биби. За ним следовал компаньон. Распахнув замшевую куртку, он сунул руки в карманы узеньких

брюк. Мы увидели пояс, сделанный из золотых двадцатидолларовых монет. Вероятно, это тоже была реклама.

Мистер Биби сказал, что хочет показать нам музей Марка Твена, но прежде предлагает пройти в салун.

Стены салуна завешены афишами семидесятых годов прошлого века. Над стойкой — фотографии бородатых золотоискателей. По столикам разбросаны номера старых газет.

Выпив виски с имбирным пивом, мы отправились в редакцию. Здесь-то и помещается музей Марка Твена. Нам показали конторку, за которой писал он свои заметки, старый энциклопедический словарь, которым он пользовался, деревянное корыто, в котором купался, и даже нужник.

Мы снова вышли на улицу. Был еще только полдень, и Биби уговаривал нас остаться до вечера, когда в салун съезжаются гости. Но у нас не было времени, и мы уехали из города-призрака. Он и в самом деле был призраком. Мертвым городом. Даже туристы не оживляли его.

Я вспомнил Вирджинию-сити, раздумывая о том, каким будет Суздальский заповедник.

Превращать его в призрак былого не надо. Надо, чтобы все говорило здесь о жизни кипучей и деятельной. Чтобы, взглянув окрест себя, человек сквозь едкий дым пожаров и разрушений увидел талантливых строителей земли Суздальской, увидел славных каменотесцев, зодчих, кузнецов и художников. Чтобы он не отвернулся и от князей, подобных Юрию Долгорукому, Андрею Боголюбскому, Всеволоду Великому, они тоже трудились и ратовали за Русь.

В истории Суздаля немало страниц трагедийных. Вырывать или затушевывать их тоже нельзя. Да и незачем. Ведь чем глубже трагедия, тем выше человек, переживший ее. Народ наш многое пережил не только в далеком прошлом...

И пусть о земле Суздальской рассказывают не только камни реставрированных церквей и палат. Мысленно я вижу в городе-заповеднике слободы гончаров, резчиков по дереву, чеканщиков серебра, живописцев. Это не просто экзотический антураж заповедника, но чистые деньги. У мастеровых людей будет заработок, а туристы, что называется, с руками отхватают, раскупят на память о Суздале сувениры, сделанные руками здешних умельцев.

Я вижу здесь также постоянную выставку произведений художников Палеха, Мстеры, Холуя.

И вот что еще: суздальский архитектурный ансамбль «не смотрится» без вишневых садов, опоясавших город, без огородов, примкнувших к окраинам, без лугов, растелившихся в Нерльской пойме.

Ведь знаменитая владимирская вишня завезена сюда из-под Киева. Дружинники, пришедшие к Суздалью еще при Владимире Мономахе, удивились, как похожа приклязьменская земля на родимое их Приднепровье, и стали называть здешние реки привычными именами: Лыбедь, Ирпень. Тогда же завезли сюда из Киева саженцев вишни, и они счастливо прижились на новых местах. Со временем владимирская вишня стала лучше своей киевской прародительницы и приобрела мировую известность. Но часто у нас получается, как в поговорке — «что имеем, не храним, а потерявши, плачем». Вот и с вишней: уже на моей памяти вишневые сады вокруг Суздаля и Владимира значительно поредели, начали вырождаться, потому что увлечение то кок-сагызом, то кукурузой отодвигали заботу о садоводстве на самый последний план, и только теперь здесь снова начали заниматься садами.

Украшением Владимиро-Суздальской земли является и знаменитая сладкоплодная рябина, известная под названием «нежинской». Многие полагают, что это название, подобно названию «неженские огурцы», пошло от украинского города Нежина. Но в Нежине такой рябины нет и никогда не было. И настоящее ее имя не «нежинская», а «невежинская». Старый учитель и краевед Федор Николаевич Пахомов рассказал мне такую историю.

Среди учеников русского первопечатника Ивана Федорова был Андроник Невежа. После того как Иван Федоров со своим помощником Петром Мстиславцем бежал в Литву, Андроник Невежа продолжал в Москве его дело и особо прославился искусством художественного оформления книг. За это Иван Грозный пожаловал ему деревеньку, отобрав ее у одного из суздальских монастырей. Деревенька стала называться Невежиной. В ней старый печатник провел свои последние годы, занимаясь на покое садоводством. Особенно любил он сажать рябину. Отсюда-то и пошла невежинская рябина, получившая потом широкое распространение по всей земле суздальской.

Ягоды этой рябины сладки и душисты. Известные рус-

ские виноделы и виноторговцы Смирновы закупали невинскую рябину для приготовления настоек и наливок, а для благозвучия называли ее «нежинской».

Вот если бы обсадить подъезды к Суздалию этой рябиной, красота была бы неопиcуемая!..

5

В Большой Советской Энциклопедии о нынешнем Суздале сказано: «...центр Суздальского района Владимирской области. В С. — вареньеварочный, крахмало-паточный и маслодельный заводы; две средние и две семилетние школы, с.-х. техникум, училище механизации с х.-ва; историко-краеведческий музей, Дом культуры, кинотеатр, биб-ка...

В районе — посевы зерновых, картофеля; садоводство. Молочно-мясное животноводство... две сельские ГЭС...»

В связи с превращением города в музей-заповедник экономическая характеристика Суздаля безусловно изменится. Заводы (о них правильнее сказать — заводешки), сельскохозяйственный техникум и училище механизации будут здесь ликвидированы или переведены в другое место. Разумнее, конечно, перевести. Но куда?..

Сразу за Добрым селом с левой стороны от дороги из Владимира в Суздаль раскинулись владения плодово-ягодного совхоза «XVII МЮД». Создано-то это хозяйство давно, еще в начале тридцатых годов, но долгое время похвалиться тут было нечем, и лишь несколько лет назад о нем заговорили, как об одном из лучших совхозов Владимирской области.

Однажды весной я ехал из Суздаля. Сады еще не цвели. Возле дороги, среди зазеленевших, еще совсем молодых росточков питомника работали женщины. Подойдя к ним и поздоровавшись, я спросил, что они делают.

— Да вот, обрезаем у яблонь ненужные веточки, формируем будущую крону. Словом, ухаживаем за саженцами, которые осенью пойдут на продажу.

— Работа не трудная?

— Да всяко бывает.

— А заработки?

— Мы на окладе. По восемьдесят рублей в месяц получаем. За каждой работницей у нас закреплена определенная площадь — один гектар. Если кто не справляется —

присылают подсобную силу, но оплата ее производится уже за счет того, за кем закреплён участок.

— Кто же так распорядился?

— Директор наш, Графский.

— Стало быть, строг он у вас.

— Графский-то? Нет, просто справедливый человек.

— Ну, а какво продовольственное снабжение в совхозе?

— Обыкновенное.

— Что значит — обыкновенное?

— Хлеб в магазине всякий — черный и белый. Сдоба, правда, не каждый день. Молоко в палатке свое — совхозное. По государственной цене бери хоть ведро. Картошка тоже своя.

— Это хорошо.

— При Графском так стало.

От шоссе к центральной усадьбе совхоза, разместившейся в селе Бронницы, вела асфальтированная линейка. Это было таким резким отличием от подъездных путей к усадьбе соседних хозяйств, что я не удержался от того, чтобы не похвалить дорогу.

— А это при Графском сделано, — заметил шофер.

Понравился мне и новый сад между Суходолом и Бронницами. И опять услышал:

— При Михаиле Григорьевиче Графском заложен...

Так кто же такой этот Графский?

Это невысокий, несколько грузноватый пожилой человек с волевым, энергичным лицом. Из-под лохматых бровей лукаво поблескивают острые живые глаза. Он уже пенсионер, инвалид труда. Работал во Владимире заместителем председателя облисполкома. Потом тяжело заболел — инфаркт миокарда. Долго лежал в больнице, и врачи настояли, чтобы вышел на пенсию. Графский подчинился. Но вынужденное безделье тяготило его, и вскоре он стал проситься:

— Хочу работать.

— Куда тебе работать, ты больной человек, — отвечали ему.

— А от праздности я еще больше расхвораюсь, — убеждал он.

Тут как раз потребовалось заменить директора совхоза, и Графский предложил:

— Пошлите меня.

— Это к разбитому-то корыту?

— Вот именно.

— Шут с тобой, поезжай!

Приехав в совхоз, Графский аж крикнул: дела тут шли ах как неважно. Сады пришли в упадок, на работу выходили когда кому хочется. Хозяйство было в долгах, и даже зарплату рабочим задерживали.

Новый директор начал с укрепления трудовой дисциплины.

— Давайте условимся, — сказал он, — кто хочет работать — должен работать по-честному, кто не хочет — уходи, держать не будем...

— Круто берет, — говорили о нем.

Кое-кому это не понравилось, и несколько человек ушли из совхоза, но большинство поддерживали Графского. Постепенно дело стало налаживаться. Старые, опытные садоводы подсказывали:

— Земля, Михаил Григорьевич, удобрения требует. Хорошие хозяева при саде всегда и на животноводство внимание обращали.

Графский внимательно отнесся к этим советам. Заботясь о садах, завел и животноводческие фермы, а это само собою потребовало заняться производством кормов.

Дела совхоза стали заметно поправляться. Теперь кроме плодоносящего сада и кроме питомника, дающего ежегодно четверть миллиона саженцев фруктовых деревьев, у него уже имелись животноводческие фермы, и совхоз стал давать не только фрукты и ягоды, но и мясо, молоко. Комплексное развитие хозяйства благотворно сказалось в первую очередь на главной фирменной отрасли производства. За три года работы Графского в совхозе сбор плодов и ягод увеличился в десять раз.

— Сады мы и дальше будем расширять, — говорит Графский. — Вот развернемся на пятьсот гектаров и тогда сможем дать на каждого жителя города Владимира по пяти килограммов яблок в год. Питомник же доведем до таких размеров, чтобы можно было продавать ежегодно полмиллиона саженцев. Дело это выгодное, перспективное.

Так, убыточное прежде хозяйство, не вылезавшее из долгов и каждый год требовавшее государственной помощи, стало высокодоходным. Прибыль позволяла расширять

дело и улучшать бытовые условия рабочих совхоза. Здесь строились новые дома, открывались детские ясли.

— Работать стали лучше, значит, и жить должны лучше, — говорил Графский.

Года через три я снова заехал в этот совхоз. Он стал еще крепче. На центральной усадьбе, весело поблескивая стеклами широких окон, стояли новые двухэтажные дома. Шла достройка большого клуба. Графского я встретил на крылечке совхозной конторы. Он собирался ехать во Владимир, но задержался и стал рассказывать о том новом, что здесь появилось.

— Видал, как строимся? Да это еще не все. Вот скоро и жилье, и хозяйственные помещения газифицировать будем. Тут километрах в семи от нас газопровод проходит, ну мы и договорились, чтобы к нам от него ниточку протянуть...

— А теперь пойдем наше «море» смотреть, — предложил он.

— Какое море?

— Ну, скажем, не море, а пруд. Тут у нас в ложбине ручеек протекал. Мы запрудили его, ложбинку углубили, открыли новые родники, вот и появилось у нас свое море. Красиво!

— Вы что же, ради красоты его создали?

— Нет, ради утоления жажды. Земля у нас открытая, влаги ей не хватало, а теперь — пей себе досыта!

Дорога к «морю» лежала через сады. Лето выдалось урожайное. Ветви яблонь клонились под тяжестью золотисто-румяных плодов, и среди этого изобилия, как зеркало в дивной оправе, блеснула водная гладь.

Я вспомнил, как мне рассказывали о том, что еще восемь веков назад князь Андрей Боголюбский начал было строить возле своего замка на Нерли земляную плотину. Ему хотелось создать там озеро, но жизни князя не хватило на это. После его гибели работы по сооружению плотины были заброшены, и до наших дней сохранилась лишь часть дамбы в виде заросшего травой вала.

Может быть, и Андрей Боголюбский думал не только об украшении своей княжеской резиденции, но и об утолении жажды земли? Я не знаю, о чем он думал.

А Графский рассказывал о том, что еще задумано сделать в совхозе, и как это будет выглядеть, и какую выгоду это даст. Кустистые брови его возбужденно шеве-

лились, глаза задорно поблескивали, лицо дышало энергией. Мне даже показалось, что эти хозяйственные хлопоты, о которых говорил он с таким искренним увлечением, даже как-то омолодили его...

Я вспоминаю сейчас об этом потому, что мне кажется: попросту ликвидировать в Суздале вареньеварочный и маслодельный заводики, школу механизаторов сельского хозяйства и техникум — проще всего. А вот если взять да и передать все это совхозу «XVII МЮД». И на базе такого прибыльного и очень перспективного хозяйства создать своеобразный агрогородок. Социалистический агрогородок! Чтобы туристы, приезжающие в Суздаль, могли поглядеть на дивные памятники древнерусского зодчества, прикоснуться к истории Владимиро-Суздальской Руси, и даже хлебнуть какую-то долю экзотики в виде ухи по-монастырски, солонины с квасом или редечки с медом в суздальской ресторации, пусть они рядом с этой стариной и экзотикой увидят живое продолжение истории.

6

Недавно я снова побывал в Суздале. Молва о том, что он превращается в один из центров туризма, опередила планы его реконструкции. Уже сейчас от туристов, что называется, нет отбоя. За одиннадцать месяцев 1967 года здесь побывало 190 тысяч экскурсантов. Но эти сведения далеко не полны. Учитывались лишь те экскурсанты, которые приезжали сюда, так сказать, в организованном порядке, но ведь многие едут самостоятельно, не пользуясь услугами экскурсионных бюро. Всю эту приезжую публику надо обеспечить питанием, а некоторых и ночлегом.

Еще несколько лет назад штатный персонал Суздальского музея состоял из директора и двух-трех его помощников. Теперь этого уже недостаточно. На городской площади и у самых ворот музея ежедневно можно видеть десятки автобусов, на которых приехали экскурсанты. И каждая группа приезжих требует: «Дайте экскурсовода, познакомьте нас с Суздалем...»

Я заехал в Суздаль не надолго, в компании московских и владимирских литераторов. Мои спутники также потребовали: дайте экскурсовода. «Подождите, все заняты», — ответили нам. Пришлось подождать. Наконец, экс-

курсовод освободился. Это была молодая женщина, недавно окончившая университет. Звали ее Александрой Алимовной. Показывая рукописи суздальских летописцев, иконы и «парсуны», писанные монастырскими художниками, изделия средневековых гончаров и чеканщиков, она как бы вводила нас в историю древнего Суздаля. Потом мы пошли в Рождественский собор, основание которому было положено еще Владимиром Мономахом. Впрочем, собор, построенный Мономахом, называвшийся тогда Успенским, был разрушен, а на том месте, где он стоял, князь Юрий, сын Всеволода Большое Гнездо, построил новый, названный Рождественским. Как выглядел этот собор в изначальную пору, сейчас судить трудно, но в летописях имеется упоминание о том, что стены его были украшены фресковой росписью, а пол выстлан разноцветными плитами. В 1938 году А. Д. Варганов, ведя раскопки, обнаружил несколько плит зеленого, красного, желтого и черного цвета. А на нижней части каменных стен открыл и фрагменты фресковой росписи. Помню, что сообщения об этих находках печатались во владимирской газете «Призыв».

Из Рождественского собора Александра Алимовна повела нас к башням Спасо-Ефимьевского монастыря, крепко стоящим на высоком левом берегу речки Каменки. Отсюда можно было окинуть взглядом почти весь Суздаль, будто устремившийся к небу пестрыми главами древних соборов, церквей и звонниц. Прямо за Каменкой, по ее низинному берегу, виднелись белые башни и купола Покровского монастыря. За его каменными стенами жила красавица Соломония Сабурова, которую супруг ее московский князь Висилий III сослал сюда, выбрав себе новую жену, польку Елену Глинскую. Здесь же, замаливая грехи и снова греша, отбывала ссылку опальная жена Петра I Евдокия Лопухина.

— Теперь на территории этого монастыря будет создан один из туристских центров, — сказала Александра Алимовна. — В кельях — номера для приезжих, в трапезной — ресторан.

— А когда это будет?

— Вероятно, через год или два.

Упоминание о трапезной навело на мысль, что и нам уже пора подкрепить себя не только духовной пищей, и мы спросили у нашего экскурсовода, где можно бы было

пообедать. Александра Алимовна рекомендовала суздальскую харчевню, открытую совсем недавно в одном из помещений старых Торговых рядов. Эта харчевня может быть названа первой ласточкой туристского центра (чем плохо название: «Первая ласточка»?). Зал стилизован «под старину». Сводчатые потолки. Кованые железные люстры, похожие на церковные паникадила. Крепкие, чисто выскобленные дубовые столы, табуретки. На столах деревянные чашки, ложки, солонки, расписанные хохломскими мастерами. Кушанья тоже не совсем обычные, а свои, что называется, фирменные: грибная похлебка, щи русские, жаркое по-суздальски, грибы, жаренные в сметане, грузди соленые, редька с постным маслом. Из напитков — квас, медовуха... Официантки наряжены в сарафанчики, однако с учетом современной моды, в смысле длины сарафанчиков.

Надо отдать должное этому заведению. Оно привлекает гостей не только экзотикой, но и тем, что кормят здесь вкусно и сытно. И что особенно приятно — все здесь опрятно и чисто. Это по-настоящему русская черта. Где-где, а уж за столом русские хозяйки умеют соблюдать чистоту. Вообще народ наш опрятен в еде. Я немало пожил на свете, многое видел и знаю, что в страдную пору, собравшись на покос и захватив с собою хотя бы краюшку черного хлеба, крестьянин не сунет эту краюшку просто за пазуху, а непременно завернет ее в чистую тряпицу. А когда сядет полдничать, расстелет перед собою эту тряпицу как скатерть.

Первая ласточка суздальского «сервиса» пришлась по душе туристам. И хотя это только начало, только маленький первый и самый простой шаг — хорошо, что он уже сделан.

Будучи в Суздале, я решил повидаться со своим старым знакомым секретарем районного комитета партии Василием Михайловичем Ковалевым. У него застал и второго секретаря райкома Т. В. Парилова. Разговор у них шел о предстоящей партийной конференции. Настроение у обоих было хорошее, радовали хозяйственные итоги года. И урожай зерна собрали такой, какого здесь давно уже не собирали, и животноводство развивалось успешно. Да и планы реконструкции Суздаля открывали широкую перспективу. Тут я и выложил им свои соображения о том, что было бы хорошо, если бы рядом с реста-

вприродной стариной туристы увидели бы и новый день Владимиро-Суздальского Ополя.

— Да мы и сами об этом думаем, — сказал Ковалев. — Между прочим, ни маслозавод, ни вареньева-ро-ч-ный закрывать или переводить куда-то из города нет оснований. Ведь приезжих туристов да и коренное население города надо кормить, следовательно, эти заводы будут нужны. Сельскохозяйственный техникум и школа механизации также останутся. Никому они не помешают. А что касается крепкого, ну, что ли, показательного хозяйства в районе, то специально создавать его незачем. В совхозе у Графского и так есть на что поглядеть. Да и у Курилова в Порецком дело куда как широко развернулось.

— В Порецком тоже есть на что поглядеть, — подтвердил второй секретарь.

Село Порецкое, о котором они говорили, расположено на правом берегу Нерли, между Суздаlem и Боголюб-вом. История возникновения его, как и других соседних с ним сел, уходит в глубокую древность. Об этом говорят сами названия: Городище, Сеславское, Васильково (не по цветку васильку, а по имени какого-то княжича Василька).

Сейчас в Порецком центральная усадьба колхоза имени М. И. Калинина. Я бывал там лет пять тому назад и тогда же познакомился с председателем колхоза Григорием Матвеевичем Куриловым. Крупный, широкоплечий мужчина средних лет, он показался мне человеком серьезным и рассудительным. Я спросил у него, как идут дела в артельном хозяйстве.

— А вы поживите тут и приглядитесь сами, а то ведь семь верст до небес наговорить можно, — ответил Курилов.

Я прожил тогда в Порецком несколько дней. Была пора весеннего сева. По тому, как работали люди, с какой расчетливостью использовались машины и удобрения, как был поставлен контроль за обработкой полей, можно было судить, что к делу здесь относятся добросовестно.

О самом Курилове колхозники говорили, что он «с характером», иногда грубоват, упрям и прижимист, но с тех пор, как выбрали его председателем, хозяйство заметно начало укрепляться.

Потом, когда я уже поогляделся в колхозе, Курилов стал разговорчивее и рассказал о том, что в прежние времена порецкие крестьяне кормились не столько землей, сколько отхожим промыслом. Большинство здешних мужиков были каменщиками и штукатурами. Ранней весной уходили они в города. Дома оставались только женщины, дети да немощные старики. В «петровки», то есть к началу сенокоса, отходники приезжали недели на две, косили луга, делили сено и снова уезжали до поздней осени. Зимой кое-кто занимался извозом.

С организацией колхоза положение изменилось. Сельское хозяйство стало уже основным занятием. Но за годы войны, когда почти всех мужчин взяли в армию, хозяйство пришло в упадок. Да и после войны долго еще не в силах было подняться.

— В ту пору многие стали уезжать из Порецкого. Кто во Владимир, а кто и в Москву. Устроились там по строительной части. В городе-то заработок был вернее, надежнее, — рассказывал Курилов.

Сам-то он остался в колхозе. И когда я спросил у него — почему? — Курилов нахмурившись, сердито ответил:

— Совесть не позволила. Я деревенский человек, как же свою землю оставляю? Это все равно что мать родную взять да и бросить...

— Конечно, трудно тут было, — продолжал он — но постепенно начали поправляться. А теперь и совсем веселее дело пошло. Верная линия определилась.

— В чем же она?

— В материальной заинтересованности. Колхознику видно стало, за что он работает и каким образом можно увеличить доход. А самое главное — у государства в отношении к сельскому хозяйству определилась верная линия: не просто — давай, давай, а — дашь, значит, и получишь...

Вот такой разговор был у меня с Куриловым той весной.

Позже я слышал, что дела в Порецком колхозе год от году идут веселее, что самого Григория Матвеевича Курилова выбрали депутатом Верховного Совета Российской Федерации.

— А теперь и не узнаешь Порецкое, — сказал секретарь райкома. — Курилов там многое сделал в смысле благоустройства. За последние два года построили клуб,

баню, столовую. Водопровод провели. Дома и фермы газифицируют. Новый магазин открыли — окна зеркальные... Многие из тех, кто в трудное время бежал из колхоза, теперь опять в колхоз просятся. Целая улица новых домов появилась. Так и называется — новая улица.

Вот мы и думаем, что наряду с древним Суздалем туристы увидят и сегодняшнее Ополье. Хотя бы в том же совхозе у Графского или в Порецком. Там-то уж есть на что поглядеть...

Разговор в райкоме обрадовал меня: не только старой славна земля Суздальская.

Жизнь — это непрерывное движение.

Это дорога.

Вот и дорога в Суздаль представляется мне не возвращением к призраку прошлого, а познанием России, какой была она, какой есть и какой мы хотим ее сделать.

СОДЕРЖАНИЕ

О Викторе Полторацком (вместо предисловия) . .	3
Зеленая ветка	9
Алмазная грань	113
Стружань	151
Черника	169
След человеческий	178
В сенокосную пору	187
Мещерский Волгарь	189
Синеборье	210
Течение времени	223
Дорога в Суздаль	233

Виктор Васильевич Полторацкий

Мещерские зори

Редактор З. Цымбал

Художественный редактор В. Усов

Художник В. Кравцов

Технический редактор Л. Тарантица

Корректор С. Петренко

Сдано в набор 31 января 1969 г. Подписано к печати 3 сентября 1969 г. АК00220.
Формат бумаги 84×108/32. Бумага типограф. № 3. Усл. печ. л. 13,28.
Уч.-изд. л. 13,80. Тираж 50 000 экз. Заказ 914. Цена 56 коп.

Верхне-Волжское книжное издательство Комитета по печати при Совете
Министров РСФСР, Ярославль, ул. Трехфолева, 12.

Типография № 2 Росглавполиграфпрома, г. Рыбинск, ул. Чкалова, 8.